М. П. АЛЕКСЕЕВ

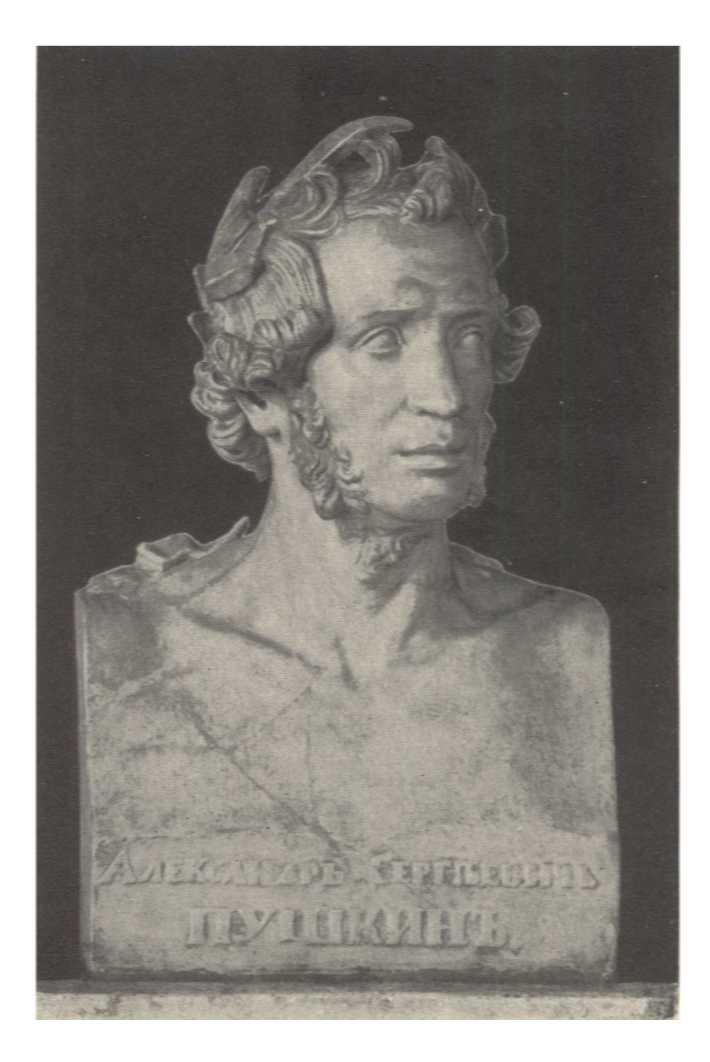
СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА

„Я памятник себе воздвиг...“

Глубокоуважаемому
другу Х. Прасхову

от искренно
уважающего его
автора и доброго
[illegible]

Леонид
27.XI.67.



А. С. Пушкин. Бюст работы И. В. Витали (гипс). 1837.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

М. П. АЛЕКСЕЕВ

СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА

„Я памятник себе воздвиг...“

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1967

Михаил Павлович Алексеев

СТИХОТВОРЕНИЕ А. С. ПУШКИНА
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ»

(Проблемы его изучения)

Утверждено к печати
Отделением литературы и языка Академии наук СССР

Редактор издательства *Н. А. Храмцова*. Художник *С. Н. Тарасов*
Технический редактор *Н. Ф. Виноградова*. Корректоры *Е. В. Вивчар* и *Э. В. Коваленко*

Сдано в набор 20/II 1967 г. Подписано к печати 17/V 1967 г. РИСО АН СССР № 13-134 В. Формат бумаги 60×90$^1/_{16}$. Бум. л. 8$^9/_{16}$. Печ. л. 17 + 1 вкл. ($^1/_8$ печ. л.) = 17$^1/_8$ усл. печ. л. Уч.-изд. л. 20.16. Изд. № 3113. Тип. зак. № 112. М-40581. Тираж 9000. Бумага типографская № 1. *Цена 1 р. 44 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

7-2-2
139-67 (I пол.)

Предисловие

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» принадлежит к числу наиболее прославленных лирических произведений Пушкина. Его знает у нас каждый грамотный человек, затверживает наизусть всякий школьник. С особой торжественностью и патетической интонацией звучит оно всякий раз, когда при очередной пушкинской памятной дате говорят о поэте, о величии его исторического дела; знаменитые строки этого стихотворения повторяют тогда всюду, снова и снова, полностью и в отрывках, в перифразах и различных применениях.

Написанное в 1836 г., но увидевшее свет только через четыре года после смерти поэта — в 1841 г., стихотворение «Я памятник себе воздвиг» давно уже считается одним из наиболее значительных в его творческом наследии. Пророческий смысл предречений стихотворения, его программное значение признавали критики всех лагерей и направлений, подходившие к оценке творчества Пушкина с различных и даже противоположных позиций.

Ближайшие современники поэта знали мало это стихотворение, к тому же в поврежденном виде; однако им восхищался Белинский, определивший его как «апофеозу гордого, благородного самосознания гения».[1] В нынешнем веке стихотворению давали не менее ответственные определения, внушенные уже не безотчетным ощущением его поэтической силы, но опытом его долголетних изучений; его называли «последним заветом Пушкина»,[2] «итогом

[1] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 268.

[2] Пушкин, Сочинения, изд. Брокгауза—Ефрона, т. IV, СПб., 1910, стр. 45.

поэтической деятельности, подведенным Пушкиным в предчувствии неизбежно близкого конца»,[3] «углубленной оценкой творческой жизни»,[4] произведением, «осмысляющим весь собственный путь, все творческое дело поэта»,[5] «поэтическим манифестом»,[6] «поэтическим завещанием»[7] и т. д. Никогда никто не отрицал, что это стихотворение является надежным ключом к сокровенным глубинам мировоззрения Пушкина, к пониманию того, что он думал о себе самом, о взаимоотношениях своих с современниками, о памяти, которую он оставит потомкам. А. М. Горький еще в 1909 г. назвал «Памятник» одной из «самохарактеристик» Пушкина, поучительных тем, что они раскрывают нам «взгляд поэта на задачи его жизни»,[8] а тридцатилетие спустя, как бы подводя итог раздумьям пушкиноведов о стихотворении, В. В. Виноградов определил «Памятник» как «одновременно исповедь, самооценку, манифест и завещание великого поэта».[9]

Однако, благоговейно повторяя вдохновенные строки — эти давно уже устойчивые словосочетания, вошедшие в обиход нашего разговорного языка,[10] — вдумываясь в очевидный и предполагаемый смысл стихотворения, мы, к сожалению, все еще не можем сказать, что объяснили его до конца, что мы достаточно знаем его во всех отношениях примечательную историю, что мы окончательно разобрались в противоречивых толкованиях, которые оно породило. История создания этого стихотворения и его судьба в русской поэзии известны нам только приблизительно неполно и неточно; от его многочисленных комментаторов все же

---

[3] М. Л. Гофман. Посмертные стихотворения Пушкина. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XXXIII—XXXV, Пб., 1922, стр. 413.

[4] П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. В кн.: Пушкин. Сборник первый. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 75.

[5] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 5.

[6] Вл. Орлов. Радищев и русская литература. М., 1949, стр. 95.

[7] Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина. Очерки и этюды. М., 1959, стр. 39.

[8] М. Горький о Пушкине. Под ред. С. Д. Балухатого. Л., 1937, стр. 5—42; Русские писатели XIX в. о Пушкине. Под ред. А. С. Долинина. Л., 1938, стр. 404—405.

[9] В. Виноградов. Язык Пушкина. М., 1941, стр. 512.

[10] Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. 2-е. М., 1960, стр. 697—698.

ускользнуло еще многое, настоятельно требующее пояснения и дополнительных разысканий.

Задача настоящей книги двойная. С одной стороны, необходимо разобраться в большом количестве исследований и критических статей, посвященных «Памятнику» (как, для краткости, мы будем называть ниже это стихотворение, в подлинной рукописи, как известно, не имеющее заглавия). Все многочисленные отзывы о стихотворении, накопившиеся более чем за столетие, в течение которого оно подвергалось весьма разнообразным и противоречивым истолкованиям, никогда не являлись предметом специального критического рассмотрения, а в некоторой своей части и доныне плохо известны специалистам-пушкиноведам; в особенности это можно сказать относительно зарубежной литературы о «Памятнике», в последнее время быстро пополнявшейся. С другой стороны, опубликованные недавно новые архивные данные о жизни Пушкина в 1836 г. в сочетании с итогами изучения разнообразных проблем, которые ставит перед нами это пушкинское стихотворение, позволяют поставить вопрос о происхождении «Памятника» иначе, чем это делалось до сих пор.

Настоящая книга выросла из доклада «„Памятник" Пушкина по исследованиям последнего двадцатипятилетия», прочтенного автором на сессии Отделения литературы и языка Академии наук СССР, состоявшейся в Ленинграде 12 февраля 1962 г. по случаю 125-летней годовщины со дня гибели поэта (см.: «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», 1962, т. XXI, вып. 3, стр. 282—283). В переработанном и расширенном виде и с подзаголовком «Критические заметки» доклад этот был напечатан в следующем году (1963) в «Ученых записках Горьковского государственного университета» (серия историко-филологическая, вып. 57, стр. 229—301), но в весьма малом количестве экземпляров и, к сожалению, с большим количеством опечаток. В этом виде данная работа сохраняла еще свой первоначальный характер критико-библиографического обзора русских и зарубежных статей о стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг». За два с лишним года, протекших со времени появления в печати указанных «Критических заметок», исследовательская литература о «Памятнике» пополнилась новыми книгами и статьями, и некоторые из них требуют критического разбора и новых возражений, так как в них возрождаются вновь и

развиваются ошибочные положения, давно оставленные и зачеркнутые. Это заставило автора заново пересмотреть и расширить обзорную часть данной работы. Кроме того, не стесняемый рамками журнальной статьи, автор счел возможным представить и свои собственные соображения относительно истории возникновения «Памятника», публикуемые здесь впервые.

Некоторые материалы настоящей работы представилось более удобным выделить в «Приложения». В первом из них дается полная транскрипция двух автографов «Памятника» со сводом вариантов к основному тексту. Хотя описания этих автографов давались нередко, в прочтении и транскрипции их (особенно чернового текста последних трех строф) остаются еще места, вызывающие различные сомнения и порой неправомерные догадки; кроме того, история этих автографов изложена была недостаточно подробно и нуждается в ряде уточнений библиографического характера. Во втором «Приложении» воспроизведены латинский текст оды Горация «Exegi monumentum» (Carm. III, 30), а также все известные нам русские переводы этой оды и подражания ей, возникшие до пушкинского «Памятника» и после него (от Ломоносова до наших дней). Они оказались довольно многочисленными. В связи с тем что переводы эти рассеяны по различным и зачастую малодоступным изданиям, представлялось необходимым привести их полностью, но не в основном тексте настоящей книги, в котором они упоминаются, что было бы затруднительно и нецелесообразно, а в особом приложении. Выделение их в приложение позволило снабдить их более подробными комментариями, имеющими в свою очередь значение для проблематики настоящей книги в целом.

В тексте данной работы ссылки к цитатам из произведений Пушкина даются (если источник, по которому они приводятся, не оговорен особо) по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, Изд. АН СССР, М.—Л., тт. I—XVI, 1937—1949. Это издание нигде далее полностью не называется; указываются лишь тома (римскими цифрами) и страницы (арабскими цифрами).

1

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг» не в пример многим другим произведениям Пушкина крайне медленно входило в сознание русских читателей. Его истинный смысл раскрывался постепенно, в течение долгого времени и с особым трудом; в отзывах о нем много лет господствовали сознательные и бессознательные заблуждения, отразившие в известной мере смену отношений к Пушкину нескольких поколений читателей; в известной степени эти заблуждения объяснялись недостаточным знакомством с подлинным авторским текстом стихотворения. История раскрытия и опубликования этого текста растянулась на целое столетие.

В настоящее время стихотворение известно и печатается в полных собраниях сочинений Пушкина по двум автографическим рукописям: 1) черновой, неполной и 2) перебеленной, полной, с поправками и датой: «1836 авг<уста> 21. Кам<енный> остр<ов>». Долгое время исследователям доступна была только последняя; черновой текст (три последних строфы) опубликован был полностью, с прочтением всех исправленных и зачеркнутых мест, лишь в 1937 г.[1] В сущности, только с этих пор на основе тщательного сопоставления обеих рукописей стало возможным более отчетливо представить себе, как складывался и развивался под пером поэта весь этот его поэтический замысел, как возникало стихотворение в его творческом сознании и отливалось в окончательную, законченную форму. Конечно, для более полного понимания этого сложного процесса, в особенности его начальной стадии, сопоставления обеих рукописей, даже если допустить, что других не существовало, было недостаточно: сравнение могло служить лишь надежной отправной точкой для последующих исследований. Но и перебеленный текст, с очень интересными и знаменательными исправлениями, стал известен очень поздно —

[1] См. «Приложение I» к настоящей книге («Автографы „Памятника“»).

только в 1881 г., когда его напечатал П. Бартенев в «Русском архиве», сопроводив небольшой, но содержательной заметкой и приложив к ней факсимиле самого автографа.[2]

До этого времени стихотворение было известно лишь в той редакции, которая опубликована в первый раз в девятом дополнительном томе посмертного собрания сочинений Пушкина, вышедшем в начале мая 1841 г. (цензурное разрешение датировано 29 апреля).[3] Эта редакция, как известно, принадлежала Жуковскому, который, имея основание предполагать, что подлинный текст стихотворения в полном и неповрежденном виде не будет пропущен цензурой, переделал пушкинские стихи, допустил в них собственные вставки и тем самым исказил их прямой и очевидный смысл.

Искажения Жуковского были очень значительны, потому что они коснулись хотя и нескольких, но важнейших стихов. В таком искалеченном виде стихотворение перепечатывалось сотни раз (не только до 1881 г., но и значительно позже), входило в школьные учебники и хрестоматии, заучивалось наизусть, пересказывалось, подвергалось толкованиям и сопоставлениям с другими произведениями поэта. Цитата из стихотворения в той же редакции Жуковского попала на постамент памятника Пушкину работы А. М. Опекушина, открытый в Москве в 1880 г.;[4] характерно, что подлинный текст восстановлен был на этом памятнике только в 1937 г. по ходатайству Академии наук СССР и Союза советских писателей.[5]

Еще в конце прошлого века А. А. Стахович с сокрушением и досадой рассказывал всю эту историю увековечения непушкинских стихов и замечал: «А что надпись на монументе, взятую из нерукотворного памятника, который воздвиг себе сам великий поэт превыше Александрийского столпа, не могли начертать без переделки, поневоле сделанной Жуковским, это узнают и не в столь отдаленном времени». Мемуариста крайне удивляла дли-

---

[2] «Русский архив», 1881, кн. 1, стр. 235; то же в отдельном оттиске: Бумаги Пушкина, вып. 1. М., 1881, стр. 201—202.

[3] К. П. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет. 1837—1937. М., 1938, стр. 26 (№ 99); Е. И. Рыскин. Библиография текстов. М., 1953, стр. 8—10, 12.

[4] В Ленинграде на улице, носящей имя поэта, доныне существует так называемый первый петербургский памятник Пушкину работы того же А. М. Опекушина, открытый спустя четыре года после московского (в 1884 г.), на котором также читаются два двустишия из этого стихотворения; четвертый стих приведен здесь в черновом, первоначальном, зачеркнутом самим поэтом варианте, к тому же с искажением последнего слова:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я избрал

(Л. Н. Назарова. Памятник Пушкину в Петербурге. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III, М.—Л., 1960, стр. 467).

[5] Подробности см. в «Приложении I».

тельность цензурного запрета, тяготевшего над «опасными» стихами, и это действительно бросается в глаза, если только причиной искажения надписи было не простое невежество. «Неужели цензура, пропустившая в печать эту строфу (без ампутации Жуковского), в 1887 году[6] наложила снова свое veto, не допустив ее начертать на вечную скрижаль подножия памятнику? Не позволили этого почти через двадцать лет по освобождении крестьян, отмены телесного наказания и других великих деяний ... о которых в свой жестокий век только мечтал Пушкин. Ежели нашли, что нельзя без переделки написать на монументе эти стихи, следовало выбрать для надписи другое стихотворение, а нельзя было позволить себе исказить на памятнике Пушкину его слова о самом себе и об особенностях своего гения».[7]

В историю восприятия стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг» широкими русскими общественными кругами прошлого столетия должен быть включен еще один характерный эпизод, в равной мере относящийся и к истории русского искусства, потому что речь идет о другом, более раннем произведении скульптуры, замысел которого всецело основан был на том же пушкинском стихотворении. Очень вероятно, что этот замысел не был осуществлен из тех же опасений, какие проявились еще при выборе цитаты для московского опекушинского памятника.

В начале 60-х годов с проектом памятника Пушкину выступил Н. С. Пименов (1812—1864). Интересно, что идея его возникла у скульптора, который однажды в юности встретил Пушкина незадолго до смерти последнего и беседовал с ним о русской школе ваяния. Знакомство Пименова с Пушкиным состоялось в конце сентября 1836 г. в петербургской Академии художеств, на выставке, где всеобщее внимание обратили на себя своей тематикой и трактовкой две скульптуры — «Юноша, играющий в бабки» и «Юноша, играющий в свайку», изваянные молодыми, только что окончившими Академию, скульпторами — Пименовым и Логановским. Пименова, автора первой из этих скульптур, представил Пушкину находившийся тут же президент Академии — А. Н. Оленин. Об этой встрече существует рассказ, записанный со слов самого Н. С. Пименова.[8] Четверть века спустя, после долгих лет

[6] А. А. Стахович ошибается; следовало сказать: в 1880 г.

[7] А. А. Стахович. Клочки воспоминаний. М., 1904, стр. 103 (первоначально опубликовано: «Русская старина», 1896, т. 86). В журнале «Дело» (1887, № 1, отд. XVIII, стр. 18—19) дана была следующая справка: «Только в 1880 году, после открытия памятника поэту, рукописи, которыми пользовался г. Анненков (впрочем, не все), были переданы в Румянцевский музей — к сожалению, уже поздно для памятника, так как на нем отчеканены пушкинские стихи в переделке Жуковского».

[8] [П. Петров]. Николай Степанович Пименов, профессор скульптуры. СПб., 1883, стр. 5—6. По этому рассказу, Пушкин долго любовался скульптурой Пименова, «вынул записную книжку и тут же написал экспромтом: „Юноша трижды шагнул, наклонился“ ... Написанный листок вручен самим

пребывания за границей и окончательного возвращения на родину, Пименов задумал свою скульптурную композицию, посвященную поэту, о встрече с которым он любил вспоминать всю жизнь. «Память о Пушкине всегда чтил Н. С. Пименов, — рассказывает его биограф, — хотя после свидания и знакомства с ним у своего „бабочника" более не видал. Весть о возможности осуществления общих желаний — почтить первого отечественного поэта достойным его монументом сильно заняла воображение Пименова».[9] Модель памятника была закончена в мае 1862 г., но одобрения не получила. Отказ жюри конкурса принять этот проект тяжело подействовал на художника. Существует ряд описаний и воспроизведений этой модели.[10] Одно из описаний сделано тем же А. А. Стаховичем, который рассказывает в уже цитированных «Клочках воспоминаний»: «В мастерской покойного Пименова видел я модель его памятника Пушкину. Поэт был поставлен на скале, со сложенными на груди руками, в той самой позе, по словам художника, в которой раз стал перед Пименовым при разговоре с ним о своем бюсте или статуе. У ног поэта, на пьедестале, изображен был летящий гений с развернутым полным списком стихотворения:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

«А внизу — русский крестьянин, в одной рубахе — снятой им армяк лежит на земле, — вычеканивая надпись:

Пушкину — Россия,

высекает последнюю точку».[11]

Едва ли подлежит сомнению, что полный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг», предназначенный скульптором для воспроизведения на проектированном им монументальном сооружении, давался бы здесь в традиционной, общепринятой в то время редакции: подлинный текст, как мы уже указывали, еще не был известен в то время; не знал его, конечно, и Пименов, как не мог он знать также, что личная его встреча и беседа с Пушкиным в сентябре 1836 г. состоялась вскоре после того, как стихотворение о памятнике было написано. Тем не менее увлекшая Пименова задача — воплотить в скульптурных образах пушкинские строки, выразить, по его собственным словам, «предвиде-

поэтом художнику, с новым пожатием и приглашением к себе» и т. д. Оба четверостишия Пушкина — на скульптуры Пименова и Логановского — напечатаны были «с обязательного согласия автора» в «Художественной газете» (1836, № 9—10, стр. 140—141).

[9] [П. Петров]. Николай Степанович Пименов..., стр. 17.

[10] Проект памятника Пушкину скульпт. Пименова (рисовал Н. Малышев). «Живописное обозрение», 1880, № 21, стр. 389; И. Шмидт. Н. С. Пименов. М., 1953, стр. 8—9.

[11] А. А. Стахович. Клочки воспоминаний, стр. 104.

ние поэта как „гения, себя сознающего“» и «представить подтверждение признательными потомками его о себе предречения»[12] — кажется для начала 60-х годов и значительной, и довольно смелой. Скульптура Пименова не только подчеркивала автобиографический характер стихотворения Пушкина, как его основной, определяющий признак, но как бы утверждала в мраморе и бронзе историческую верность и незыблемость самооценки поэта, которую потомки принимали без колебаний и поправок. Не подозревая о существовании многих подлинных строк стихотворения, например о свободе, которую поэт «вослед Радищеву» восславил в свой «жестокой век», Пименов все же не убоялся представить на своем памятнике читающую и признательную Россию в «мужицком» образе, в чем нельзя не усматривать явных воздействий на скульптора веяний эпохи освобождения крестьян и общественных реформ. Нужно думать, что это и погубило его проект в мнении официальных кругов; по-видимому, модель показалась его судьям «крамольной» по своей основной идее. Именно это и выделяет Пименова из ряда вполне заурядных официальных толкователей пушкинского стихотворения того времени.

В 60-е годы прошлого века пушкинский «Памятник» принято было объяснять прежде всего как подражание стихотворению Державина (по аналогии с которым оно и было Жуковским названо «Памятник») и общему их источнику — оде Горация. Конечно, сам Пушкин дал этому достаточный повод, но для него прямая ссылка на Горация (в эпиграфе) и молчаливое следование Державину, который сам собой приходил на память читателю, были лишь подобием музыкального ключа в нотной рукописи — знаком выбора стилистической тональности в собственной поэтической разработке темы, а частично и маскировкой слишком большой самостоятельности этой трактовки. Комментаторы делали, однако, упор на подражательности стихотворения и ослабляли этим значение заключающихся в нем глубоко личных, сокровенных признаний поэта.

С какими пояснениями и соответствовавшими им интонациями стихотворение заучивалось наизусть и интерпретировалось школьниками в середине прошлого века, об этом можно судить по свидетельству, находящемуся в книге И. Соснецкого «Опыт разбора образцов русской словесности» — весьма типичному образчику тех суррогатов школьных учебников, которые были так распространены в тогдашней средней школе. Вот что говорилось в этой книге о стихотворении Пушкина: «Как „Памятник“ Пушкина, так и „Памятник“ Державина написаны в подражание оде Горация „К Мельпомене“. Будучи сходны в общих частях, они представляют много различия в частности, а особенно в причинах бессмертия. Гораций, сознавая достоинство своих произведений, по-

[12] [П. Петров]. Николай Степанович Пименов. . ., стр. 17.

лагает причину своего бессмертия в том, что он из ничтожества сумел достигнуть высшей степени славы и что песни его похожи на песни греческие. Державин причину своего бессмертия полагает в том, что первый осмелился в забавном слоге возгласить о добродетелях Фелицы, беседовал о боге в сердечной простоте и смело говорил правду царям. Пушкин, наконец, причину своего бессмертия полагает в том, что он умел возбуждать добрые чувства, что был полезен живой прелестью стихов и призывал милость к падшим. Он советует музе своей быть послушной велению бога, не страшиться обиды, сносить равнодушно хвалу и клевету и не спорить с глупцами».[13]

Нет, вероятно, необходимости, пространно пояснять, в каком обедненном, приглаженном виде представлено здесь стихотворение Пушкина, какую произвольную комбинацию из пушкинских и непушкинских стихов производил школьный комментатор. Делая особое ударение на последней, пятой строфе — кстати сказать, и в XX в. служившей предметом длительных споров, — он намеренно набрасывал тень на первые строфы, хотя уже в 3-м и 4-м стихах Жуковский допустил существенные искажения, затемнившие их смысл.

При первой публикации 1841 г. эти стихи были напечатаны так:

> Вознесся выше он главою непокорной
> Наполеонова столпа.

Сорок лет спустя в заметке, сопровождавшей публикацию текста стихотворения по автографу, Бартенев обратил внимание на то, как стихи были написаны Пушкиным, и пытался оправдать Жуковского в сознательно им допущенном искажении их: «Что касается до Жуковского, изменившего смысл пушкинских стихов, то винить его невозможно, когда знаешь, что иначе стихотворение могло бы погибнуть, что бумаги Пушкина вслед за его кончиною немедленно были опечатаны чиновником III отделения; что были властные люди, радостно потиравшие себе руки в надежде

---

[13] Иван Сосницкий. Опыт разбора образцов русской словесности, заключающихся в программе желающих поступить в студенты императорского Московского университета. М., 1867, стр. 140—141. Годом раньше вышла книга В. Водовозова, в которой общей характеристике творчества Пушкина уделено свыше ста страниц; тридцать из них занято разбором его лирических стихотворений. Тем не менее пушкинскому «Памятнику» автор посвятил лишь одну следующую фразу: «Ни один из наших поэтов не имел такого права сказать, как Пушкин («Памятник», 1836 года), что он был народу полезен живою прелестью стихов» (В. Водовозов. Новая русская литература. От Жуковского до Гоголя включительно. СПб., 1866, стр. 131). Таким образом, все стихотворение характеризовано с помощью лишь одной искаженной, непушкинской строки, а об остальных автор предпочел вовсе умолчать. Книга Водовозова читалась долго: ее пятое издание выпущено было в 1886 г., но указанная ошибка не была исправлена ни разу.

отыскать в рукописях Пушкина и в его переписке якобы новых улик по делу 14 декабря; что участь, например, князя Вяземского висела на недоразумении; что Булгарин с братиею был свой графу Бенкендорфу и Дубельту, подпись которого и теперь красуется на пушкинских тетрадях, хранящихся в Румянцевском музее, откуда взят прилагаемый список».[14] Тем не менее и Бартенев не в состоянии был добраться до смысла искаженного Жуковским стиха о «Наполеоновом столпе» до тех пор, пока он сам не заглянул в подлинную рукопись поэта. В предшествующие десятилетия, когда Бартенев столь деятельно собирал путем расспросов сведения для биографии Пушкина, он не смог получить ответа на свой недоуменный вопрос об этом загадочном стихе, обращаясь даже к таким близким друзьям поэта, как П. А. Вяземский или П. А. Плетнев. Что в этом стихе заключен какой-то таинственный намек, это Бартенев мог заключить из свидетельства Гоголя, но Гоголь окружил свое утверждение таким туманом, что смысл 4-го стиха утрачивался окончательно.

В своей печально-знаменитой книге, вызвавшей горячую отповедь Белинского, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), в X отрывке, озаглавленном «О лиризме наших поэтов» и представлявшем собою обработку для печати подлинного письма его к Жуковскому, Гоголь напечатал следующие строки: «Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты, но, положим, если бы стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил [бы] доказательством ... как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество как человека перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость звания своего перед званием венценосца».[15] «Признаемся, что мы не видим тут доказательства, о котором говорит Гоголь, — с полным основанием замечал по этому поводу Бартенев. — Мы напрасно обращались к П. А. Плетневу и князю П. А. Вяземскому за разъяснением, и только теперь (т. е. в 1881 г., — *М. А.*) подлинная рукопись Пушкина выясняет, в чем дело».[16]

Слова Гоголя действительно крайне неотчетливы; однако, по-видимому, они все же являются непосредственным свидетельством того, что стих с «Александрийским столпом», вместо «Наполеонова», а может быть, и все стихотворение в целом были известны Гоголю в подлинном тексте и что он во всяком случае понимал причину произведенной в нем Жуковским перемены. Несмотря на это, в том же отрывке «Выбранных мест из переписки с друзьями», несколькими страницами ниже и по другому

---

[14] П. Б[артенев]. О стихотворении Пушкина «Памятник». В кн.: Бумаги Пушкина, вып. 1. М., 1881, стр. 201—202.

[15] Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 255.

[16] П. Б[артенев]. О стихотворении Пушкина «Памятник», стр. 201.

поводу, Гоголь снова цитирует то же стихотворение Пушкина в редакции Жуковского, с непушкинским стихом:

Что прелестью живой стихов я был полезен.[17]

Следует, впрочем, отметить, что затруднения истолкователей «Памятника» относительно его 4-го стиха (с «Наполеоновым столпом») обнаружились очень поздно, не ранее чем в печать проникли кое-какие известия о рукописях поэта. У критиков и читателей стихотворения, не располагавших возможностью заглянуть в автограф подлинника или воспользоваться устным преданием о некоторых подробностях его текста (вроде только что приведенного свидетельства Гоголя), никаких недоумений относительно «Наполеонова столпа», не возникало. Только тогда, когда критики узнали, что в рукописи Пушкина стояло нечто иное, и появилась у них необходимость уяснить себе, для какой цели Жуковский произвел замену этого стиха. Д. И. Писарева, например, в 1865 г. «Наполеонов столп» сам по себе не удивлял нисколько; зато мысль Пушкина, что его памятник «вознесся выше» этого столпа, критик сопроводил издевательской ремаркой: «excusez du peu», т. е. «всего только» или «только-то»; ниже в столь же издевательском и пренебрежительном тоне, характерном для этой статьи, Писарев заметил, что поэт «превознес самого себя выше облака ходячего».[18]

Большинство читателей еще в это время несомненно считали, что «Наполеонов столп» в указанном стихе придуман самим Пушкиным. Никто тогда, вероятно, не сомневался и в том, что речь здесь шла о Вандомской колонне в Париже, долго считавшейся одним из самых высоких сооружений этого рода; следовательно, «Наполеонов столп» был с их точки зрения всего лишь метафорой высоты. Читая рукопись данного стихотворения Пушкина и готовя ее к изданию, Жуковский тем естественнее вспомнил эту наполеоновскую колонну, что, конечно, и сам не раз видел ее во время своего полуторамесячного пребывания в Париже,[19] и, вероятно, знал о впечатлении, которое она произвела на К. Н. Батюшкова еще в 1814 г., после занятия Парижа русскими войсками.[20] Впоследствии все это забылось, и некоторые современные нам исследователи Пушкина, упрекая Жуковского в переделке указанного стиха, еще больше — и совершенно напрасно — отягощали его вину. Так, Б. П. Городецкий, анализируя «Памятник», писал

---

[17] Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 259.

[18] Д. И. Писарев. Пушкин и Белинский (статья вторая: «Лирика Пушкина»). В кн.: Д. И. Писарев, Сочинения, т. 3, М., 1956, стр. 413 (впервые статья опубликована: «Русское слово», 1865, кн. 6).

[19] П. А. Вяземский. Жуковский в Париже. В кн.: П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПб., 1882, стр. 470—484.

[20] О письме К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 г. см. ниже, стр. 68.

между прочим о редакторских поправках Жуковского: «Александрийский столп был заменен Наполеоновым столпом, что не имело смысла, так как никакого Наполеонова столпа не существовало».[21] Это ошибка. «Столп» этот не только существовал в действительности, но и достаточно хорошо был известен в России в 30—40-е годы XIX в. Вот что, например, писали о нем в специальной статье «Вандомская колонна» в петербургском «Энциклопедическом лексиконе», в томе, появившемся в год смерти Пушкина: «Вандомская колонна, или Колонна побед, в Париже на прекрасной Вандомской площади, близ Тюильерийского дворца, воздвигнута по повелению Наполеона в воспоминание побед, одержанных им в кампании 1805 г. Эта колонна, подражание Траяновой колонне в Риме, сделана из металла 425 пушек, взятых у неприятелей». Вершина этого памятника «обнесена галереею, посреди которой на небольшом пьедестале возвышается колоссальная статуя Наполеона. В 1814 г. она была снята по требованию парижан, но в 1833 г., после июльской революции, правительство, удовлетворяя также желанию французов, поставило на Вандомскую колонну новую статую Наполеона, сделанную художником Сёром (Seure): Наполеон представлен в известной своей треугольной шляпе, в сюртуке, надетом сверх мундира, с зрительной трубой в правой руке».[22]

Несколько лет спустя, в самый год опубликования пушкинского «Памятника», В. Р. Зотов, только что закончивший обучение в Царскосельском лицее (где он провел 1836—1841 гг.),[23] издал в Петербурге отдельной брошюркой длинное стихотворение «Две колонны».[24] Хотя это юношеское произведение описательно-меди-

---

[21] Б. П. Городецкий. Лирика Пушкина. М.—Л., 1962, стр. 364.

[22] Энциклопедический лексикон, т. 8. СПб., 1837, стр. 234.

[23] Д. Кобеко. Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 1811—1843. СПб., 1911, стр. 433.

[24] В. Зотов. Две колонны. СПб., 1841, 8 стр. (цензурное разрешение помечено 28 августа 1841 г.; цитируется по экземпляру Пушкинского дома, ранее принадлежавшему книжному собранию Царскосельского лицея — Lyceana). «Две колонны» были одним из ранних стихотворений В. Р. Зотова (1821—1896), появившихся в печати; до этого он выступал как «лицейский поэт», напечатавший свои первые стихи в 29-ю годовщину основания Лицея. См.: С. Ш[убинский]. Пятидесятилетие литературной деятельности В. Р. Зотова. «Исторический вестник», 1890, № 11, стр. 505, 510. Четыре десятилетия спустя В. Р. Зотов рассказывал народовольцу Н. А. Морозову о личном знакомстве с Пушкиным у своего отца, романиста и начальника репертуара императорских театров, — Р. М. Зотова (запись об этом см. в кн.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. II. М., 1947, стр. 433; см. также в другой, менее «расцвеченной» редакции: Н. А. Морозов. Несколько слов об архиве «Земли и воли» и «Народной воли». Там же, стр. 545), но справедливость этого утверждения отрицалась с полным основанием («Литературное наследство», т. 62, 1955, стр. 140—141), тем более что сам В. Р. Зотов, разумеется, не упустил бы случая упомянуть об этом в автобиографических заметках, где он рассказывает о начале своей литературной деятельности (В. Зотов. Петербург в сороковых годах. «Истори-

тативного характера не блещет никакими достоинствами, для нас оно представляет известный интерес по своей теме: здесь противопоставлены друг другу две колонны — Александровская в Петербурге и Вандомская в Париже. О первой говорится, что среди других стройных и величавых памятников, «свидетелей побед и русской славы», она в особенности влечет к себе «уроками судьбы»:

То памятник простой: из цельного гранита
Колонна стройная, на ней из горних мест
Божественный жилец — в руках сияет крест,
Символ спасения, таинственный и мирный,
И смотрит в небеса спокойно дух эфирный.
Порой у подножия чудной колонны
Я грустною мыслью стою пораженный
И думаю долго, склонясь головой,
О двух великанах, о битве святой.

Затем следует описание другой колонны — Вандомской. Претенциозность молодого поэта, недостаточно хорошо владевшего стихом, сказалась и в том, что, говоря о каждом из этих сооружений, он менял стихотворный размер:

Во Франции, в Париже есть другая
Колонна стройная; издалека сверкая
Отлитой, гладкою поверхностью, она
Из пушек волею гиганта создана;
Дни славы и побед сияют на металле, —
И он на ней — гигант с нахмуренным челом,
Под шляпой маленькой и в сюртуке простом!

Поэт вспоминает наполеоновские походы начала века и 1812 год:

Москва обрушилась, пылая,
А вслед за ней погиб и он!
И полный гордости и славы,
Еще при жизни величавый
Воздвиг он памятник себе;
Но скрылась воля, счастье, сила,
Ему победа изменила, —
И покорился он судьбе.
Над другою колонною
Встала славы заря! [25]

Примечательно, что В. Зотов, написавший и издавший свое стихотворное размышление о двух колоннах через несколько месяцев после опубликования пушкинского «Памятника», — откуда,

---

ческий вестник», 1890, № 1, стр. 29—53). Это не исключает, впрочем, что В. Р. Зотов мог видеть Пушкина в Петербурге или в Царском Селе; он во всяком случае хорошо посвящен был в историю лицейской жизни и впоследствии много раз писал о ней (см.: Б. Ф. Егоров. В. Р. Зотов, критик и публицист 1850-х годов. «Ученые записки Тартуского университета», 1959, вып. 78, стр. 7).

[25] В. Зотов. Две колонны, стр. 3—4.

может быть, и возникли в его стихотворении текстовые отголоски из Пушкина, — придавал особое значение разному происхождению обеих колонн — одна искусственно отлита из неприятельских пушек, другая самородна и первозданна:

Та колонна из металла,
Слита в массу из кусков;
Гордо вылитая стала
Выше храмов и дворцов.
Но не сплочена, не сбита
Наша масса из гранита;
Нашей славою покрыта
Да как слава и тверда!
Перед ней идут года!
Об нее ль не разобьются
В щепки замыслы врагов?
Вкруг нее ли разовьются
Строи вражеских полков?

. . . .

Много мыслей потомкам внушит тот металл,
Тот громадный гранит первосозданных скал
и т. д.[26]

Еще в 1834 г. А. И. Герцен, толкуя о журналах, где «быстро один вид заменяется другим», иллюстрировал это таким примером: «колонна Вандомская возле колонны Петербургской».[27]

Как видим, у Жуковского были основания для того, чтобы в четвертой строке пушкинского стихотворения заменить «Александрийский столп» «Наполеоновым»: он сделал это в полном соответствии с фразеологией эпохи и, вероятно, из лучших побуждений, ради устранения опасного в цензурном отношении намека. Но вместе с одиозным стихом утрачивался смысл и всей первой строфы «Памятника», идейная направленность ее становилась неясной, нечеткой, допускавшей различные истолкования. В конце концов повод для произведенной замены забылся окончательно. Гоголь весьма неуверенно высказывал догадку о смысле этой строфы «Памятника», когда писал Жуковскому через пять лет после его опубликования: «...в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты...». Мысль Пушкина, если Гоголь видел рукопись стихотворения или слышал что-либо о ней, представлялась ему столь неотчетливо, что он не в состоянии был ее воспроизвести. Может быть, однако, публикуя это письмо в 1847 г., сам Гоголь опасался высказаться яснее? Как мы видели, ни П. А. Плетнев, ни П. А. Вяземский, к которым обращался П. И. Бартенев со своими недоумениями относительно причин появления «Наполеонова столпа» в «Памятнике», ничего не могли объяснить ему по этому поводу; правда, любознательный и настойчивый пушкинист

---

[26] Там же, стр. 5—6.

[27] А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30 томах, т. I, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 60.

обращался со своими вопросами к этим старым друзьям Пушкина в поздние годы их жизни, когда многое уже ускользнуло из их памяти. Что же касается Жуковского, то остается неизвестным, откликнулся ли он как-либо на упрек Гоголя, адресованный ему в печати; никаких свидетельств об этом Жуковский не оставил.

Отсюда и возникает естественный вопрос: было ли данное стихотворение известно в литературных кругах в его подлинном тексте до первой его публикации в 1841 г.? Знать это весьма существенно не только для истории его истолкования, но и для понимания условий, при которых оно возникло: не забудем, что первыми редакторами произведений Пушкина, оставшихся после его смерти в рукописях, были близкие друзья поэта, знавшие многое о его литературных замыслах от него самого. Однако этот вопрос для удобства последующего анализа необходимо расчленить на два: желательно выяснить, что знали об этом стихотворении Пушкина до и после кончины поэта. К выяснению этих вопросов мы и обратимся.

2

Нам известны сейчас только два достоверных свидетельства о «Памятнике» Пушкина, относящихся к 1836 г., т. е. ко времени его создания. Оба они опубликованы не так давно, не подвергались еще специальной критической экспертизе и не были привлечены в надлежащей мере к решению тех разнообразных задач, которые стихотворение Пушкина ставит перед своими исследователями.

Первое по времени из этих свидетельств стало известно из так называемой тагильской находки 1956 г. Это — письмо Александра Карамзина из Петербурга к его брату Андрею, датированное 31 августа 1836 г., в котором есть следующие строки: «Пушкин показал ему (Н. Муханову, — *М. А.*) только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна».[1] Что речь здесь идет именно о стихотворении «Я памятник себе воздвиг», в этом не может быть никаких сомнений. Это явствует, в частности, также и из сопоставления дат: в основной, полной рукописи перебеленный его текст помечен 21 августа 1836 г., письмо Карамзина написано девять дней спустя, встреча же Пушкина с Мухановым состоялась 29 августа, т. е. через неделю. Отсюда можно также заключить, что перебеленный и черновой тексты стихотворения

---

[1] Ираклий Андроников. Тагильская находка. Из писем Карамзиных. «Новый мир», 1956, № 1, стр. 168; Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. Под ред. Н. В. Измайлова. М.—Л., 1960, стр. 96.

не далеки друг от друга по времени написания: Муханов говорит о «только что написанном» стихотворении. Столь же важно в словах Муханова указание на злободневный повод его возникновения, на причины, его породившие; оно согласуется в этом смысле с другими письмами семьи Карамзиных, о чем пойдет речь ниже. Однако далеко не столь ясно, какую именно рукопись показывал Пушкин Муханову — полный ли, перебеленный текст стихотворения или только последние три его строфы, известные нам в черновике (начиная со стиха: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой»), более соответствующие тому впечатлению, какое от показанного ему стихотворения вынес Муханов. Комментаторы нового издания переписки Карамзиных, обращая внимание на указанное место в письме Александра Карамзина, осторожно поясняют, что «Муханову более всего запомнилась пятая, заключительная строфа стихотворения, в которой он уловил отклик поэта на поверхностные, свидетельствующие о непонимании или враждебности отзывы критики и читателей о его творчестве, якобы иссякшем и клонящемся к упадку».[2] Отсюда напрашивается предположение, что Пушкин показывал Муханову именно черновой текст (последние три строфы без первых двух). Едва ли бы Муханову, который, по собственному его рассказу Александру Карамзину, нашел Пушкина «ужасно упадшим духом ... вздыхающим по потерянной фавории публики», поэт стал читать по своей рукописи торжественные, утверждающие, величавые строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», тем более что они заключали в себе опасный в то время политический намек. Полный текст стихотворения Пушкин мог показывать только наиболее близким друзьям, к числу которых Николай Муханов все же не принадлежал.

Второе, более позднее документальное свидетельство об интересующем нас стихотворении принадлежит одному из таких именно друзей Пушкина — А. И. Тургеневу. Мы имеем в виду запись его дневника, также напечатанную сравнительно недавно и оставшуюся почти незамеченной исследователями. Впервые опубликовал ее П. Е. Щеголев в 1928 г., в третьем издании своей книги «Дуэль и смерть Пушкина», в «Приложении», среди других двадцати восьми упоминаний о Пушкине, извлеченных им из рукописного дневника А. И. Тургенева (за период от 25 ноября 1836 по 28 января 1837 г.). В записи от 15 декабря 1836 г. мы читаем: «Был у Карамз<иных> ... сидел у Аршияка ... Обедал у Татар<иновой>, вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песнь о Полку Игореве для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б. Портрет его в подражание Державину: „весь я не умру!“. О М. Орл<ове>, о Кисел<еве>, Ермол<ове> и К. Менш<икове>.

[2] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов, стр. 359.

Знали и ожидали: „без нас не обойдутся“. Читал письмо к Чаадаеву, не посланное».[3]

Нечего и говорить о том, насколько важны для нас эти лаконичные строки, торопливо начертанные Тургеневым на страницах его дневника в ту же декабрьскую ночь, тотчас по возвращении от Пушкина: Тургенев по привычке заносил ежедневно свои заметки в дневниковые тетради, и чем насыщеннее примечательными событиями, встречами, содержательными беседами бывали для него такие дни, тем более скудными, сжатыми, сокращенными почти до иероглифических знаков становились строки, предназначенные удержать в памяти то, что было им пережито и перечувствовано за этот день. П. Е. Щеголев оставил без пояснений как эту, так и прочие записи, между тем они настоятельно требуют расшифровки. Трудно, конечно, по цитированным строкам восстановить весь ход искренней, задушевной беседы Пушкина с Тургеневым, затянувшейся до полуночи, но кое-что угадать в ней и восстановить все же возможно. Знаменательно прежде всего, что она касалась творчества поэта, его ближайших литературных дел, отношений его к современникам, идейных несогласий с ними. Начавшись со «Слова о полку Игореве», толкования которого сильно занимали Пушкина в то время,[4] она закончилась чтением «не посланного» письма к П. Я. Чаадаеву, которое так и не было отправлено Пушкиным по назначению и найдено было в его бумагах.[5] В последний месяц 1836 и в начале 1837 г., живя в Пе-

---

[3] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. Изд. 3-е, просмотренное и дополненное. М.—Л., 1928, стр. 278 (восполнение сокращенных слов, отсутствующее в публикации Щеголева, дано мною).

[4] А. И. Тургенев имел в виду врученный ему Пушкиным второй экземпляр имевшегося в библиотеке поэта «Слова о полку Игореве» в пражском издании В. Ганки 1821 г.; эту книгу А. И. Тургенев должен был переслать брату, Н. И. Тургеневу, а последний в свою очередь — Ф. Г. Эйхгофу. См.: Я. И. Ясинский. Из истории работы Пушкина над лексикой «Слова о полку Игореве». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., 1941, стр. 338, 367—368.

[5] Речь идет о письме Пушкина к П. Я. Чаадаеву на французском языке, написанном 19 октября 1836 г. в ответ на получение от автора оттиска «Философического письма», напечатанного в 15-й книге «Телескопа» за 1836 г. Как известно из свидетельства самого Чаадаева, письмо это не было ему отослано, и он долго тщетно добивался получения хотя бы списка его от Жуковского, в руках которого оно оказалось после смерти Пушкина («Русская старина», 1903, кн. 10, стр. 185—186; П. Я. Чаадаев, Сочинения и письма, т. I, М., 1913, стр. 238—239, 399). Дм. Шаховской (Два выстрела. «30 дней», 1937, № 2, стр. 73—74) предполагает, что в тот же день, когда Пушкин написал это письмо Чаадаеву, он узнал о тучах, собирающихся над головою друга: как он это и предчувствовал в последних строках письма, через несколько дней «последовала высочайшая резолюция о запрещении „Телескопа“ и объявлении Чаадаева сумасшедшим». См. также: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 1, М.—Л., 1936, стр. 239; А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). Издание подготовил М. И. Гиллельсон. М.—Л., 1964, стр. 487—488.

тербурге, А. И. Тургенев нередко виделся с Пушкиным и много беседовал с ним по душам. Об этом свидетельствует сам Тургенев в письме к Е. А. Свербеевой от 21 декабря 1836 г.: «Пушкин мой сосед, он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна. Но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда».[6] Месяц спустя, уже после гибели поэта, А. И. Тургенев писал о нем своему двоюродному брату И. С. Аржевитинову (письмо от 30 января 1837 г.): «...последнее время мы часто виделись с ним и очень сблизились, он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие».[7] А. И. Тургенев знал об этом более всех других, о чем свидетельствуют, в частности, записи его дневника. Едва ли кому-либо другому, кроме Тургенева, Пушкин решился бы показать свое письмо к Чаадаеву накануне громкой цензурной истории и последующих репрессий против автора «Философического письма». В этом неотосланном письме Пушкина к Чаадаеву Тургенев читал, в частности, проникновенные и мудрые строки о современной ему общественной жизни в Петербурге, объясняющие так много в той атмосфере, в которой мог создаться «Памятник». «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно, — писал Пушкин Чаадаеву по прочтении «Философического письма». — Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние» (XVI, 172—173, 393).

Остальные строки приведенной записи дневника А. И. Тургенева свидетельствуют о большой содержательности его беседы с Пушкиным, которая велась с глазу на глаз, без посторонних.[8]

---

[6] «Московский пушкинист», под ред. М. Цявловского, вып. 1, М., 1927, стр. 24—25.

[7] «Русский архив», 1903, кн. 1, стр. 143.

[8] Расшифровку этих записей и комментарий к ним дал также М. И. Гиллельсон в подготовленном им издании: А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники, стр. 488. Давая свое чтение нескольких неразборчивых строк (например: «О М. Орлове и Киселеве, Ермолове и кн. Меншикове...» и т. д.; по нашему мнению, возможны и другие варианты восполнения сокращенных слов и пунктуации, как это видно из сравнения с публикацией текста, приведенной на стр. 19), М. И. Гиллельсон пытается восстановить ход интересующей нас беседы в следующем виде: «Сначала Пушкин прочел „Памятник", затем разговор перешел на восстание декабристов, и, наконец, Пушкин ознакомил его со своим неотправленным письмом к Чаадаеву. Итак,

Речь зашла тогда также о новых стихах — самого Пушкина, а также о стихах Р. и Б. Кого из поэтов Тургенев имел в виду, сокращая их фамилии до начальной буквы? Очевидно, это были знакомые имена, если он не счел нужным раскрыть их в тетради полностью, явно надеясь на то, что легко вспомнит их, когда будет перечитывать свою дневниковую запись. Для того чтобы догадаться, кто скрывался под этими прозрачными для А. И. Тургенева инициалами, необходимо заглянуть в оглавление очередной книги «Современника», составлением которой Пушкин озабочен был в декабре 1836 г., или в предшествующую, уже вышедшую в свет. Пятый том журнала был первым из тех, которые выпускались друзьями Пушкина после его смерти; основу этой книги составили рукописи разных авторов, найденные в столе покойного поэта, которые он сам предназначал для своего журнала.

В V томе «Современника» наше внимание обращают на себя два стихотворения — «Эльбрус и я»[9] Е. Ростопчиной и «Осень» Е. А. Баратынского.[10] Было бы трудно утверждать с полной уверенностью, что именно об этих двух стихотворениях шла у Пушкина речь с А. И. Тургеневым вечером 15 декабря 1836 г., но мы едва ли ошибемся, если предположим, что как раз имена этих двух поэтов Тургенев обозначил в своем дневнике буквами «Р.» и «Б.». Что касается «Осени», то это стихотворение прислано было издателям «Современника» уже после смерти Пушкина, хотя начато было задолго перед тем и имеет прямое отношение к поэту, который мог знать об этом замысле Баратынского.[11]

стихотворение „Памятник", в котором Пушкин писал, „что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал", естественно направило разговор в русло декабристского движения. Беседуя с А. И. Тургеневым о декабристах, Пушкин вспомнил о своем письме к Чаадаеву, в котором, как указано выше, он писал об истории России и о ее современном состоянии: тема неотправленного письма от 19 октября 1836 г. органически входила в круг тех острых политических вопросов, которые были предметом обсуждения между Пушкиным и А. И. Тургеневым в этот вечер» (там же, стр. 488). Эти выводы слишком категоричны. Я не решился бы утверждать, что данная беседа развивалась именно так, тем более что последовательность, с которой в разговоре назывались отдельные имена, легко могла быть нарушена самим Тургеневым во время записи в дневнике; с другой стороны, содержание беседы безусловно не исчерпывалось обсуждением «острых политических вопросов», она коснулась и литературы, и светских сплетен.

[9] «Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его...», 1837, т. V, СПб., стр. 140—142. Подпись: Г[рафиня] Е[вдокия] Р[остопчина]; через несколько лет перепечатано в ее «Стихотворениях» (СПб., 1841, стр. 116—117) с пометой: «октябрь, 1836 г.».

[10] «Современник», 1837, т. V, стр. 279—286.

[11] Элегия Баратынского «Осень», неоднократно сопоставлявшаяся с «Осенью» Пушкина, окончена была лишь в январе 1837 г., что удостоверяется письмом его к П. А. Вяземскому, где говорится: «Препровождаю вам дань мою „Современнику". Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения ... Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию» («Старина и но-

Однако в предшествующем, IV томе «Современника» сам Пушкин напечатал другое стихотворение того же Баратынского («К Вяземскому»), которое, как и многие другие его произведения, могло дать не один повод к обмену мыслями с А. И. Тургеневым. Баратынский писал это стихотворное послание из сельского уединения и высказывал в нем полное удовлетворение, что покинул свет, далек от его горестей и радостей, равнодушен к его злоречию и пересудам, живя мирно и тихо, в отдалении от забот,

Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет,
Где я простил безумству, злобе,
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет.[12]

Здесь высказывались настроения, прямо совпадавшие с тем, о чем тайно мечтал и Пушкин в то самое время, — о вольной жизни среди природы, в полной отрешенности от опостылевших ему тревог, клеветы, суетности большого света. Стихотворение же Ростопчиной, напротив, возвращало читателя в привычную для ее поэзии сферу изысканных чувств великосветской среды, со всеми ее условностями, показным равнодушием, умением маскировать сердечные порывы. В этом стихотворении, которое могло быть известно Пушкину по рукописи, есть, например, следующие строки:

Как пред красавицей надменной
Поклонник страсть свою таит,
Так пред тобой, Эльбрус священный,
Весь мой восторг остался скрыт
и т. д.

Как видим, у Пушкина в тот проведенный им наедине с А. И. Тургеневым вечер 15 декабря, когда он говорил о стихах, своих и чужих, был, вероятно, не один случай перейти в беседе к своим сугубо личным делам, обидам и подозрениям, к тому, что он думал об окружающих его людях и собственной судьбе. Во всяком случае в той или иной связи со стихами Ростопчиной и Баратынского — если исходить из записи дневника А. И. Тургенева и если она правильно расшифрована нами, — Пушкин в тот вечер говорил и о своих новых стихах, все реже появлявшихся на его рабочем столе, и показал Тургеневу стихотворение «Я памятник себе воздвиг», на этот раз несомненно в полном виде, не утаивая ни одной его строки. Запись об этом Тургенева хотя и скупа и лаконична, но все же очень насыщена: «Портрет его (Пуш-

---

визна», 1902, т. V, стр. 54). См. также: М. Л. Гофман. Баратынский о Пушкине. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XVI, СПб., 1913, стр. 143—166.

[12] «Современник», 1836, т. IV, стр. 216—218.

кина, — *М. А.*) в подражание Державину: „весь я не умру!“».[13] Знаменательно здесь определение стихотворения как автопортрета Пушкина, как попытки его представить самого себя грядущим поколениям, предречь бессмертие своей поэзии. Тургеневу, очевидно, особенно запомнилось начало второй строфы:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.

Интересно, что тем же словом «портрет» воспользовался и Гоголь, называя «Я памятник себе воздвиг» в письме к Жуковскому (и в книге «Выбранные места из переписки с друзьями») «душевным портретом» Пушкина.[14] Не к Пушкину ли восходит это определение? Не сам ли он называл так для краткости, но и по существу свое стихотворение? Ведь именно к портрету Жуковского, реальному, а не метафорическому, обращены написанные Пушкиным еще в 1818 г. знаменитые строки, говорившие о бессмертии поэзии, — тонкий «словесный портрет» и вместе с тем один из ранних вариантов «Памятника», воздвигнутого Пушки-

---

[13] А. И. Тургенев хорошо помнил и стихотворение Державина, и оду Горация. Вскоре после смерти Пушкина, но еще до того как был напечатан его «Памятник», А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому (4 мая 1837 г.), что в Москве холодно отнеслись к замыслам об увековечении памяти Карамзина, и цитировал по этому поводу Горация и Державина: «Мне обещали доставить и копии с письма Обольянинова, в коем он по-своему доказывает, что Карамзин не заслужил памятника. Не лучше ли бы памятник „aere perennius“? ... Обними за меня милое потомство Карамзина и скажи ему и себе, чтобы не мешали, а помогли мне воздвигать другой памятник, коего ни губернатор, ни

Времени полет не могут сокрушить»

(Остафьевский архив, т. IV, СПб., 1899, стр. 15; последняя строка — 4-й стих «Памятника» Державина).

[14] «Наши писатели ... заключали в себе черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкрепленьем. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

«Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет» (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 259). В плане «Учебной книги словесности для русского юношества» Гоголь также писал: «Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта и самонужнейшие заметки, биография его восторгновений» (там же, стр. 472).

ным в честь одного из наставников его поэтической юности («К портрету Жуковского»):

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль
и т. д.[15]
(II, 1, 60)

И не эти ли обращенные к нему стихи вспоминал и сам Жуковский, готовя в 1840 г. к первой публикации пушкинский «Памятник» и переделывая на свой лад четвертую его строфу? —

Что прелестью живой стихов я был полезен.

Не менее существенно для нас и другое указание в записи А. И. Тургенева. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг» названо им «портретом» поэта, созданным в подражание державинскому «Памятнику». Было ли это подчеркнуто Пушкиным в беседе или таково было впечатление самого Тургенева, остается неясным; но это и не столь важно, потому что такое ощущение испытывали все первые читатели пушкинского стихотворения, для которых державинские стихотворные строки оставались еще живыми, звучащими, широко известными, воспринимались как образец, которому следовал Пушкин; это ощущение на долгие годы определило и основную особенность восприятия стихотворения Пушкина, и важнейшее направление в его истолкованиях вплоть до наших дней.

Нет сомнения, что Пушкин придавал особое значение этому своему произведению. А. И. Тургеневу он показывал его почти через четыре месяца после того, как оно было создано; напомним еще раз, что запись дневника Тургенева, в котором оно упомянуто, сделана в ночь на 16 декабря, а полтора месяца спустя (29 января 1837 г.) Пушкин умер. Знал ли его по рукописи еще кто-либо из друзей и знакомых поэта, кроме Н. Муханова, А. И. Тургенева и, вероятно, Карамзиных, неизвестно; никаких известий об этом не сохранилось или они еще не были обнаружены. Едва ли, однако, круг читателей данного стихотворения при жизни поэта мог быть велик. На опубликование его в ближайшем будущем Пушкин надеяться не мог, да это, разумеется, и не входило в его расчеты: он писал его для себя и для «завистливой дали» веков.

Жуковский свидетельствует, что в день смерти Пушкина, «спустя $^3/_4$ часа после кончины, после того как бездыханное тело поэта вынесли в соседнюю горницу», он сам по приказанию царя

[15] Такими же «душевными портретами», т. е. характеристиками психологического склада человека, как сказали бы мы сейчас, были «надписи» Пушкина: «К портрету Каверина» (1817), «К портрету Чаадаева» (1817) и т. д.

«запечатал кабинет своею печатью». Лишь 7 февраля 1837 г. кабинет был распечатан; тогда, по официальному рапорту, «все принадлежавшие поэту бумаги, письма и книги в рукописях собраны, уложены в два сундука и запечатанными перевезены в квартиру д. с. с. Жуковского, где и поставлены в особенной комнате».[16] «В течение 16 дней начальник штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельт при участии Жуковского, игравшего довольно унизительную роль „понятого", производил сначала предварительный разбор и сортировку рукописей, затем их просмотр: это был, в сущности, „посмертный обыск" Пушкина».[17] Едва ли в этот период какие-либо неизданные произведения Пушкина, найденные в его бумагах, могли проникнуть в публику даже через Жуковского: о рукописном наследии поэта до петербургских и московских литераторов доходили тогда самые общие и туманные сведения.[18]

А. А. Краевский сообщал М. П. Погодину в Москву из Петербурга 23 мая 1837 г.: «В бумагах Пушкина найдено множество отдельных стихотворений, конченных и неконченных, отрывков в прозе, выписок для истории Петра. Все это сбережено, переписано, перемечено и хранится вместе с подлинниками у Жуковского. Может быть, все будет издано, — говорю может быть, потому что это зависит от высшего разрешения».[19] Лишь несколько

---

[16] М. А. Цявловский. Судьба рукописного наследия Пушкина. «Вестник Академии наук», 1937, № 2—3, стр. 110. Вошло в его книгу: Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 276.

[17] М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине, стр. 276.

[18] В письме М. П. Погодина к П. А. Вяземскому от 11 марта 1837 г. содержался запрос о ряде произведений Пушкина, которые должны были сохраниться среди его рукописей; в ответ на это, по поручению Вяземского, Погодину отправлен был перечень того, «что до сих пор в бумагах Пушкина отыскано»; названы, впрочем, только крупные произведения и «много мелких стихотворений», не означенных более точно (см.: М. А. Цявловский. Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина. В кн.: М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине, стр. 403—406). И. И. Дмитриев со своей стороны сообщал П. П. Свиньину из Москвы 23 марта 1837 г.: «Катастроф с Пушкиным отдался в моем сердце, и я же обязан был объявлять о том бедному отцу его! ... Добрый Жуковский пишет ко мне, что при разборе им бумаг Пушкина найдены им уже в отделке две прекрасные пьесы в стихах: „Медный конь" и „Каменный гость" (Дон Жуан) ... множество отрывков в стихах и прозе ... Все это будет издано» (И. И. Дмитриев, Сочинения, ред. и прим. А. А. Флоридова, т. II, СПб., 1895, стр. 328).

[19] «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 723. Тем не менее неизданные стихотворения Пушкина из его рукописного наследия, ревниво оберегавшегося «Опекой над детьми и имуществом» покойного поэта, время от времени становились известными литераторам и даже попадали в печать. Так, стихотворение «Признание» в 1837 г. было опубликовано в «Библиотеке для чтения» без позволения опеки, по поводу чего М. Ю. Вьельгорский обращался с письмом к А. А. Краевскому; в следующем году несколько неизвестных ранее стихотворений Пушкина, также без разрешения опеки, напечатал П. А. Плетнев. См.: Н. Лернер. Заметки о Пушкине. «Русская старина», 1913, № 12, стр. 514—516.

произведений было отобрано Жуковским для помещения в ближайших томах «Современника» (правда, среди них оказались такие крупные вещи, как «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен», «Русалка», «Египетские ночи», ряд лирических стихотворений), но «Памятника» среди них не было. Вскоре Жуковский уехал за границу и дальнейшая работа по подготовке рукописей Пушкина к печати остановилась до начала 1840 г. Только в первые месяцы этого года, когда Жуковский возобновил свои работы над пушкинскими рукописями и с помощью друзей приступил к осуществлению издания дополнительных томов к посмертному Собранию сочинений Пушкина, сведения о еще не опубликованных его стихотворениях, в том числе и о «Памятнике», стали заново распространяться среди литераторов;[20] тогда же с него могли быть сняты и списки.

Именно в это время «Памятник» через Жуковского должен был стать известным кругу лиц, причастных к выпуску в свет IX тома Собрания сочинений Пушкина, — П. А. Вяземскому, В. Ф. Одоевскому и др., в том числе Е. А. Баратынскому, который, живя в Петербурге в январе—марте 1840 г., часто бывал у Жуковского и вместе с ним просматривал пушкинские рукописи, готовившиеся к изданию. «...был у Жуковского, — писал Баратынский жене. — Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом, и формою. Все последние пьесы отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиною! Он только что созревал».[21] От Баратынского, как и от других лиц, сведения эти распространялись и дальше.[22] Никто из этих лиц указания на существование рукописи «Памятника» не оставил. Интересно, однако, что одно из ранних свидетельств об этом стихотворении

---

[20] См.: Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. «Труды Я. К. Грота», т. III, СПб., 1901, стр. 154. А. В. Никитенко записал в своем дневнике 26 января 1840 г., что в этот день Жуковский отдал ему для цензурования «сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам. Этих новых сочинений три тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в „Современнике“. Жуковский просит все это просмотреть к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить» (А. В. Никитенко. Дневник в трех томах, т. 1. М.—Л., 1955, стр. 219). См. также данные по истории трех дополнительных томов этого издания и об отношении к нему критики в статье: Вл. Андерсон. Первое посмертное издание сочинений Пушкина. «Русский библиофил», 1911, № 5, стр. 82--86.

[21] Пушкин и его современники, вып. XVI, СПб., 1913, стр. 152.

[22] Т. Н. Грановский сообщал Н. В. Станкевичу в письме из Москвы от 20 февраля 1840 г.: «Вчера же получена новость из Петербурга: скоро выйдут три тома неизданных сочинений Пушкина ... Забавен следующий случай. Баратынский приезжает к Жуковскому и застает его поправляющим стихи Пушкина. Говорит, что в конце нет смысла. Баратынский прочел, и что же — это пьеса сумасшедшего и бессмыслица окончания была в плане поэта» (Грановский и его переписка. М., 1897, стр. 384; речь, очевидно, идет о стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума»).

до его появления в печати принадлежит Белинскому. Я имею в виду широко известное письмо Белинского к В. П. Боткину из Петербурга от 24 февраля—1 марта 1840 г., много раз напечатанное и не раз цитировавшееся исследователями. По странной случайности ни один из них не обратил внимания на то, что Белинский говорит в этом письме о «Памятнике» задолго до его первой публикации:[23] стихотворение напечатано было только четырнадцать месяцев спустя в IX томе Собрания сочинений Пушкина, вышедшем в начале мая следующего 1841 г. (цензурное разрешение датировано 29 апреля 1841 г.).

Вот что писал Белинский в этом письме: «Владиславлев выпросил у опеки для своего альманаха стихотворение Пушкина. Ты знаешь Державина: „Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный“; это одно из самых могучих проявлений его богатырской силы. Пушкин написал то же: я, говорит он в светлую минуту самосознания, я воздвиг себе памятник, который выше Наполеонова столба —

Народная тропа к нему не зарастет.

«Меня будут знать и узкоглазый калмык, и ленивый финн, и черкес; и пока на земле останется имя хотя одного поэта, мое не умрет. О, как действуют на меня подобные самосознания в таких простых, целостных людях, как Пушкин!». И несколькими строками ниже: «Я вижу нравственную идею только в нерукотворных, явленных образах, которые одни есть абсолютная действительность».[24] Очевидно, что Белинский излагал «Памятник» уже с изменениями Жуковского, но неточно, по памяти, не имея перед глазами рукописного списка произведения и воспринимая его так же, как и большинство его первых читателей: как прямое подражание «Памятнику» Державина. Свидетельство Белинского о В. А. Владиславлеве, якобы выпросившем для себя у опеки список стихотворения, хотя и не подтверждается фактически, но все же правдоподобно: в альманахе «Утренняя заря на 1841 год», вышедшем в свет в начале ноября 1840 г. (цензурное разрешение датировано 30 октября), «Памятник» Пушкина не появился, но зато здесь напечатано другое его стихотворение, несомненно полученное из того же фонда пушкинских рукописей, — «Для берегов

---

[23] Не упомянули об этом в своих статьях ни Н. И. Мордовченко (В. Г. Белинский в работе над текстами Пушкина. «Литературный архив», т. 1, М.—Л., 1938, стр. 297—301), ни Д. Д. Благой (Белинский и Пушкин. В кн.: Белинский — историк и теоретик литературы. М., 1949, стр. 235—271), ни комментаторы академического издания Полного собрания сочинений Белинского, где письмо это напечатано с пояснениями (т. XI, М., 1956, стр. 473—474, 685), и др. Даже в образцовой «Летописи жизни и творчества В. Г. Белинского» (М., 1958, стр. 239) при упоминании об этом письме так поясняется соответствующее место: «Белинский восхищен только что опубликованным „Памятником“».

[24] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 473.

отчизны дальней» (под заглавием «Разлука»).[25] Отсюда можно заключить, что в руках издателя альманаха действительно мог быть и список «Памятника» и что в дальнейшем при печатании книги была произведена замена одного стихотворения Пушкина другим, скорее всего из-за цензурных причин.

Существует, наконец, посвященное памяти Пушкина польское стихотворение 1837 г., в котором пытались усмотреть еще одно свидетельство о знакомстве с неопубликованным «Памятником». Мариан Топоровский в своем литературно-библиографическом очерке «Пушкин в Польше», вышедшем в Кракове в 1950 г., обратил внимание на то, что в 1837 г., вскоре после смерти Пушкина, в львовском сборнике «Славянин», изданном Станиславом Яшовским (1803—1842) («Sławianin, zebrany i wydany przez Stanisława Jaszowskiego», t. I, Lwów, 1837, str. 9), сам редактор поместил свой сонет, озаглавленный «Пушкин», в цикле сонетов, посвященных выдающимся литературным деятелям славянских народов. Заключительные стихи этого сонета читаются так (привожу их в дословном прозаическом переводе):

Читает тебя в Петрограде салонный дворянчик,
Читает купец, ведущий караваны в Китай,
Башкир, вооруженный луком, и коренастый татарин.

Читает тебя в печальной хижине своей у подножия скал
Камчадал, одетый в собольи меха,
Наполнивший свой котелок рыбьим жиром
и т. д.[26]

---

[25] К. П. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет. 1837—1937. М., 1938, стр. 25 (№ 91).

[26] Marian Toporowski. Puszkin w Polsze. Zarys bibliograficzno-literacki. Kraków, 1959, str. 156—157 (№ 390). На стр. 143—144 своей книги М. Топоровский указывает на статью «Пушкин», появившуюся в издании «Rozmaitości» — приложении к «Gazetie Lwowskiej» (1824, № 49, 10 декабря, стр. 390—391) — за подписью «S. J.», и догадывается, что автором этого первого очерка о Пушкине на польском языке был тот же С. Яшовский; во введении к своей книге (стр. 15—16) М. Топоровский называет также С. Яшовского (1803—1842) первым критиком, сообщившим о Пушкине польским читателям. В дополнение к этим данным укажем, что С. Яшовский связан был с украинскими и русскими литераторами, группировавшимися вокруг «Украинского вестника», издававшегося в Харькове, например с поэтом Александром Склабовским, как это видно из статьи последнего, помещенной в этом журнале (1825, № 9). Первый перевод пушкинского «Памятника» на польский язык напечатан был в 1887 г., но лишь после того как появился перевод Ю. Тувима (1929). «Памятник» стал одним из известнейших стихотворений Пушкина в Польше (см.: M. Toporowski. Puszkin w Polsze, str. 67, 92). А. В. Склабовский был довольно приметной фигурой на харьковском поэтическом небосклоне 20-х годов. Он являлся председателем студенческого Общества любителей отечественной словесности; ученик И. Е. Срезневского, сначала студент, а потом преподаватель Харьковского университета, Склабовский являлся автором нескольких поэтических сборников, был избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге, был знаком с К. Ф. Рылеевым и О. М. Сомовым. Связи его с польскими поэтами (переводчиком произведе-

Польскому исследователю представляется знаменательным совпадение (dziwna zbieżność) этих строк с основным мотивом третьей строфы пушкинского «Памятника» («Слух обо мне пройдет. . .»), и он готов заключить отсюда, что стихотворение Пушкина в рукописных списках проникло из России за границу еще в 1837 г. Эта догадка совершенно неправдоподобна; тем не менее она получила известное распространение как в Польше, так и у нас. Сонет С. Яшовского «Пушкин» перепечатан полностью в «Книге польской поэзии» Ю. Тувима, обработанной Ю. Гомулицким (1954), а в примечаниях к этому стихотворению вновь говорится о большом сходстве (wielka zbieżność) его с пушкинскими «Пророком» и «Памятником», в доказательство чего тут же приводится отрывок из последнего произведения в переводе Ю. Тувима.[27] С. С. Ланда в своем очерке о Пушкине в печати Польши в 1949—1954 гг. воспроизвел полностью указанный сонет Яшовского в польском оригинале и русском переводе и сопроводил их следующим замечанием: «Приведенный сонет ... как легко заметить, заключает в себе явные и прямые отклики на ряд пушкинских стихотворений. В частности, едва ли может вызвать сомнение связь данного сонета с „Пророком" Пушкина; кроме того, оба трехстишия второй половины сонета кажутся парафразой соответствующих стихов „Памятника"». Правда, С. С. Ланда делает тут же совершенно необходимую оговорку: «Заметим, однако, что напрашивающееся само собой предположение, не был ли известен Яшовскому пушкинский „Памятник", дошедший до него в том или ином списке или пересказе, наталкивается на серьезные затруднения, так как это стихотворение Пушкина при жизни поэта не распространялось, было известно лишь узкому кругу близких к поэту людей и впервые опубликовано было Жуковским только в 1841 году».[28] Чаще, однако, подобные необходимые разъяснения и предупреждения не принимались во внимание и догадки превращались в неопровержимые свидетельства. Так, например, В. В. Мартынов, опираясь на осторожное допущение М. Топоровского, шел дальше польского исследователя, но без всяких на то оснований. «Ясно, — пишет Мартынов, процитировав указанный сонет С. Яшовского, — что подобные строки не могли возникнуть у автора, незнакомого с пушкинским „Памятником"».[29]

ний которых он являлся), вероятно, осуществлялись через харьковскую польскую колонию. См. о нем справку Л. Н. Назаровой: «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 305—306.

[27] Księga Wierszy polskich XIX wieka. Ułożył Julian Tuwim, opracował i wstępam opatrzyl Juliusz W. Gomulicki. Warszawa, 1954, str. 231, 550.

[28] С. С. Ланда. А. С. Пушкин в печати Польской Народной Республики в 1949—1954 гг. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 424—425.

[29] В. В. Мартынов. Пушкин и Мицкевич — поэты-лирики. В кн.: Пушкин на юге. Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. Кишинев, 1958, стр. 201.

В. В. Мартынов несомненно ошибается, как и все его предшественники: в сонете Яшовского трудно увидеть сколько-нибудь убедительное сходство с третьей строфой пушкинского стихотворения. Характеристика широкой известности, посмертной славы поэта, — у Пушкина предвидимой, у Яшовского уже бесспорной, — подтверждаемой в обоих случаях перечислением его разноплеменных читателей, могла возникнуть у русского и польского поэтов совершенно самостоятельно.[30] Предполагать здесь заимствование тем более нет никакой необходимости, что этот мотив принадлежит к числу весьма распространенных в мировой литературе: Пушкин вдохновлен был мотивом Горация в интерпретации Державина; тот же горацианский мотив в бесчисленных репликах и вариациях повторялся многократно в поэзии эпохи Возрождения, в том числе и в польской (например, у Яна Кохановского, о чем еще пойдет речь ниже).

3

Итак, о первоначальной истории «Памятника» мы располагаем немногими достоверными свидетельствами; многое остается в ней темным, неясным, интригующим. Очевидно, современники Пушкина, не исключая его друзей, мало знали это стихотворение, не только до, но и после его публикации, говорили о нем редко, не пытались вдуматься в него, не домогались узнать, как оно возникло, и едва ли в состоянии были вполне оценить его по достоинству.

В критических статьях начала 40-х годов лишь один Белинский упомянул его с воодушевлением, в словах, текстуально совпадающих с теми, которые ранее были высказаны им в письме к В. П. Боткину.[1] В конце этого десятилетия о «Памятнике» вновь

---

[30] Добавим, что приблизительно в то же время другой польский поэт — П. Дальман (Piotr Dahlmann) в напечатанном в 1841 г. в г. Вроцлаве стихотворении «К Пушкину» («Do Puszkina») прославлял могучий гений русского поэта, чье «огненное слово» вдохновляло на борьбу миллионы людей «от Немана до Камчатки» («Od Niemna do Kamszatky»). Этот географический горизонт в стихотворении Дальмана — участника польского восстания 1831 г. — возник столь же самостоятельно, как и у Яшовского, без всякого воздействия пушкинского «Памятника», тем более что, по-видимому, стихотворение «К Пушкину» было написано Дальманом в год гибели русского поэта. См.: Marian T o p o r o w s k i. Puszkin w Polsze, str. 162—163, 280; К. Н. Д е р ж а в и н. Пушкин в славянских литературах. В кн.: Труды первой и второй всесоюзных пушкинских конференций. М.—Л., 1952, стр. 236.

[1] В рецензии на IX—XI тома Сочинений Пушкина («Отечественные записки», 1841, т. XVII, № 8) Белинский писал: «Подобно Державину Пушкин переделал (sic!) „Памятник" Горация в применении к себе: его „Памятник" есть поэтическая апофеоза гордого, благородного самосознания гения» — и тут же привел все стихотворение полностью в редакции Жуков-

напомнил Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Несмотря на зловещий колорит этой книги, бросившей отблеск и на понимание им «Памятника», отзыв Гоголя, наряду с оценкой Белинского, все же остается наиболее интересным из всего, что было сказано об этом произведении в первые годы после того, как оно стало известно читателям по печатному тексту, потому что отклики их обоих внушены были еще живым ощущением личности Пушкина, возможностью объяснить признания поэта не только из стихотворных строк, им написанных, но и из всего того, что они знали о нем как человеке, о положении его в литературных кругах, о его славе, о той атмосфере, которой он дышал и в которой рождалась его поэтическая сила. Гоголь, как мы видели, процитировал четвертую строфу «Памятника» в редакции Жуковского и заключал уже от себя, как очевидец, как близкий свидетель жизни поэта: «Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет! Как весь он оживлялся и вспыхивал, когда дело шло к тому, чтобы облегчить участь какого-нибудь изгнанника или подать руку падшему».[2] Подобное восприятие «Памятника», как автобиографического документа, раскрывающего человеческий, житейский облик поэта, встречалось изредка и позже, со ссылками на подтверждающие свидетельства ближайших его современников. Так, например, Чернышевский писал в 1856 г.: «Все, что мы знаем о Пушкине как о человеке, заставляет любить его; а великие услуги, оказанные им русской литературе, и поэтические достоинства его произведений, по справедливому замечанию одного из литераторов, писавших о жизни Пушкина, заставляют признаться, что он имел полное право сказать о себе и своих творениях:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».[3]

Литератором, «писавшим о жизни Пушкина», на «справедливое замечание» которого сослался здесь Чернышевский, был, конечно, П. В. Анненков, именно цитатой из «Памятника» закончивший свои «Материалы для биографии Пушкина», незадолго перед тем изданные (1855). Но Анненков напоминал читателям только два первых пушкинских стиха,[4] у Чернышевского же это стихотво-

---

ского; упомянут «Памятник» также в первой статье Белинского о Пушкине («Отечественные записки», 1844, т. XXXII, № 2). См.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 268, 811; т. VII, 1955, стр. 355.

[2] Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 260.

[3] [Н. Г. Чернышевский]. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения. СПб., 1856, стр. 72 и «Приложение», стр. 104.

[4] П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. На последней странице этой книги (стр. 432) говорится о Пушкине: «Он мог воскликнуть в справедливой гордости:

рение цитировано полностью, с выпуском лишь третьей строфы; вслед за ним помещено было «Приложение» («несколько мелких стихотворений и поэм») — маленькая антология избранных текстов Пушкина, в которой еще раз воспроизведен был «Памятник», уже без всяких сокращений, но, разумеется, в общепринятой тогда редакции Жуковского. Эта небольшая книга Чернышевского имела, как видно из предисловия издателя, прежде всего популяризаторские цели (на авантитуле издания 1856 г. стоял даже заголовок «Чтение для юношества», впоследствии опускавшийся). Очевидно, она удовлетворила запросу, так как издавалась трижды (все три раза без имени автора) — в 1856, 1865 и 1885 гг. — без изменений.[5]

Вскоре и Н. А. Добролюбов, по рекомендации того же Чернышевского, написал (в 1856 г.) для «Русского иллюстрированного альманаха» А. Т. Крылова биографическую статью «А. С. Пушкин» (вышла в свет с запозданием, лишь в начале 1858 г.). Пользуясь теми же «Материалами» П. В. Анненкова, Добролюбов писал здесь: «Несмотря на свои понятия об искусстве как цели для себя, Пушкин умел, однако, понимать и свои обязанности в отношении к обществу. В своем „Памятнике“ он ставит себе в заслугу не художественность, а то,

Что чувства добрые он лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов он был полезен
И милость к падшим призывал».[6]

Переделывая приведенную цитату с тем, чтобы она воспринималась как утверждение от третьего, а не от первого лица («он»

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастет народная тропа».

В третьем томе своего издания Сочинений Пушкина (которому предпосланы были «Материалы») Анненков напечатал и весь «Памятник» (стр. 71), но в общепринятой тогда редакции и без всяких пояснений.

[5] Эти издания имеют незначительные различия, не касающиеся «Памятника». По первому изданию (1856 г.) данная работа воспроизведена в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского (т. III, М., 1947, стр. 310—339); по второму (1865 г. на обложке, 1864 г. на титульном листе) — в Собрании сочинений Чернышевского (т. X, ч. 2, СПб., 1906, стр. 198—226; оба раза без «Приложения»); третье издание (СПб., 1885, 89 стр.) ничем не отличается от первых двух, кроме формата; в конце текста (стр. 47) и в «Приложении» к нему (стр. 66) «Памятник» снова напечатан в редакции Жуковского. Сделанное Чернышевским в четвертой статье его «Очерков гоголевского периода русской литературы» сопоставление «Памятника» Пушкина с одами Горация и Державина (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 137) А. А. Тахо-Годи сопровождает следующим пояснением, с которым нельзя не согласиться: «Если бы Чернышевский знал подлинный текст автора, значимость „Памятника“ Пушкина выросла бы в его глазах еще больше» (А. А. Тахо-Годи. Проблемы античной культуры у Чернышевского. «Ученые записки Московского областного педагогического института», 1955, т. XXXIV, вып. 2, стр. 224).

[6] Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, т. 1, М., 1950, стр. 110, 690—691. Статья была опубликована под псевдонимом «Н. Лайбов».

вместо «я»), Добролюбов естественно не знал — как и все читатели до начала 80-х годов, — что он дает ее в редакции Жуковского; однако Добролюбов не почувствовал еще, что от своего имени Пушкин никогда не мог говорить о «живой прелести» собственных стихов, тем более в ряду самых ответственных самопризнаний, и что именно эта словесная формулировка инородна и чужда всему стихотворению в целом как по своим этическим, так и по стилистическим признакам. Между тем десятилетие спустя (1865) именно эта строка Жуковского дала Д. И. Писареву основание провозгласить Пушкина всего лишь отжившим свой век «искусным версификатором», «самовольно надевшим себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права».[7] Характерно, что в своих ожесточенных и злобных нападках на Пушкина-лирика, и в частности на его «Памятник», хотя и сделанных из лучших побуждений, но оказавшихся все же «гигантской неправдой о творчестве великого поэта»,[8] Д. И. Писарев выворачивал наизнанку прежде всего именно не принадлежащие Пушкину строки этого стихотворения, издеваясь, например, над тем, что поэт внезапно обнаруживает «кротость, смирение, равнодушие к той самой славе, в которой он превзошел Наполеона»,[9] или над тем, что Пушкин (!) «даже произносит слово полезен и соглашается, таким образом, вступить в состязание с печными горшками».

В том же 1855 г., когда появились «Материалы» П. В. Анненкова, Некрасов поместил в последней книжке «Современника», непосредственно вслед за написанными им самим (но опубликованными без подписи) «Заметками о журналах за ноябрь 1855 г.», небольшое произведение А. Н. Майкова. Оно названо здесь «Отрывок из поэмы: Земная комедия» и имеет подзаголовок

---

[7] Статья «Лирика Пушкина», вторая из статей, объединенных общим заглавием «Пушкин и Белинский», была опубликована Писаревым в «Русском слове» (1865, кн. 6). В журнальном первопечатном тексте все цитаты из стихотворений Пушкина, в том числе из «Памятника», намеренно напечатаны в строку, «презренной прозой», что и оговорено автором, безусловно стремившимся подчеркнуть свое презрительное отношение к этим, по его мнению, «непоэтическим» творениям. См.: Д. И. Писарев, Сочинения, т. 3, М., 1956, стр. 413.

[8] Г. Бровман. Великий поэт и его критики. «Знамя», 1937, № 2, стр. 255.

[9] Характерно, что стих о «Наполеоновом столпе» не только скрыл Писареву важнейший для пушкинского замысла «Александрийский столп», т. е. памятник Александру I, но ослабил даже самое представление о «столпе» — это была несущественная в данном случае для него подробность, в силу чего он и сопроводил этот стих соответственной ремаркой (см. выше, стр. 14). Между тем Д. И. Писарев одно из самых ранних своих стихотворений посвятил другому петербургскому памятнику — Николаю I, открытому в 1859 г. См.: Б. Козьмин. Стихотворение Д. И. Писарева на открытие памятника Николаю I. «Красный архив», 1928, т. III (XXVIII), стр. 228—231.

«Памяти Пушкина».[10] Это — фрагмент большого замысла, который не был осуществлен полностью по цензурным причинам. Отрывки этой поэмы были известны современникам по рукописям и производили на них сильное впечатление.[11] Напечатанный Некрасовым «Отрывок» интересен для нас тем, что мы находим в его тексте скрытые цитаты из пушкинского «Памятника» и своего рода воплощение в «дантовских» образах отдельных строк пушкинского стихотворения — о хвале и клевете, о «чувствах добрых», которые поэт пробуждал своей лирой, о праведном и неправедном суде потомства. Слова поэта о том, что он будет «любезен народу», развернуты Майковым в целую картину. Майков представляет себе благодарный народ, свершающий «святую тризну» «над прахом гения», у его свежего надгробного памятника:

Кто холм цветами украшал,
Кто звучные стихи усопшего читал,
Где радовался он и плакал за отчизну,
И было сладко всем. Одним в его стихах
Все новая краса и сила открывалась;
В тех — к родине любовь сильнее разгоралась,
И всякий повторял с слезами на глазах:
«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах».

Внезапно в толпе раздаются вопли бешенства и злобы какого-то неизвестного старика:

Но вдруг, среди толпы, я крик ужасный внемлю.
То на земь кинулся как жердь сухой старик.
Он корчился, кусал и рыл ногтями землю,
И пену ярости точил его язык.
. . . .
Его никто не знал. Но старшие в народе
Припомнили, что то был старый клеветник,
Из тех, чья ненависть и немощная злоба
Шли следом за певцом, не смолкли и у гроба,
Дерзая самый суд потомства презирать.

Народ, схватив клеветника, готов был расправиться с ним. Но — в полном соответствии с дантовской «Божественной комедией», подражанием которой является поэма Майкова, — здесь есть и свой Вергилий:

---

[10] «Современник», 1855, № 12, отд. V (Смесь), стр. 284.

[11] Поэма «Земная комедия», куда входил отрывок «Памяти Пушкина», была известна под названием «Подражание Данту»; в более полном виде эта поэма читалась в литературных кружках Петербурга. О чтении ее у Некрасова, «где собралось человек пятнадцать литераторов», а потом и у Майковых И. А. Гончаров писал Е. В. Толстой 20 и 25 октября 1855 г. и, в частности, утверждал: «Жаль, что напечатать этого нельзя, но по рукам это стихотворение разойдется быстро» («Голос минувшего», 1913, № 11, стр. 228, 232).

Но вождь мой удержал. «Ваш гнев певца обидит», —
Сказал: «Стекайтеся, как прежде, совершать
Поэту память здесь и гроб его венчать,
А сей несчастный — пусть живет и видит».

Заканчивая свои «Заметки о журналах», Некрасов сделал к ним следующее редакционное примечание: «Только что заключили мы эти заметки, а с ними и настоящую книжку „Современника", как получили от Ап. Ник. Майкова следующее стихотворение, которое и спешим представить нашим читателям, извиняясь перед поэтом, что помещаем стихотворение здесь, так как первый отдел книги уже заключен».[12] Однако это оправдание, вероятно, имело тактический характер и сделано было в большей степени для отвода подозрений цензуры. Впервые публикуя с именем Некрасова его «Заметки о журналах», М. Максимович высказал предположение, что помещение «Отрывка» после «Заметок» было вызвано «соображениями злободневности», так как в «Заметках» говорилось о нападках на Пушкина Ксенофонта Полевого, а в «Отрывке» нетрудно узнать этого старого журналиста в образе клеветника.[13] Действительно, указанные «Заметки» могут служить реальным комментарием к «Отрывку», а стихотворение Майкова — яркой к ним иллюстрацией в «манере Данта», по словам самого Некрасова.[14]

К. А. Полевой, брат Н. А. Полевого, помогавший ему во всех его литературных и издательских предприятиях, был давним, хотя сначала и тайным, недоброжелателем Пушкина. Основа этой вражды была чисто личная — обида на то, что, по его собственным словам, «боярин Пушкин» «видел ум и любезность в полумертвом, ничтожном вельможе и не хотел видеть их в моем брате»; брат же этот, Николай Алексеевич, будто бы испытывал «досаду, а иногда и неудержимое негодование, когда он видел, что Пушкин действует недостойно своего великого призвания».[15] К. А. Полевой свои нападки на Пушкина начал еще в конце 20-х годов (см. его статью «О сочинениях Пушкина»: «Московский телеграф», 1829,

---

[12] «Современник», 1855, № 12, отд. V, стр. 283.

[13] Заметки о журналах. Несобранный литературно-критический цикл Некрасова. «Литературное наследство», т. 49—50, М., 1946, стр. 268. Самые «Заметки... за ноябрь 1855 г.» со включенным в них «Отрывком» Майкова воспроизведены здесь на стр. 258—267; они вошли также в Полное собрание сочинений Некрасова (т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 368—369), а в примечании к ним вновь подчеркнута тесная связь «Отрывка» с «Заметками» (стр. 762).

[14] «Литературное наследство», т. 49—50, М., 1946, стр. 317, 341.

[15] Н. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Под ред. Вл. Орлова. Л., 1934, стр. 407; ср. также стр. 459, 461, 485, 494; К. А. Полевой. Записки. СПб., 1888, стр. 312, 317—318, 320. Добавим, что и Некрасову и Майкову (они были однолетки — оба родились в 1821 г.) Ксенофонт Полевой действительно должен был казаться стариком, так как он был почти ровесником Пушкина (родился в 1801 г.) и, следовательно, был старше их обоих на целое двадцатилетие.

ч. XXVII, № 10). В феврале 1836 г. К. А. Полевой предложил Пушкину стать его комиссионером в Москве по продаже «Современника», на что Пушкин согласился; по этому поводу они обменялись письмами. В 50-е годы К. А. Полевой сделался откровенно реакционным сотрудником булгаринских изданий. В 1855 г. он поместил в № 255 «Северной пчелы» проникнутую ядом и злобными измышлениями статью о «Материалах для биографии Пушкина» П. В. Анненкова, которые он и в своих мемуарах назвал «хвалебной компиляцией», а также о новом издании сочинений Пушкина, выпущенном Анненковым. Как видим, немногословная характеристика старого клеветника в «Отрывке» А. Н. Майкова вполне точно отображает всю историю отношения К. А. Полевого к Пушкину. Против наветов К. Полевого на Пушкина в «Северной пчеле» и выступил Некрасов в своих «Заметках».

«Автор статейки, г. К. П., недоволен трудом г. Анненкова и как издателя, и как биографа, — писал Некрасов. — По словам г. К. П., г. Анненков „как будто задал себе задачу не договаривать ничего, представлять многое в превратном виде и хвалить Пушкина точно как члена Французской академии" и прочее... Хвалить! а по мнению г-на К. П. следовало делать совершенно противное!». Некрасов приводит довольно обширные выписки из статьи К. Полевого в «Северной пчеле». Конечно, утверждал К. Полевой, теперь еще нельзя говорить о Пушкине всего, «но через осьмнадцать лет после его кончины, при утвердившейся незыблемо славе его как поэта, можно и должно определить: какого рода был он поэт?». По его словам, необходимо представить «характер и жизнь Пушкина, и нам объяснится все в его сочинениях: и достоинства их, и недостатки, и легкие успехи поэта в первое время его деятельности, и озлобление, которое возбудил он против себя в современниках своею изменчивостью, своим тщеславием, которому готов был жертвовать всем». «Так вот чего не договорил г. Анненков! — с возмущением восклицает Некрасов. — Пушкин отличался изменчивостью!!! Пушкин готов был всем жертвовать тщеславию!!! Но где же факты? Где доказательства? Ни фактов, ни доказательств нет, да и быть не может». Далее Некрасов приводит и другие сходные цитаты из статейки К. Полевого, выделяя курсивом особенно возмутившие его слова, например о том, что хотя в последние годы своей жизни Пушкин чувствовал, «как ничтожно растрачивались его поэтические силы, хотел расширить круг своей деятельности, делал попытки в разных родах, но слабость характера мешала и вредила ему во всем: и в жизни, и в сочинениях, заставляя часто изменять направление». «Все это грустно читать, — замечает Некрасов. — Опровержения тут не нужны, но странно — неужели г. К. П. думает, что кто-нибудь поверит ему на слово в таком деле? От пушкинского периода, прекраснейшего периода нашей литературы, уцелело еще несколько людей, не без пользы и славы проходивших одно с ним

поприще, — людей, дорогих каждому русскому благородством характера и всей своей деятельности и за то облеченных доверием общества, — пусть бы еще кто-нибудь из таких людей сказал нам что-нибудь подобное... и тогда поверить этому было бы невозможно... Но дело в том, что никто из таких людей ничего подобного не скажет, — иначе они не были бы тем, что они есть, не были бы достойными Пушкина современниками, любившими и любящими в нем и друга, и человека, и поэта — гордость и славу своего отечества».

Приведя еще несколько выдержек из статейки К. Полевого, которые должны были «еще более удивить читателя», Некрасов заканчивал свой разбор не столько суровой отповедью клеветнику, сколько славословием Пушкину, незыблемо утвердившемуся бессмертию поэта. Некрасов писал: «Опровержения и тут излишни. Все, что усиливается заподозрить в Пушкине г. К. П., — его глубокая любовь к искусству, серьезная и страстная преданность своему призванию, добросовестное, неутомимое и, так сказать, стыдливое трудолюбие, о котором узнали только спустя много лет после его смерти, его жадное, постоянно им управлявшее стремление к просвещению своей родины, его простодушное преклонение перед всем великим, истинным и славным и возвышенная снисходительность к слабым и падшим, наконец, весь его мужественный, честный, добрый и ясный характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины, — все это вечными, неизгладимыми чертами вписал сам Пушкин в бессмертную книгу своих творений... Мы первые знаем, что Пушкин не нуждается в защите, и пишем эти строки только для успокоения нашего личного негодования».[16]

Характерно, что в этой умной, открытой и проникновенной защите оклеветанного поэта Некрасов намеренно или невольно цитировал строку из той же самой строфы «Памятника» (отмечая «возвышенную снисходительность» поэта «к слабым и падшим»), начало которой («чувства добрые») вспоминал и А. Н. Майков в своем «Отрывке». Все это красноречивое утверждение Некрасовым истинных заслуг Пушкина в истории русского просвещения и культуры было в то же время и признанием «Памятника» как бесспорной и справедливой самооценки поэта, обращенной к будущему.[17]

Некрасов не только хорошо помнил пушкинский «Памятник», пользуясь и позже его стихами для пародий в «Свистке» «Совре-

---

[16] «Современник», 1855, № 12, стр. 278—280; Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 362—363.

[17] «Отрывок» А. Н. Майкова и комментировавшие его «Заметки» Некрасова помнились долго. Когда в 1859 г. К. А. Полевой напечатал в той же «Северной пчеле» новую клеветническую статью о сочинениях Белинского, которые, по его мнению, «не имеют никакого значения», это вызвало целую бурю в демократическом лагере русских литераторов. В. Курочкин напечатал в «Искре» (1859, № 42, стр. 418) сатирическое стихотворение «Бедовый

менника»,[18] но и всесторонне и по-новому развивал в своей собственной поэзии пушкинскую тему о поэте, «любезном народу».[19] В. В. Гиппиус с полным основанием обнаружил «идейно-художественное единство следования за Пушкиным и полемики с Пушкиным» «в предсмертной лирике Некрасова, в ее мотивах посмертной судьбы поэта, в мотиве „Памятника"» и сделал по этому поводу ряд интересных наблюдений, которые стоит здесь привести. «Некрасов, — говорит В. В. Гиппиус, — не пишет „Памятника" в прямом смысле слова, но он развивает те именно пушкинские мотивы, в которых утверждалась связь поэта с народом. Строка:

К нему не зарастет народная тропа —

уже у Пушкина звучала как новый мотив, незнакомый предшественникам по теме. Но взгляд свой на народ Пушкин бросает с высоты такого исторического обобщения, в котором социально-конкретные черты народа неразличимы. Народ для Пушкина — русский народ вообще или, как он уточняет дальше, все народы России; народ — понятие прежде всего историческое. Некрасов возвращается к пушкинскому образу „народной тропы", но клас-

---

критик»; в нем дается новый портрет «клеветника», в который, однако, вставлены слова из «Отрывка» Майкова:

Уж он ослаб рассудком бедным,
Уж он старик, сухой как жердь,
Небесную коптящий твердь

(В. Курочкин, Стихотворения, статьи, фельетоны, ред. И. Ямпольского, М., 1957, стр. 36, 621). Отповедь К. Полевому дали тогда и С. С. Дудышкин в статье «Шипящие старички» («Отечественные записки», 1859, № 11), и П. Вейнберг в статье «Литераторы с замыслами» («Библиотека для чтения», 1859, № 11). Косвенно К. Полевой вновь задевал и Пушкина, которому он, впрочем, в том же году посвятил и новую враждебную статью («Северная пчела», 1859, № 169). См.: Н. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, стр. 494.

[18] См. сатирическое стихотворение Некрасова «Первый шаг в Европу» в «Свистке» № 5 «Современника» за 1860 г. и его же сатирическое «Письмо из провинции» в «Свистке» № 6 «Современника» за этот же год, озаглавленное «Г-н Геннади, исправляющий Пушкина» и направленное против неискусных попыток дать транскрипции черновых неизданных текстов Пушкина. Прикрывшись маской наивного провинциала, Некрасов писал: «...не надо забывать, что Пушкин писал не для таких читателей, как я, которые хотят наслаждаться и потому находят неприятными разные помарки в книге. Вероятно, в этом смысле он говорил в своем известном стихотворении, что не умрет „весь". Г. Геннади, становясь теперь в уровень с требованиями своей глубокомысленной науки, хочет, чтобы не умерло не только ни одно слово, но даже ни одно чернильное пятно, которое он встретит в рукописях великого поэта» (см. публикацию «Некрасов — участник „Свистка"»: «Литературное наследство», т. 49—50, М., 1946, стр. 318, 330).

[19] В. Евгеньев-Максимов. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. II. М.—Л., 1950, стр. 283. К сожалению, в этой книге утверждается, что Некрасов «не мог не знать» «Памятник» Пушкина со стихом «Что в мой жестокой век восславил я свободу».

сическая традиция „памятников", завершенная Пушкиным, в его поэзии прервана и возобновлена быть не может. „Поэт" некрасовской системы не двоится на два лика — на лик живого человека, страдающего всеми противоречиями современности и соотносимости с „детьми ничтожными мира", с одной стороны, и монументальный лик гения-героя — с другой. Некрасов знает единый, цельный образ человека-поэта». Прав В. В. Гиппиус, когда он утверждает, что в этом смысле Некрасов не только следовал Пушкину, но и вступал с ним в противоречие: «В основах мировоззрения Пушкин и Некрасов не расходились: для них обоих бытие человека кончается его могилой. Но раздвоение образа поэта, возможное для Пушкина, все же опиралось на такие элементы его мировоззрения, которых не было у Некрасова: эстетические ценности Пушкин мог отличать от жизненной эмпирики. Такое отделение невозможно для Некрасова, невозможно и раздвоение образа человека-поэта, невозможно тем самым и соприкосновение с классической традицией „памятников" — здесь рубеж, отделяющий Некрасова от Пушкина. Некрасов в своей поэтической системе не знает и не может не знать другого соответствия теме пушкинского „Памятника", кроме темы народной памяти над реальной могилой человека-поэта; при этом будущая могила может быть и могилой одного из единомышленников, с которыми поэт идейно связан:

Вам же не праздно, друзья благородные,
Жить и в такую могилу сойти,
Чтобы широкие лапти народные
К ней протоптали пути.

(«Друзьям»)».[21]

---

[20] В. В. Гиппиус. Некрасов в истории русской поэзии XIX века. «Литературное наследство», т. 49—50, М., 1946, стр. 17—18; перепечатано в кн.: В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М.—Л., 1966, стр. 244—245. Для полноты обзора отметим еще, что четвертую строфу стихотворения («И долго буду тем народу я любезен») в редакции Жуковского процитировала Н. Соханская (Кохановская) в своей известной статье «Степной цветок на могилу Пушкина» («Русская беседа», 1859, т. V, Критика, стр. 58—59). Говоря о том, «чем мы обязаны Пушкину», и исчисляя его заслуги перед русским обществом, писательница давала, однако, весьма своеобразное истолкование указанной строфы, написанной «умиленным загробным голосом» поэта; последний стих этой строфы, продолжает писательница, как будто «дышет дыханьем святыни»: «Это голос высшей, благодатной природы человека, который самым тем, что он уже живет меж ними, исполняет закон всеобъемлющей любви и низводит милость к ним, падшим, —

И милость к падшим призывал».

Впрочем, последующие рассуждения Кохановской о том, что до Пушкина «ни в обществе, ни в самом поэте не было ни малейшей тени того сознания, что слова поэта есть его великое дело», потому что не было понятия о служении обществу «вне государственной службы» (стр. 60—61), заслуживали полного внимания.

В этих стихах трудно уже уследить генетическую связь с пушкинским образом «народной тропы»; исчезает в поэзии самое представление о «Памятнике», живое еще в 50-е годы, в его реальном и переносном смысле — как добрая память о деяниях человека; это представление становится теперь уже чуждым поэтике.

По мере того как ощущение живого Пушкина постепенно утрачивалось, тускнел и смысл его автопризнаний, превращавшихся в поэтические декларации и формулы, не наполненные реальным житейским содержанием. Это и открывало возможность читателям и критикам последующих поколений толковать «Памятник» произвольно, по-своему, в меру их собственных сил, в соответствии с их собственными идейными задачами и эстетическими критериями.

До конца XIX в. в критических работах о Пушкине «Памятник» занимал весьма скромное место. О нем говорили в последнюю очередь или не говорили совсем: посвященные ему скупые, маловразумительные, немногочисленные строки выстраиваются в однообразный и монотонный хронологический ряд. Причину такой явной незаинтересованности стихотворением пытались усмотреть в том, что оно обращалось среди читателей в приглаженном, обедненном виде, который придал ему Жуковский, изъяв из него самые ответственные и смелые строки. Данное наблюдение справедливо только отчасти, потому что и тогда, когда неизвестные строки были напечатаны, это не очень и во всяком случае не сразу усилило внимание к «Памятнику».

Возможно, что первое известие о рукописи стихотворения, приведенное в речи П. И. Бартенева по случаю открытия опекушинского памятника Пушкину в Москве, затерялось в «Русском архиве» 1880 г.[21] Опубликование в следующем 1881 г. тем же П. И. Бартеневым подлинной рукописи с приложенным к пояснительной статье хорошим факсимиле автографа, где явственно читались некоторые ответственные, но отброшенные строки, также прошло малозамеченным, несмотря на то что сам Бартенев, правда очень осторожно, пытался обратить внимание на наиболее интересные разночтения. Так, например, из факсимиле явствовало, что в стихе 15-м ранее стояло: «Что вслед Радищеву восславил я свободу»; хотя колебания поэта в выборе этих строк были тогда же отмечены в печати, но их сочли малосущественными и прошли мимо. В собраниях сочинений Пушкина как этот, так и другие варианты стали отмечать в редких случаях.[22] Однако историко-ли-

---

[21] См. «Приложение I» к настоящей книге.

[22] Издатель сочинений Пушкина П. О. Морозов обратился с «Письмом в редакцию» газеты «Страна» (1881, № 4, 8 января) с просьбой разъяснить ему, откуда произошли столь значительные разночтения в четвертой строфе «Памятника» в двух публикациях П. И. Бартенева — 1880 и 1881 гг. По одной из них эта строфа читалась в такой версии, сообщенной им «по рукописи»:

> И долго буду тем любезен я народу,
> Что чувства добрые я лирой пробуждал,

тературное истолкование изменений, произведенных в рукописном тексте «Памятника» самим поэтом, в ту пору еще не начиналось. Свою роль сыграли здесь и цензурные запреты, и общий, крайне низкий уровень знаний о Пушкине, и отсутствие подготовительных текстологических работ, опытом которых можно было бы воспользоваться при конкретном анализе стихотворения. Отдельные строфы «Памятника» произвольно ставились в причинную связь с любыми другими стихотворениями Пушкина на темы о призвании поэта и поэзии, без всякого учета их хронологической последовательности («Поэт», «Эхо», «Пророк» и т. д.), или с его прозаическими отрывками разных лет.[23]

Примечательна удивительная неосведомленность и полное непонимание «Памятника» даже у признанных пушкиноведов тех лет, каким являлся, например, профессор Петербургского университета А. И. Незеленов. Печатая книги и статьи о Пушкине многие годы и считаясь одним из авторитетных знатоков творчества великого поэта, Незеленов не удосужился отдать себе отчет в истинном смысле «Памятника», так как он всегда ссылался на это стихотворение в редакции Жуковского, ничего не знал о вариантах рукописи и делал отсюда весьма рискованные выводы. Так, например, еще в речи, произнесенной Незеленовым 6 июня 1880 г. в Петербурге, он, изложив «содержание поэзии Пушкина», спрашивал, обращаясь к слушателям: «В чем же ее заслуга?», и отвечал цитатой из «Памятника», особо выделяя в ней непушкинскую строчку «Что прелестью живой стихов я был полезен» и извлекая из нее такой неправомерный вывод, якобы основанный на собственном представлении поэта: «Живая прелесть, живая красота творчества — вот главная характеристическая черта поэзии

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

В другой раз, и тоже «по подлинной рукописи», Бартенев привел иную версию этой строфы:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милосердие воспел.

«Ввиду этого разночтения, — замечал П. О. Морозов в своем «Письме», — было бы чрезвычайно желательно, чтобы почтенный издатель „Русского архива“ удостоверил, какую же из вышеприведенных версий следует считать за подлинную. Произведения Пушкина так часто и так безбожно искажались, урезывались и переделывались, что пора бы, кажется, хоть в этом отношении честь знать». Тем не менее даже шесть лет спустя в Сочинениях Пушкина, редактированных тем же П. О. Морозовым (в изд. Литературного фонда), тот же самый вопрос о правильном тексте этой строфы получил слишком краткое и явно неудовлетворительное решение.

[23] См., например: Виктор Острогорский. Очерки пушкинской Руси. СПб., 1880, стр. 49—50.

Пушкина». Несколько лет спустя свою «Речь о Пушкине», произнесенную в Петербургском университете 29 января 1887 г., А. И. Незеленов заключал следующими словами: «Ничем, конечно, лучше не можем мы почтить его память, как изучая, с уважением и любовью, его великие, его бессмертные создания, создания, которые оправдали его вещие слова о себе»; следует та же четвертая строфа «Памятника» с искажениями Жуковского. Эту же цитату — и в той же самой редакции — находим мы еще в статье Незеленова, предпосланной к книге «Избранные сочинения Пушкина для народного чтения» (СПб., 1888). Самое удивительное, однако, то, что все три приведенных выше случая искажения Незеленовым цитаты из «Памятника» остались им незамеченными, так как указанные речи и предисловие перепечатаны им в отдельной книге в 1892 г.[24]

В ту пору, впрочем, по-прежнему опорной строфой всего стихотворения в целом считалась последняя, пятая строфа («Веленью божию, о муза, будь послушна...»), и ее традиционное истолкование давало не один повод к самым примитивным и ошибочным представлениям о мировоззрении Пушкина, о «Памятнике», как о поэтическом завещании, оставленном им потомкам. Характерно, что еще на рубеже веков могли появляться такие статьи, в которых «Памятник» объявлялся «случайным», нехарактерным для Пушкина стихотворением, написанным под влиянием «минутной злобы» на цензуру (!), в пылу полемики поэта как журналиста.[25]

---

[24] А. И. Незеленов. Шесть статей о Пушкине. СПб., 1892, стр. 7, 29, 118. В своей речи 1880 г., напечатанной в этом сборнике, Незеленов давал весьма наивное истолкование 16-му стиху «Памятника» («И милость к падшим призывал»), свидетельствующее о довольно упрощенном понимании им пушкинского текста. Он писал: «Как бы низко человек ни упал, но в душе его почти всегда сохраняется что-нибудь светлое, хоть тень добра. И вот Пушкин показывает нам эти следы нравственной красоты в падших людях и пробуждает в нашей душе доброе чувство сострадания и скорби. В свирепой душе Пугачева (в повести «Капитанская дочка») он сумел подметить человеческое чувство благодарности, гуманный порыв великодушия, негодование, что смеют обижать сироту. „Скупой рыцарь“, кажется, утратил все человеческое, даже любовь и уважение к себе самому, а между тем поэт видит в нем, как, неожиданно пробужденное, оно потрясает всю душу скупца, — и вместо ненависти и презрения мы чувствуем сострадание к падшему брату. Вот что значит стих: — И милость к падшим призывал» (стр. 10). Об А. И. Незеленове как об исследователе пушкинского творчества см. в некрологе его, написанном А. Бороздиным («Журнал Министерства народного просвещения», 1896, май, Совр. летопись, стр. 7—8).

[25] Такова была, например, статья П. Мизинова «Пушкин — сын века», первоначально прочтенная в качестве публичной лекции в Москве в 1899 г. и затем вошедшая в книгу автора «История и поэзия. Историко-литературные этюды» (М., 1900). По его мнению, «знаменитые слова „Памятника“» были написаны в одну из «минут вспышки»: «Пушкин уже был тогда журналистом; у него часто бывали пререкания с цензурой; часто ему приходилось получать урезанные статьи сотрудников ... И у поэта закипала злоба; „русские писатели, — говорил он в такие минуты, — никогда не были так притеснены,

Даже юбилейный пушкинский 1899 год не стал вехой в интерпретации «Памятника».[26] Правда, в этом году появилась извест-

---

как нынче, даже в последнее пятилетие Александра I". Эта минутная злоба и отпечаталась в приведенных строках „Памятника". Пушкину нужно было сорвать злобу на цензуру; вспомнилась ему глава Радищева о цензуре, вспомнилось, что и он, хотя в умеренном тоне (!), требовал свободы печати (в послании к цензору 1824 г.), вспомнились его друзья-декабристы, — и в результате вылилась надпись на „Памятнике". Это не оценка поэтом главной его литературной деятельности ... не итог, подведенный им самому себе, своему любимому делу. Это только страничка из истории русской цензуры в николаевское царствование (!); ею не уничтожается (?) все то, о чем скорбела и болела душа поэта в пору его литературной зрелости» (стр. 526). П. Мизинов даже пишет, демонстрируя свою полную неосведомленность в истории создания этого стихотворения и в понимании мировоззрения Пушкина вообще: «Если бы Пушкин писал „Памятник" в спокойную минуту (?), то вместо свободы и Радищева в знаменитой строфе стихотворения был бы или „Борис Годунов", или „Полтава", или другие какие-нибудь соответствующие слова...» (стр. 526). Несколько слов удивления этой статье П. Мизинова посвятил П. Н. Сакулин в своей работе о «Памятнике» (в кн.: Пушкин. Сборник первый. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 36, прим.). Впоследствии отповедь Мизинову дал А. М. Куканов в статье «Проблема: Пушкин и Радищев в дореволюционном и советском пушкиноведении» («Ученые записки Мордовского гос. университета», № 21, Саранск, 1962, стр. 47—48); однако статья Куканова написана более в интересах изучающих Радищева, чем Пушкина, не охватывает полностью пушкиноведческие работы и не всегда справедлива в отношении тех исследователей, которых он цитирует.

[26] Следует отметить, что в юбилейные пушкинские дни 1899 г., в открывшейся тогда перспективе истекшего столетия, «Памятник» вспоминался значительно чаще, чем раньше, может быть потому, что даже официальными циркулярами по Министерству народного просвещения признавалось желательным цитировать это стихотворение на актах и вечерах в учебных заведениях (конечно, с теми же искажениями, с какими «Памятник» все еще печатался в учебных пособиях). См. статью «Народ и поэт» в кн.: Б. С. Мейлах. Вопросы литературы и эстетики. Сб. статей. Л., 1958, стр. 347. Во всяком случае о «Памятнике» неоднократно шла речь в книгах и статьях о Пушкине, в посвященных ему бесцветных стихах третьестепенных стихотворцев. См.: В. В. Сиповский. Пушкинская юбилейная литература. (1899—1900 гг.). (Критико-библиографический обзор). СПб., 1901, стр. 255—256; В. В. Каллаш. Puschkiniana. В кн.: Материалы и исследования об А. С. Пушкине, вып. II. Киев, 1903, стр. 167—169, 180, 193, 308 и др. В том же 1899 г. «Памятник» неоднократно положен был и на музыку (правда, доморощенными композиторами-дилетантами), и для одного голоса, и для хора — в качестве «Юбилейной песни А. С. Пушкину», с изменением текста (обращение к поэту от лица поющих: «Ты памятник себе воздвиг...»); нетрудно догадаться, почему эти официальные песнопения не оставили о себе никаких следов (С. К. Булич. Пушкин и русская музыка. СПб., 1900, стр. 54, 85—86). О толкованиях, которые в это время «Памятник» получал в средних школах, дает представление статья: К. В. Ельницкий. Объяснение стихотворений А. С. Пушкина, в которых выражен взгляд его на роль поэта и значение поэзии. «Русский филологический вестник», 1899, № 3—4, Педагогический отдел, стр. 71—73. Разумеется, в большинстве перепечаток этого года в учебных и так называемых общедоступных изданиях «Памятник» все еще давался в редакции Жуковского. См., например, «Юбилейный сборник историко-литературных статей о Пушкине» (изд. Н. Я. Романова, СПб., 1899, стр. 78). Эту прискорбную ошибку своевременно отметил П. Н. Сакулин в статье «Популяризация Пушкина в юбилейных изданиях 1899 г.» («Вестник воспитания», 1900, № 2, отд. II, стр. 15).

ная, весьма содержательная и в то же время спорная статья Владимира Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», но «Памятника» автор коснулся в ней лишь мимоходом, в итогах своего этюда, отведя гораздо больше места разбору стихотворений Пушкина начала 30-х годов, в которых, по его словам, отразились взаимоотношения между поэтом, «большим народом» и «маленькой чернью». В этой статье знаменитого философа сформулировано, однако, немало таких положений, дальнейшее развитие которых могло содействовать невольному искажению мировоззрения Пушкина и не обусловленному исторически истолкованию его эстетических взглядов. По мнению Вл. Соловьева, например, сущность «Памятника» представляет собой «достойный и благородный „компромисс" поэта с будущим народом. Это стихотворение есть не поэтическое, а практическое (в хорошем смысле слова) *credo* Пушкина, — непостыдное соглашение его с потомством. Для поэта главное в поэзии — она сама, но он не может отрицать и ее нравственной пользы; для „народа" главное в поэзии — это нравственная польза, но ведь он ценит и ее прекрасную форму. Значит, нет надобности обращать эти два взгляда острием друг против друга, когда они могут сойтись в одной и той же, хотя неодинаково обоснованной оценке:

> Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
> К нему не зарастет *народная тропа*».

Тем не менее, по мнению Вл. Соловьева, «в последней строфе, как бы полагая нерушимую печать безупречного благородства на свое соглашение с потомством, поэт опять настаивает на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзии».[27] Как бы мы ни относились к справедливости этих утверждений, несомненно, что они поднимали значение «Памятника», придавая ему принципиально важный смысл. Недаром строки именно из этого credo поэта мечтались А. И. Урусову вырезанными на новом памятнике Пушкину в Петербурге: «На пьедестале, в прихотливых линиях которого чувствуется близость XVIII века, я вижу медальоны друзей и сверстников поэта ... Памятник окружен гранитными столбами; их соединяют массивные черные цепи, перевитые лаврами. На памятнике читаю надпись:

> Я памятник себе воздвиг нерукотворный».[28]

Стоит, впрочем, напомнить известные слова о «Памятнике» А. Г. Горнфельда, сказанные им в юбилейный 1899 год и полу-

---

[27] «Вестник Европы», 1899, № 12; о «Памятнике» — стр. 709—710.

[28] А. И. Урусов. Четыре мысли по поводу чествования Пушкина. В кн.: Кн. А. И. Урусов. Статьи его. Письма его. Воспоминания о нем. Тт. II, III. М., 1907, стр. 28—31 (первоначально: «Биржевые ведомости», 1898, 20 декабря).

чившие широкое распространение благодаря тому, что они были позже много раз перепечатаны вместе со статьей, в которую включены. Эти слова как бы подвели итог тем мыслям и ощущениям, какие «Памятник» вызывал в то время в кругах русской либерально-демократической интеллигенции. А. Г. Горнфельд старался представить себе гнетущую идейную атмосферу, в которой поэт жил последнее десятилетие своей жизни и которая привела его к созданию «Памятника», и дал справедливую оценку этому стихотворению и значению, которое оно имеет в истории русской критической мысли о Пушкине. А. Г. Горнфельд писал в этой статье: «Пушкин говорил: „Ты сам свой высший суд“, но ценил и иное суждение: „Я всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал повод... Похвалы трогали меня ... Смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего противника“ и т. д. (Критические заметки). В минуты тягостного разочарования он провозглашал:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт!

«Но чаще он знал и предпочитал иное блаженство — блаженство сочувствия и понимания, блаженство единения с родным народом, блаженство сознания своих заслуг. От оды „Памятник“ во веки веков будет отправляться всякая оценка личности поэта, не говоря о его деятельности, каждая характеристика которой будет наполнять „Памятник“ новой правдой. В этом гордом и пророческом сознании своего бессмертия — ни слова о „звуках сладких“, которые и не нужны были Пушкину:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

«Вот что ставил сам Пушкин себе в заслугу; история прибавила к этому многое другое, и чем яснее будет для нас наше прошлое, тем ярче будет светить в нем фигура Пушкина. Она уже принимает легендарные размеры — и в добрый час; благо народу, в сознании которого героями становятся не только видные политические деятели и храбрые полководцы, но и великие поэты».[29]

---

[29] А. Г. Горнфельд. Муки слова. (Памяти Пушкина). Сборник журнала «Русское богатство», под ред. Н. К. Михайловского и Вл. Г. Короленко, ч. II, изд. 2-е, СПб., 1900, стр. 75; см. также отдельное издание статьи «Муки слова», без посвящения Пушкину (СПб., 1906, стр. 5), и ряд последующих ее переизданий; всюду цитируемая страница осталась без изменений. В том же сборнике «Русского богатства» о «Памятнике» Пушкина

Лишь в первые десятилетия нашего века в связи с обновлением широкого читательского внимания к творчеству Пушкина и началом его углубленного исторического изучения «Памятник» привлек к себе пристальный и долговременный интерес, вызвав целый ряд критических статей и исследований. Эти исследования основаны были теперь и на экспертизе рукописи стихотворения, и на разнообразных литературных и документальных данных, впервые привлеченных тогда к решению задач, возникавших перед его истолкователями. Нет необходимости подробно иллюстрировать этот новый этап в изучении «Памятника» многочисленными примерами, так как это в значительной степени сделано в известной статье П. Н. Сакулина «Памятник нерукотворный», написанной в 1922 г., но опубликованной лишь два года спустя.[30] П. Н. Сакулин подвел здесь итоги предшествующим изучениям, представив краткий обзор различных мнений о стихотворении Пушкина, и пришел к выводу, что, «по-видимому, пора бы уже установить определенный взгляд на смысл „Памятника"», для чего, как ему казалось, накопилось уже достаточно материалов и соображений; между тем, констатировал он далее, «полного согласия между исследователями не обнаруживается».

И в самом деле, именно в это время в оценке и толкованиях «Памятника» наметились серьезные расхождения. Напомним лишь несколько наиболее существенных фактов из возникшей по этому поводу полемики. В 1910 г. С. А. Венгеров предпослал воспроизведению «Памятника» в выпускавшемся под его редакцией собрании сочинений Пушкина специальную статью и озаглавил ее «Последний завет Пушкина». С. А. Венгеров представил здесь результат своего внимательного чтения рукописи «Памятника», и в частности свое истолкование переделок, которым сам поэт подверг строки:

> И долго буду тем любезен я народу,
> Что чувства добрые я лирой пробуждал.

вспоминали также, хотя и мимоходом, авторы других статей о поэте; здесь же П. Ф. Якубович, скрывшийся под псевдонимом «П. Ф. Гриневич» в статье «Пушкин в сознании русской литературы», разбирая взгляды Д. И. Писарева, и в частности его уничтожающую оценку пушкинского «Памятника», замечал: «... думаем, что теперь даже и гимназисты в состоянии понять, в чем заключались ошибки Писарева по отношению к великому поэту» (стр. 27). Сходную оценку статьи Писарева о Пушкине получили у А. П. Чехова, писавшего в марте 1892 г.: «Ужасно наивно ... Пушкин остается целехонек ... Воняет от критики назойливым придирчивым прокурором» (А. П. Чехов, Собрание писем, т. IV, М., 1912, стр. 31).

[30] П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. В кн.: Пушкин. Сборник первый. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 31—76. В основу этой статьи П. Н. Сакулина положен доклад, читанный на открытом заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, состоявшемся 2 апреля 1922 г., под заглавием «Пушкин перед лицом вечности» (прения по этому докладу подробно изложены в том же сборнике на стр. 257—261).

Пушкин, писал С. А. Венгеров, «в одну из торжественнейших минут своей духовной жизни превыше всего ценит в литературе учительность... Но интерес пушкинской формулировки назначения литературы еще безмерно возрастет, когда мы обратимся к ... черновику знаменитого стихотворения.[31] Оказывается, что первоначально Пушкин, совершенно в духе „чистого“ искусства, так определил свое значение:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.

«Твердо и без столь обычных у него помарок, т. е. без колебания, написал Пушкин свое теоретическое литературное credo. Но вот он перечитывает плод непосредственного вдохновения, снова вдумывается в тему и перед лицом вечности открываются новые горизонты. Нет, мало для поэта истинно великого одних эстетических достоинств, только к памятнику того не зарастет „народная тропа“, кто пробуждает „добрые чувства“, кто был учителем жизни. И зачеркивается формула эстетическая и взамен ее дается учительно-гражданская».[32]

Все это рассуждение, основанное на личном домысле исследователя и вполне соответствовавшее его собственным воззрениям на роль и значение литературы в общественной жизни, не было принято безоговорочно ни другими исследователями Пушкина, ни критикой тех лет. Слабость аргументации С. А. Венгерова заключалась в отсутствии в его построении историко-литературной перспективы. Строка о «звуках новых для песен» зачеркнута была Пушкиным, по-видимому, не потому, что ее призвана была заменить другая противостоящая ей формула об общественном назначении поэзии, но прежде всего потому, что она слишком близко воспроизводит архаическую, хотя и имевшую реальный смысл, формулу Горациевой оды — источника «Памятника», на который сам Пушкин с умыслом указал в эпиграфе к стихотворению; к тому же, как недавно подчеркнул А. Л. Слонимский, вспоминая статью С. А. Венгерова, «общественная формула — о свободе и притом с конкретной ссылкой на Радищева — была и в первоначальной редакции; она совмещалась с исторической формулой о новых звуках».[33]

Статья С. А. Венгерова не осталась без реплик и объективных возражений, но десятилетие спустя М. О. Гершензон выступил с новым толкованием «Памятника», в котором он впадал в противоположную крайность, объясняя его по-своему, в полном

---

[31] Речь идет не о черновой, но о так называемой перебеленной рукописи «Памятника».

[32] С. А. Венгеров. Последний завет Пушкина. В кн.: Пушкин, Сочинения, изд. Брокгауза—Ефрона, т. IV, СПб., 1910, стр. 48 (Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова).

[33] А. Слонимский. Мастерство Пушкина. М., 1959, стр. 66.

соответствии со своими тогдашними откровенно реакционными воззрениями на соотношение литературы и действительности, на роль и значение поэта в общественной жизни его времени и последующих поколений читателей.[34] Интерпретация «Памятника» М. О. Гершензоном вызвала длительную и острую полемику.[35] Именно против нее в основном и была направлена статья П. Н. Сакулина, представившая наиболее веские аргументы против концепции Гершензона и немало способствовавшая прояснению ряда вопросов, связанных с историей стихотворения Пушкина, толкованием Гершензона, казалось, доведенных до полного тупика.

Свою статью Гершензон начинал с изложения общепринятых воззрений на «Памятник», с которыми он вступал в спор: «Стихотворение это написано Пушкиным месяцев за пять до смерти и по содержанию представляет как бы поэтическую исповедь или завещание. О смысле этой исповеди у нас никогда не возникало споров; напротив, все понимают ее одинаково и убеждены, что понимают верно. Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие ценности, которые дают ему право на это бессмертие. Так он сам понимал свою деятельность и так определял ее значение; и эта завершительная самооценка бросает свет на весь пройденный им путь. „Памятник“ с полной ясностью открывает нам, какие сознательные цели Пушкин ставил себе в своем творчестве. Так искони объясняют „Памятник“ биографы и комментаторы Пушкина».[36] Прибавим от себя, что так полагаем и мы в настоящее время. М. О. Гершензону, однако, представлялось, что в четвертой строфе («И долго буду тем любезен я народу») Пушкин якобы говорит не от своего лица, а излагает мнение о себе народа, мнение грубое и ложное. «Никакой самооценки поэта тут нет, — пересказывает Гершензона Сакулин. — Слово „любезен“ употреблено саркастически». Смысл пятой строфы — «смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, но таков роковой закон ... покорись божьей воле — вот что говорит эта строфа». Оспаривать глупца занятие тщетное и безнадежное. «Бессмертие поэту обеспечено, но такое, что лучше бы его не было. Ведь то, что скажут о нем («чувства добрые» и пр.), это — плоское суждение толпы, клевета глупцов на самого Пушкина, да и на поэзию вообще. Люди откроют в поэзии Пушкина „то, чего в ней вовсе нет, и проглядят ее истинное содержание: они откроют в ней полезность,

---

[34] М. Гершензон. Мудрость Пушкина. М., 1919 (статья уже в 1917 г. была оглашена несколько раз в качестве докладов и лекций).

[35] Неполный перечень рецензий и откликов на эту статью см. в кн.: Я. З. Берман. М. О. Гершензон. Библиография. Одесса, 1928, стр. 42—43.

[36] М. Гершензон. Мудрость Пушкина, стр. 6—7.

нравоучительность". Утешением для поэта, которого ждет столь „пошлая слава", могут служить лишь два обстоятельства: во-первых, найдутся немногие избранные, преимущественно пииты, которые верно поймут его поэзию (для обозначения этой «подлинной славы» Пушкин и употребляет выражение «славен»), а во-вторых, „пошлая слава", „слух" все-таки упрочится не навеки, на что, по-видимому, и указывает слово „долго"...».[37] Этих цитат вполне достаточно, чтобы представить себе весь ход мыслей Гершензона и всю сугубо идеалистическую и реакционную подоплеку его догадок, меньше всего отвечавших действительному содержанию пушкинского стихотворения. Перечитывая его статью в наши дни, поражаешься не тому, что в ней есть, а тому, какую длительную полемику она вызвала, какие странные и поистине бесплодные допущения она породила, насколько своим ложным мудрствованием она усложнила и запутала естественное понимание «Памятника», в то время как от исследователя требовалось, по мнению самого Гершензона, «всего только разумно прочитать двадцать умных и ясных стихов Пушкина». Но именно эти «ясные стихи» и вызвали сложные и нескончаемые споры.

П. Н. Сакулин в своей статье указал на очевидные противоречия и логические неувязки в толковании Гершензона и заново проанализировал все стихотворение, сопроводив свое исследование очень существенными текстологическими соображениями и литературными комментариями, не оставившими и следа от фантастических домыслов автора «Мудрости Пушкина».[38] Тем не менее полемика с Гершензоном по поводу «Памятника», прямая и косвенная, продолжалась до середины 30-х годов, вызвав целую серию новых работ об этом стихотворении, философских, публицистических и эстетических. В 1925 г. с самостоятельным «опытом истолкования» «Памятника», сделанного с позиций, в равной мере противостоявших точкам зрения и Венгерова, и Гершензона, выступил Е. И. Боричевский.[39] Статья же В. Вересаева «Пушкин и польза искусства», напечатанная в том же году, напротив, оказалась подражанием Гершензону и дальнейшим развитием его бес-

---

[37] П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный, стр. 39.

[38] Стоит, однако, отметить, что и у Гершензона были предшественники в его истолковании последней, пятой строфы «Памятника». Недоумение вызывала она, например, у А. М. Евлахова (Пушкин как эстетик. Киев, 1909, стр. 8—9), рассуждавшего с точки зрения столь же откровенно реакционных предпосылок: «Поэт, конечно, справедливо указал свою заслугу. Пророк строго выполнил „веленье божие". Но вместе с тем разве это не самоотрицание? — Поэт стал на точку зрения „черни": он гордится пользой своего искусства, а не им самим; он видит в нем средство, а не цель. Такая метаморфоза, если она сознательна, была бы равносильна самоубийству» и т. д. Возражения, представленные Сакулиным Гершензону, в равной мере разбивают также аргументацию А. М. Евлахова, хотя он и не упоминает его брошюру.

[39] Е. И. Боричевский. «Памятник» Пушкина. Опыт истолкования. «Труды Белорусского гос. университета», Минск, 1925, т. VI—VII, стр. 43—51.

почвенных гипотез. В. Вересаев объявил, что «Памятник» Пушкина — это всего лишь пародия на претившие Пушкину «пышные славословия» «Памятника» Державина, — пародия, написанная в привычной для Пушкина манере тонко-иронического воспроизведения осмеиваемого им автора всеми присущими тому стилистическими средствами. «Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его же словами?», — спрашивал себя Вересаев и тотчас же отвечал: «... и вдруг встает ошеломляющая мысль — да не пародия ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин „в горделивом сознании своих заслуг" дает себе должную оценку... не пародия ли оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на „Памятник" Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина. Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это уменья не хватило: ни к селу ни к городу приплел он и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то...»[40] и т. д. Такое и на самом деле поистине «ошеломляющее» наблюдение В. Вересаева, основанное на совершенно неисторическом подходе к действительно существующей стилистической близости двух «Памятников» — Державина и Пушкина, свидетельствующее о его полном бессилии объяснить их генетическую связь, не могло остаться без возражений, как и вдохновившие его домыслы Гершензона, и вскоре попало в ту копилку пушкиноведческих курьезов, которая столь быстро пополнялась в те десятилетия.

Полемика с Гершензоном и Вересаевым продолжалась до середины 30-х годов, постепенно ослабевая, но ее редкие отклики напоминали о той страстности, с какой она некогда велась. Так, о ней упомянул А. В. Луначарский в академической речи 1931 г. о «Гейне-мыслителе». Усматривая историческую аналогию между «Памятником» Пушкина и автобиографическим стихотворением Г. Гейне «Enfant perdu», в котором немецкий поэт давал оценку социальной значимости своей лирики, А. В. Луначарский вспоминал о попытке Гершензона лишить Пушкина прав на подобное же самопризнание: «М. Гершензон пытался доказать, что стихотворение имеет иронический смысл, что Пушкин смеялся над народом, который воображает, будто поэт боролся за него. Но Пушкин смеялся здесь только над такими людьми, как Гершензон, — это он их называл глупцами».[41]

Итоги полемики подводились уже в начале этого десятилетия. И. Л. Фейнберг сделал это в 1933 г. в тонко-иронической манере «воображаемого разговора», в котором принимают участие Веду-

[40] В. Вересаев. В двух планах. Статьи о Пушкине. М., 1929, стр. 111—121 (первоначально: «Печать и революция», 1925, кн. V—VI).

[41] А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М., 1957, стр. 602—603 (см. ранее: «Литературный критик», 1934, № 5).

щий, Гершензон, Вересаев, Сакулин, говорящие цитатами из своих статей, и сам Памятник, выступающий и от себя, и от имени своего создателя.[42] Эта остроумно составленная беседа на тему «об освоении классиков» подчеркнула лишний раз, как много еще оставалось объяснить в «умных и ясных стихах» пушкинского «Памятника», какую причудливую форму принимали идеи и образы Пушкина, попадая под перо толкователей-потомков, чуждых его интересам, невосприимчивых к реальному идейно-стилистическому строю его созданий, бессильных объяснить историческое явление и находивших в нем только то, что они хотели найти в соответствии с личными склонностями и пристрастиями.

4

Только в 1937 г., в столетнюю годовщину со дня гибели Пушкина, раскрылось впервые по-настоящему подлинное значение этого пушкинского «завета». Именно теперь «Памятник» возник перед читателями в своей исторической сущности, освобожденный от опутавшей его паутины искажающих толкований и сложных мудрствований, в надлежащей перспективе и освещении, со всеми своими следствиями и породившей их причиной, во всех закономерностях и этапах своей своеобразной судьбы. Начался период более спокойного его изучения, поставивший своей целью разгадать замысел создавшего его поэта, возникший из впечатлений о современной ему действительности, глубже проникнуть в идейный строй самого стихотворения, как в исторически обусловленное произведение мысли и искусства, — строй не воображаемый или предполагаемый, но реальный в полном смысле, раскрываемый и подтверждаемый всеми средствами, доступными историческому и филологическому анализу.

После опубликования чернового автографа «Памятника»[1] дальнейшая его текстологическая экспертиза вставала на твердую, незыблемую почву; совершенствовались методы всестороннего изучения литературного наследия Пушкина; на основе новонайденных или впервые объясненных исторических и литературных документов неизмеримо шире и глубже, чем раньше, становилась известна и самая эпоха, в которую жил и творил Пушкин, его литературная среда, его соратники, друзья и враги.

После 1937 г. историко-литературное изучение «Памятника» развивалось главным образом в следующих направлениях: 1) путем дальнейшего сравнения (или противопоставления) уста-

---

[42] И. Фейнберг. «Памятник». «Литературный критик», 1933, № 5, стр. 85—97.

[1] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 5.

навливались реальные соотношения между стихотворением Пушкина, «Памятником» Державина, общим для них первоисточником — одой Горация и другими сходными произведениями русской и мировой литературы; 2) изучалась поэтическая структура «Памятника», особенности его стиля и языка на общем фоне развития стилей русской литературной речи и поэтической лексики; 3) изучалось место, занимаемое «Памятником» в поздней лирике Пушкина, в частности в соотношении с лирическими циклами 1835—1836 гг. и общими идейными тенденциями его творчества. По всем этим направлениям исследования привели к ценным результатам; высказаны были новые соображения, сделаны были свежие наблюдения; обобщены были, после тщательного критического пересмотра, итоги всех ранее произведенных изучений, хотя сводной монографической работы о «Памятнике», к сожалению, не существует и доныне. Стоит отметить, что изучение не только «Памятника», но и большинства других произведений Пушкина, в частности его лирики, сильно затруднялось в последнее время отсутствием новых, достаточно подробно комментированных изданий его произведений, — таких, в которых можно было бы найти без самостоятельных разысканий необходимые фактические справки о том или другом стихотворении, свод высказанных о них мнений, систематически распределенных по степени их достоверности, с критикой отброшенных догадок, с поддержкой правдоподобных или предвидимых, и т. д. Отсутствие подобных изданий пагубно сказалось не только на многих новейших работах советских пушкиноведов, но и в особенности на зарубежной пушкиниане, где именно с 1937 г. начали появляться довольно многочисленные статьи и исследования о Пушкине, и в частности о его «Памятнике». Такие работы появились в Бельгии, Франции, США и других странах. Не имея возможности опереться на советские комментированные издания, недостаточно, случайно, выборочно зная специальную литературу, зарубежные ученые не раз возрождали к новой жизни давно отброшенные у нас толкования, опирались на осужденные советской филологией недоброкачественные, неисторические работы о Пушкине и широко распространяли неверные домыслы, ненужные догадки. Мы же со своей стороны недостаточно внимательно следили за этими работами, все увеличивающимися в числе, не откликались на них, не выступали с обоснованными возражениями тогда, когда это вызывалось существом дела, и не смогли во время воспользоваться такими их наблюдениями и находками, которые безусловно заслуживают нашего внимания.[2]

---

[2] На интерес для советского пушкиноведения зарубежной исследовательской литературы о Пушкине мне уже приходилось указывать неоднократно. См., например, в кн.: Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. Материалы дискуссии. М., 1961, стр. 362—365.

Известность поэзии Пушкина за рубежом заметно возросла в последние десятилетия, в особенности после 1937 г., когда мировое ее значение было раскрыто более явственно. Существенную роль сыграло в этом процессе широкое распространение русского языка, что позволило читать и изучать Пушкина в подлиннике. Естественно поэтому, что в целой серии работ зарубежных исследователей о творчестве Пушкина оказался ряд статей, специально посвященных «Памятнику». В XIX в. это стихотворение за пределами нашей страны не пользовалось особой популярностью. Правда, существовало несколько весьма посредственных переводов его на западноевропейские языки, сделанные в конце века (преимущественно в юбилейный 1899 год), но оно никогда не привлекало к себе специального внимания, вероятно, прежде всего потому, что считалось одним из бесчисленных подражаний Горацию, столь изобильно представленных во всех литературах Европы; свое значение имело и то, что «Памятнику» в русской критической и исследовательской литературе о Пушкине тех лет уделялось мало внимания. Однако за последние десятилетия интерес к «Памятнику» за рубежом обозначился очень отчетливо.

Один из первых французских переводов «Памятника» сделан был с русского языка профессором классической филологии Анри Грегуаром и включен в его статью «Гораций и Пушкин», опубликованную в Бельгии (в г. Намюре) в специальном журнале «Les études classiques». Первое четверостишие пушкинского стихотворения — под пером переводчика, впрочем, превратившееся в пятистишие — читается здесь так:

> Mon monument n'est pas l'ouvrage des humains,
> Et mon peuple y viendra par un sentier, dont l'herbe
> Ne cachera jamais la trace du pèlerin.
> Il dépasse en hauteur, de sa tête superbe,
> Le Phare des Alexandrins.[3]

В обратном дословном переводе эти стихи означают следующее:

---

[3] H. Grégoire. Horace et Pouchkine. «Les études classiques», 1937, vol. VI, № 4, pp. 525—535. За три четверти века перед тем французский литератор Ксавье Мармье заключил свою статью о Пушкине «дословным» переводом «горделивой эпитафии, которую русский поэт сочинил сам себе», не предупредив, впрочем, своих читателей, что речь в этих словах идет не о надгробной надписи в собственном смысле, но о стихотворении «Я памятник себе воздвиг». Мармье привел лишь две первые строфы в неточной прозаической передаче (и, разумеется, в единственно известной в то время редакции Жуковского): «Je laisse au sein de mon pays (?) un monument qui n'est point construit par la main d'un architecte, ni recouvert de gazon, mais qui s'élève plus haut que celui de la gloire de Napoléon. Non, je ne mourrai pas. Que mon corps périsse, que mes cendres soient anéanties, mon esprit vivra dans mes chants, aussi longtemps qu'il y aura sur la terre un poète» (X. Marmier. Pouchkine et la littérature russe. В кн.: X. Marmier. Voyages et littérature. Paris, 1862, p. 363).

Мой памятник не сотворен людьми,
И мой народ будет приходить к нему по тропинке,
Трава никогда не скроет на ней след паломника.
Он превосходит высотой, своей гордой главой
Фарос Александрийцев.

На пояснениях А. Грегуара мы остановимся ниже, однако необходимо сразу же подчеркнуть, что с переводом русского текста он явно не справился; очевидно, даже начальные стихи представили для него непреоборимые затруднения. На допущенных им отклонениях от русского оригинала стоит остановиться особо, так как они и определили своеобразие даваемого им толкования «Памятника» в целом. В первой строфе стихотворения главное препятствие для переводчика составили слова «нерукотворный», «вознесся он главою непокорной», «Александрийский столп»; до смысла их он явно не добрался.

Изучение разноязычных переводов поэтических текстов, интересное и поучительное само по себе, порой может быть применяемо не без пользы для критики текстов оригинала: самые привычные для нас слова в хорошо знакомом стихотворении начинают звучать по-новому при простом сопоставлении их с найденными для них переводчиками иноязычными смысловыми соответствиями. Но А. Грегуар не просто переводчик, это переводчик-толкователь, переводчик-ученый, с особой осторожностью и с критически обдуманным намерением выбиравший иноязычные соответствия словам тщательно изучавшегося им пушкинского текста. Он преисполнен уважения к памяти Пушкина и высоко ценит его как поэта; наконец, и «Памятник» вызывает его восхищение не только по своим поэтическим качествам: А. Грегуар осведомлен о том значении, какое это стихотворение имеет в русской поэзии, и даже явно преувеличивает его роль, утверждая, что «сто миллионов человек могут прочесть „Памятник“ от начала до конца без ошибки, подобно тому как мусульмане и христиане могут произнести свой символ веры». Поэтому в предлагаемом им переводе интересно разобраться.

Первую строку стихотворения — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — Грегуар перевел: «Мой памятник не сотворен людьми». И в самом деле, что означает у Пушкина слово «нерукотворный»? Ведь и для современников Пушкина смысл его оставался неясным, зыбким, ускользающим. К нему, например, пробовал придраться даже П. А. Вяземский, заметивший однажды: «А чем же писал он стихи свои, как не рукою?».[4] И для Белин-

[4] Как это ни странно, но П. А. Вяземский, очевидно, не понимал значения слова «нерукотворный» в данном стихотворении Пушкина. Если вдуматься в контекст приведенного восклицания Вяземского, более наивного, чем лукавого, то нам станет ясно, что он причислял эпитет «нерукотворный» в «Памятнике» к обмолвкам (!) Пушкина. Вяземский отметил для памяти в своей «Старой записной книжке»: «Истинный поэт в творчестве своем никогда

ского, по-видимому, смысл этого слова открылся не сразу. Высказывая свое первое впечатление от «Памятника», Белинский пояснял слово «нерукотворный» другим, заимствованным из той же, как ему тогда, очевидно, казалось, сферы шеллингианских представлений о вдохновенном певце: «Я вижу нравственную идею только в нерукотворных, явленных образах, которые одни есть абсолютная действительность, а не те, где хитрила человеческая мудрость».[5] Философский смысл пушкинского эпитета «нерукотворный» пытался вскрыть в своем «опыте толкования» «Памятника» Е. И. Боричевский.[6] Неудивительно, что слово это смутило А. Грегуара, не имевшего возможности производить самостоятельные разыскания по истории употребления слова «нерукотворный» в русском литературном языке в пушкинское время и искавшего его объяснения в практическом русско-французском словаре и в простейшей его этимологии. Однако А. Грегуар шел дальше и счел необходимым объяснить в своей статье, почему он остановил свой выбор на данном им переводе этого эпитета. Он исходил из того, что вдохновителем Пушкина был Гораций и что в конечном счете «Ода к Мельпомене» римского поэта все же остается первым и основным источником пушкинского «Памятника»; в связи с этим А. Грегуар напоминает, что если Гораций называет свой памятник «aere perennius» — «крепче меди», то Пушкин идет гораздо дальше и Горация, и Державина, сочетая два слова державинского подражания — «чудесный» и «вечный», говорящие

не собьется с пути; но в стихотворческом ремесле поэт может иногда обмолвиться промахами пера. В эти промахи он незаметно для себя и невольно вовлекается самовластительными требованиями рифмы, стопосложения и других вещественных условий и принадлежностей стиха. Было же когда-то у Пушкина:

> Мечты, мечты, где ваша сладость?
> Где вечная *к вам* рифма младость?».

Приведя этот действительный lapsus calami Пушкина, Вяземский, однако, продолжает: «А в превосходном своем exegi monumentum разве не сказал он: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный!“. А чем же писал он стихи свои, как не рукою? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта» (П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 333).

[5] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 474.

[6] «Художественный процесс есть, по мнению Пушкина, акт высокой сознательности и в то же время нечто ... в своей эмоциональности стихийное, неподвластное никаким рассудочным нормам и требованиям. В этом смысле явления поэтического творчества столь же нерукотворны, как явления природы ... Нерукотворные законы природы действуют в художественном творчестве плодотворнее и целесообразнее законов-норм, слишком рассудочных и в своей рассудочности слишком плоских, чтобы их вмешательство могло быть полезно. Этот взгляд не бесспорен. Но это — взгляд Пушкина» и т. д. (Е. И. Боричевский. «Памятник» Пушкина. «Труды Белорусского гос. университета», 1925, т. VI—VII, стр. 47—48; ср. здесь же на стр. 43—44 рассуждение о том, действительно ли создания поэта прочнее памятников пластического художника).

о «чуде» происхождения памятника и бесконечности его существования, в одном слове — «нерукотворный», заимствованном из области религиозных представлений и употребляемом для обозначения чудодейственных («явленных») икон, как перевод греческого ἀχειροποίητος.

Для нас ясно сейчас, что эта справка ученого филолога-классика бьет мимо цели и что он оказался на ложном пути. Каждый грамотный человек знает у нас теперь, что слово «нерукотворный», лишь однажды употребленное Пушкиным,[7] следует понимать в том смысле, в каком оно введено им самим в русский метафорический словарь, что оно означает «благородную память о чьих-либо делах»,[8] неистребимую память в потомстве, и не имеет никакого отношения к лексике православной теологии. Но для А. Грегуара это слово освещает центральную идею стихотворения в целом; первый его стих, смыкаясь с семнадцатым («Веленью божию, о Муза, будь послушна»), образует будто бы декларацию поэта о непреходящем значении своего боговдохновенного творчества и является, таким образом, в отличие от оды Горация, документом христианской религиозной мысли. Хотя это толкование А. Грегуара не осталось без возражений, но оно находило и своих защитников, вплоть до недавнего времени.[9]

Между тем в том же 1937 г. Р. Якобсон в статье «Статуя в творчестве Пушкина» предложил другое объяснение слова «нерукотворный»: [10] оно, по его мнению, заимствовано Пушкиным из стихотворной «надписи» В. Рубана к фальконетовскому «Медному всаднику», в которой оно применено к гранитной скале — постаменту памятника:

Колосс Родийский, свой смири прегордой вид.
И Нильских здания высоких пирамид,
Престаньте более казаться чудесами:
Вы смертных бренными содеяны руками!
Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров, чрез Невские пучины,
И пала под стопы Великого Петра.

Объяснение это, конечно, правильно. «Надпись» В. Рубана была несомненно в памяти Пушкина, когда он писал свой «Памят-

---

[7] Словарь языка Пушкина, т. II. М., 1957, стр. 834.

[8] Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. 2-е. М., 1960, стр. 697—698.

[9] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI, H. 2, S. 192.

[10] R. Jacobson. Socha v dile Puškinově. «Slovo a slovesnost», Praga, 1937, Ročn. III, № 1, str. 15—16.

ник»;[11] в прямой ассоциативной связи с этой «надписью» находится также и пушкинский «Александрийский столп». Справедливости ради необходимо, однако, отметить, что это наблюдение задолго до Р. Якобсона сделано было советскими пушкиноведами, например в 1933 г. И. Л. Фейнбергом;[12] впоследствии Л. В. Пумпянский широко обосновал это заимствование Пушкина соображениями историко-стилистического характера.[13] Добавим к этому от себя, что цитированное стихотворение В. Рубана было широко известно у нас в пушкинское время. Об этом свидетельствует, например, Н. И. Греч, утверждавший в своем «Опыте», что из сочинений Рубана «перейдет к потомству одна его „Надпись“».[14] М. Загоскин, процитировав четыре последних строки этой «надписи», также восклицает: «Кто не знает этих превосходных стихов из надписи к монументу Петра I, по милости которых имя Рубана не совсем еще забыто? Итак, нет сомнения, что человек, не имеющий никакого таланта, может ошибочно сочинить несколько хороших стихов».[15]

В особенности посчастливилось в зарубежном литературоведении другой детали переведенного А. Грегуаром «Памятника» — «Александрийскому столпу», превращенному переводчиком в «Фарос александрийцев». А. Грегуар подробно обосновал мотивы, приведшие его к такому именно истолкованию загадочного стиха. Важнейший из его аргументов — грамматического свойства: при-

---

[11] Эта стихотворная «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи императора Петра Великого» была издана в С.-Петербурге отдельным листом в 1770 г., перепечатана в 1779 г. в книге В. Рубана «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его и с 1703 по 1751 г.» (СПб., 1779, стр. 216) и воспроизводилась затем во многих сборниках и хрестоматиях, как образцовая в этом жанре. Державин привел ее в своем «Рассуждении о лирической поэзии» (1811) в пример «правдоподобия»; впрочем, И. И. Хемницер высмеял ее в двух эпиграммах (Сочинения И. И. Хемницера, СПб., 1873, стр. 362). См.: С. Н. Шубинский. История «Медного всадника». В кн.: С. Н. Шубинский. Исторические очерки и рассказы. Изд. 5-е. СПб., 1908, стр. 320; Б. Л. Модзалевский. Василий Григорьевич Рубан. «Русская старина», 1897, № 8, стр. 413—414. В пушкинское время эта «надпись» Рубана была перепечатана также в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (ч. 2, СПб., 1821, стр. 208).

[12] И. Фейнберг. «Памятник». «Литературный критик», 1933, кн. 5, стр. 92.

[13] Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 110—111.

[14] Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822, стр. 235. В позднейших своих «Записках» Греч утверждал, что писателей при жизни «судят ... по самому плохому из их творений, по смерти — по самому лучшему ... Кто не отдает справедливости единственному четверостишию Рубана?» (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, стр. 40), т. е. его «надписи» к монументу Петра I.

[15] М. Загоскин. Выдержки из памятной книжки. В сб.: Литературный вечер, М., 1844, стр. 146.

лагательное «Александрийский» происходит от названия города — Александрия, а не от имени — Александр. Конечно, это совершенно справедливо: стоит только вспомнить «Египетские ночи»:

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
(VIII, 1, 276)

Напоминая далее, что Гораций в своей оде говорит о пирамидах (они сохранены и в «Памятнике» Державина) и что в древности египетские пирамиды считались одним из семи чудес света, А. Грегуар утверждает, что Пушкин будто бы выбрал для сравнения со своим памятником другое чудо из тех же семи, потому что в наиболее известных перечнях этих чудес пирамиды стоят на первом месте, а Фарос — на последнем.[16]

Конечно, эти семь чудес были хорошо известны в пушкинское время каждому образованному человеку, изучавшему античную историю и имевшему дело с реальными словарями греческих и римских древностей. Русская поэзия первых десятилетий XIX в., упоминая их, опиралась на старую традицию предшествующего века, восходящую еще к В. К. Тредиаковскому, когда принято было перечислять эти чудеса гораздо чаще, по всяческим поводам.[17] Знал их и Пушкин. Сошлемся в качестве примера хотя бы на хорошо известную ему пародию на «Изобретение ваяния» Дельвига, вышедшую из стана Булгарина—Греча. Идиллия Дельвига

---

[16] В этот перечень, где самые чудеса располагались в различном порядке, входили: 1) Пирамиды в Египте; 2) Фарос в Александрии; 3) Висячие сады в Вавилоне; 4) Храм Артемиды (Дианы) в Эфесе; 5) Статуя Зевса Олимпийского (Юпитера), работы Фидия; 6) Мавзолей, воздвигнутый Артемизией, в Галикарнассе; 7) Колосс Родосский.

[17] Н. Остолопов (Словарь древней и новой поэзии, ч. 2. СПб., 1821, стр. 171), рассуждая о мадригале, напоминал, что один из первых у нас мадригалов Тредиаковский напечатал в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (СПб., 1735) и что он написал его «в похвалу Аудиенц-зале, или, по его орфографии, Сале». Остолопов приводит этот мадригал, сопровождая ехидным замечанием эти действительно косноязычные стихи, в которых старый пиита сопоставлял «славу» «Аудиенц-залы», построенной для императрицы Анны, со «славою» знаменитых чудес древнего мира:

Пирамиды неж пела та Мемфийски,
Дивного труда стены Ассирийски,
Нежели царя томб высок Мавзола,
От Ефесска честь так же богомола,
Диане, чей храм чудно был приправный,
Про Фарос светящий,
Нежь верьхом горящий,
Дельск, иль про кумир, что Аммонов славный;
Неж огромность, сверх, Родского ужасну
Колосса, и красну
и т. д.

увидела свет в альманахе «Северные цветы на 1830 г.». Сохраняя колорит античной идиллии, который воспроизводил в своем стихотворении Дельвиг, анонимный пародист воспел в своем стихотворении в качестве «восьмого чуда» греческую Музу, облаченную в «душегрейку новейшего уныния», заимствуя это выражение, поднятое на смех, из статьи И. В. Киреевского в «Деннице» за тот же год. По этому поводу пародия перечисляет все предшествующие семь чудес:

> Все поспешайте в пещеру ко мне! Там очами узрите
> Дивное диво, чудо восьмое! Не Зевс Олимпийский,
> Не пирамиды Египта, не храм Исхееры Эфесской,
> Не мавзолей Артемизы, не Вавилонские стены,
> Не Птоломея маяк, не Колосс Родосский! Нет, чудо
> Новое явится вам.[18]

Любопытно, что М. П. Погодин, приехавший в Петербург в 1839 г., при первом взгляде на колонну на Дворцовой площади тотчас же вспомнил знаменитые древние сооружения: «В Петербурге не был я года с четыре и нашел много нового. На площади перед Зимним дворцом возвышается *Александровская колонна*, памятник двенадцатого года, перед которою все египетские и римские обелиски должны смиренно склонить главы свои».[19] Тем не менее предположение А. Грегуара, что Пушкин будто бы, имея в памяти все семь чудес, заменил в своем «Памятнике» горациевские пирамиды Фаросом в Александрии, не только искусственно, но и совершенно излишне, если следовать русским источникам и придерживаться общепринятого толкования, что Пушкин под «Александрийским столпом» имел в виду Александровскую колонну, воздвигнутую в честь Александра I на Дворцовой площади Петербурга в 1834 г. Однако догадка А. Грегуара привлекла к себе внимание и вызвала ряд откликов в зарубежной печати, как сочувственных, так и полемических. Статья А. Грегуара, с которой он знакомил интересующихся еще до ее опубликования, по его словам, разделила читателей на два лагеря: на стоявших за его гипотезу — «александрийцев», или «фаросцев», и на отстаивавших традиционное толкование — «александровцев». На первых порах некоторые зарубежные ученые даже приняли его догадку. Так,

---

[18] Чудо в пещере. «Сын отечества», 1830, ч. 133, № 17, стр. 305.

[19] М. Погодин. Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник, ч. I. М., 1844, стр. 4. В «Прибавлениях» к I и II книгам журнала «Благонамеренный» за 1821 г. по поводу сооружения гранитных колонн для портика строившегося Исаакиевского собора приведена справка о месте, какое они будут занимать «между известными нам древними и новыми колоннами, сделанными из одного куска камня»: «первое место занимает между ними колонна Александрийская, названная *Помпеевым столпом*», и т. д. (стр. 2). Ср. также: Седмеричные числа чудес в Риме. «Вестник Европы», 1825, ч. 140, № 5, стр. 39—40.

в 1945 г. ныне покойный американский славист Семуэл Кросс, рецензируя новый перевод пушкинского «Памятника» на английский язык (В. Набокова), отметил, что в стихах:

> Tsar Alexander's column it exceeds
> In splendid unsubmissive height, —

содержится ошибка, поскольку «Александрийский столп» значит «of Alexandria» и «не имеет отношения к Александру I и колонне на Дворцовой площади».[20] Впрочем, и сам А. Грегуар, сознавая, очевидно, рискованность своей догадки, предлагал и другое возможное истолкование тех же пушкинских строк: «Помпеева колонна в Александрии».[21]

В 1954 г. против гипотез А. Грегуара выступил В. Ледницкий в широко аргументированной статье.[22] Он еще раз вернулся к грамматическому вопросу о значениях прилагательных «Александрийский» и «Александровский» в русской речевой практике XVIII—XIX вв., чтобы подтвердить возможность понимания слова, употребленного Пушкиным, как производного от имени Александр, и отверг все доводы в пользу гипотезы о египетской столице. Правда, Пушкин хорошо знал Фаросский маяк; последний упоминается в отрывке, связанном с «Египетскими ночами»,— «Мы проводили вечер на даче. . .»: «Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы» (VIII, 422). Но именно потому едва ли Пушкину могло прийти в голову назвать «столпом» эту высокую башню, увенчанную горящими огнями маяка.

Меньше внимания уделил В. Ледницкий другому допущению А. Грегуара, что под «Александрийским столпом» Пушкин мог подразумевать так называемую «Помпееву колонну», хотя эта догадка представлялась бы более правдоподобной, так как «Помпеева колонна» пользовалась большой известностью и неоднократно упоминалась в русской литературе начала XIX в. — в книгах о Египте, об архитектуре древнего мира и т. д. Так, например, архимандрит Константин уделил «Помпеевой колонне» целую страницу в своей книге «Древняя Александрия». Он именует ее «Помпеев столб» и так характеризует это сооружение: «Огромность, соразмерность и разительная красота монумента сего пре-

---

[20] «American Slavic and East European Review», 1945, vol. IV, № 8—9, p. 218.

[21] H. Grégoire. Horace et Pouchkine, pp. 531—532.

[22] W. Lednicki. Grammatici certant. «Harvard Slavic Studies», 1954, vol. II, Cambridge, Mass., pp. 241—263; в дополненном виде, под заглавием «Pushkin's Monument», статья вошла в книгу В. Ледницкого, напечатанную в Голландии, — «Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz» (The Hague, 1956, pp. 87—110).

восходит все существующие в ордене Коринфском».[23] Еще подробнее описана эта колонна в другой книге о Египте, переведенной с французского, где она именуется «колонна Александрийская» и «столб Александрийский»: «Это прекраснейшая колонна, коей выше на свете не бывало».[24] «Помпеева колонна», наряду со многими другими аналогичными памятниками древности, неоднократно упоминалась также в русской печати середины 30-х годов в связи с Александровской колонной, воздвигнутой в Петербурге; естественно поэтому, что она была известна и Пушкину и что «столп Александрийский» мог вспомниться ему по ассоциативному сходству тогда, когда он говорил о петербургском «столпе»: прилагательное «Александрийский» получило как бы двойную смысловую нагрузку и тем самым маскировало его истинные намерения. «Употребив это прилагательное вместо „Александровский", — разъяснял, например, П. Я. Черных, — поэт хотел замаскировать слишком откровенный характер своего утверждения, что его нерукотворный памятник ... вознесся своей непокорной главою выше самой Александровской колонны, — утверждения, заключающего открытый вызов царю и его приспешникам».[25]

На возможность ассоциативной связи между «Александрийским» и «Александровским» столпами указывает еще один источник, тем более интересный, что речь идет о книге автора, близко известного Пушкину, встречавшегося с ним и находившегося с ним в переписке. В 1834—1835 гг. А. С. Норов совершил путешествие по Египту и собственными глазами увидел прославленный «Помпеев столб», вскоре после того как сам наблюдал за торжествами открытия Александровской колонны в Петербурге. Оба этих события были невольно сближены им и возбудили разнообразные мысли, которым он посвятил несколько страниц в описании своего «Путешествия». Мы читаем здесь: «Торжественный памятник, носящий имя Помпея, теперь отброшен за город (Александрию) и стоит на краю пустыни и мертвого озера Мареотийского. Масса колонны величественна, положение на холме в виду моря, живописно; воспоминания оттеняют картину своими красками, но уединение этого памятника очаровывает зрителя. Я невольно сравнил это запустение с тем торжеством, которого я был недавно свидетелем, когда на берегах Невы подобный колосс, но еще более величественный, воздвигся в память Александру Благо-

---

[23] Арх. Константин. Древняя Александрия. М., 1803, стр. 18.

[24] Путешествие господина Сониния в Верхний и Нижний Египет. М., 1809, стр. 108—117.

[25] П. Я. Черных. Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник». «Русский язык в школе», 1949, кн. 3, стр. 35—36. Ранее Д. П. Якубович в статье «Черновой автограф трех последних строф „Памятника"» (в сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937) отмечал, что, именуя столп «Александрийским», «Пушкин словно бы отводил читателя к памятникам Египта (Александрии), но, конечно, имел в виду не их, а превышающую их высотой Александровскую колонну» (стр. 6).

словенному. Этот торжественный день был назначен мною для моего отъезда. Я хотел упиться радостью народной. Коляска моя была запряжена, когда я наслаждался этим величественным зрелищем ... Запустенье колонны Помпеевой вселило в меня ту же меланхолию, как и чтение стихов Горация, который, обращаясь к солнцу, говорил: „Да не узришь ты ничего величественнее Рима!", или, предрешая бессмертие своим стихам, сказал, что они должны жить до той поры, пока жрец и весталка будут восходить по ступеням Капитолия».[26] Все чрезвычайно характерно в этом рассуждении для современника Пушкина, вплоть до его лексики («торжественный памятник», «воздвигся в память Александру») и до цитаты из той самой оды Горация «К Мельпомене» (III, 30), на которую сам Пушкин указал как на источник своего стихотворения. Весьма интересно также и то, что А. С. Норов говорит далее о назначении колонны; отвергая различные догадки о ней археологов (и, в частности, принятую ныне гипотезу о том, что она сооружена в честь императора Диоклетиана в IV в. н. э.), А. С. Норов решительно заявляет: «Я согласен с теми, которые полагают колонну памятником основателю Александрии, герою Македонскому ... Колонна стоит на том месте, где стояла гробница Александрова, и несомненно была его надгробным памятником». Этот ход мыслей решительно подтверждает возможность понимания «Александрийского столпа» в стихотворении Пушкина современниками как двусмысленной и многозначительной поэтической формулы, на что Пушкин мог и сознательно рассчитывать. «Что-то есть в самом деле пленяющее в этом длинном, благородном, динамичном слове „александрийского", — заметил недавно С. В. Шервинский, говоря о пушкинском «Памятнике», — недаром Валерий Брюсов целиком повторил этот, видимо, очаровавший его стих в пьесе „Александрийский столп":

> На Невском, как прибой нестройный,
> Растет вечерняя толпа,
> Но неподвижен сон спокойный
> Александрийского столпа».[27]

Многозначность отдельных слов и выражений, с помощью которых построено стихотворение Пушкина, все же ограничена. Стихотворение не может иметь несколько смыслов, извлекаемых из одного и того же текста, сколькими бы значениями ни обладало каждое составляющее его слово. Допущения такого рода ведут к фантастическим догадкам, извращающим действительный (а не

---

[26] А. С. Норов. Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 гг., ч. I. СПб., 1840, стр. 46—48. Приношу искреннюю благодарность Г. М. Кока, обратившему мое внимание на эту книгу и другие русские источники о «Помпеевом столбе».

[27] С. В. Шервинский. Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. М., 1961, стр. 122.

воображаемый) ход мыслей Пушкина. Подобные домыслы находим мы, например, в небольшой работе шведского слависта Гуннара Якобссона, недавно изданной Гётеборгским университетом под заглавием «„Памятник" Пушкина и Александровская колонна».[28] Идя по следам А. Грегуара и особенно В. Ледницкого, Г. Якобссон представил новую попытку истолкования отдельных стихотворных строк пушкинского стихотворения, в особенности же «спорного», по его мнению, значения словосочетания «Александрийский столп».

Г. Якобссон исходит из того, что будто бы именно наличие двух редакций «Памятника» (состоящих из трех и из пяти строф) объясняет нам полисемию многих слов и выражений этого стихотворения и что она была преднамеренной, поскольку поэт не мог высказать свои мысли открыто, в полный голос, без оглядки на цензуру. Сделав объектом своего анализа слова «Александрийский столп», исследователь представил такое искусственное и надуманное их объяснение, не имеющее ничего общего с практикой живого русского языка, что отдельные страницы его рассуждений порой кажутся просто пародическими. Так, он полагает, например, что прилагательное «Александрийский» происходит от существительного «Александрия», но на этот раз это существительное имеет особое значение, упущенное из вида пушкиноведами: оно значит «Жизнь, время, деяния Александра» (в данном случае русского царя Александра I), т. е. «Александровщина», как поэт мог бы сказать иначе, если бы ему не препятствовали здесь метрические или стилистические основания. Слово «Александрия», объясняет нам Г. Якобссон далее, не только имеет в русском словоупотреблении два значения (географическое наименование и роман об Александре Македонском), но и относится к большой группе русских слов с окончанием на «ия» иностранного происхождения, имеющих абстрактное значение.

Еще более искусственным представляется даваемое Г. Якобссоном объяснение слова «столп». Помимо обычного значения — «колонна», слово «столп» в древнерусском языке якобы имело значение не только «башни» и «сторожевой башни», но даже «тюрьмы» (?). Очевидно, автор исходит из совершенно произвольного истолкования житийного слова «столпник» (т. е. «затворник», добровольно или по обету «затворивший» себя в «столпе»). Последние, приведенные им значения слова «столп», т. е. «башня» и «тюрьма», по мнению Г. Якобссона, стилистически больше подходят к колориту «многозначного» пушкинского стихотворения, чем просто «колонна». Выражения «памятник нерукотворный» и «Александрийский столп» противопоставлены друг другу, и, по-

---

[28] Gunnar Jacobsson. Pusjkins «Monumentet» och Alexanderkolonnen. Göteborg, 1965 (Acta Universitatis Gothoburgensis Slavica Gothoburgensia, 2), 22 S.

скольку оба они как бы опоясывают первую строфу, этим будто бы еще более подчеркивается глубокая идейная противоположность между обоими определениями: в первом стихе этой строфы говорится о действительном, земном, вечном памятнике человеческого творчества, в последнем стихе той же строфы идет речь о непрочном, временном, преходящем значении «башни-тюрьмы времени Александра I» (!). Этого мало: вторая часть составного слова (-творный), по ощущению исследователя, должна вызывать ассоциацию со словом «столпотворение» (ср. библейское «вавилонское столпотворение») и тем самым будто бы утверждать в сознании читателя пушкинского стихотворения представление о жалком исходе, о бесплодности человеческих усилий, о преходящем характере земной власти, покоящейся на создании человеческих рук. Исходя из той же надуманной полисемии «Памятника», Г. Якобссон толкует также полустишие «главою непокорной» как «непокорную», т. е. враждебную по отношению к государю, десятую главу «Евгения Онегина» (!).

5

Центральная часть статьи В. Ледницкого, упомянутая выше, посвящена доказательству того положения, что под «Александрийским столпом» Пушкин имел в виду колонну, воздвигнутую в Петербурге архитектором Монферраном в честь Александра I и в торжественной обстановке открытую 30 августа 1834 г.[1] Доказательства эти основаны на русских документальных источниках и литературе о Пушкине, достаточно полно, хотя и не без пропусков использованных В. Ледницким в его исследовании. Такое утверждение, взятое само по себе, может быть, и не требовало бы столь широко развернутой аргументации, поскольку для русских исследователей Пушкина оно никогда не служило объектом спора, но некоторые подробности торжества открытия колонны, на котором Пушкин намеренно не присутствовал, и в особенности освещение этого события в русской и иностранной печати, проливают свет на условия, при которых был создан «Памятник», а упомянутый в нем «столп» получает дополнительное значение.

Хорошо известна запись в дневнике Пушкина, датированная 28 ноября 1834 г.: «Я ничего не записывал в течение трех месяцев, я был в отсутствии — выехал из Пб. за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии

[1] W. Lednicki. Pushkin's Monument. В кн.: W. Lednicki. Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz. The Hague, 1956.

вместе с камер-юнкерами, — моими товарищами» (XII, 332).[2] Но колонна воздвигнута была еще в 1832 г., за два года до ее открытия, и начиная с этого времени в течение нескольких лет литература об этой колонне — специальная, публицистическая и поэтическая — появлялась непрерывно. Так, например, еще в 1832 г., т. е. в год ее поднятия, Ф. Глинка напечатал стихотворение «К гранитному столпу, воздвигаемому во славу Александра I», где между прочим писал:

> Не рушат тверди сей ни зуб времен, ни грозы;
> Двинь море — и она останется цела.[3]

Петербургская печать следила за ходом архитектурных и скульптурных работ перед торжественным открытием этой колонны, описывала ее детали, сопоставляла ее с другими сооружениями древнего и нового мира.[4] Из этой довольно обширной литературы многое, вероятно, было Пушкину известно. С другой стороны, хотя он и не присутствовал на торжестве открытия колонны, зато в течение двух лет должен был видеть все подготовительные работы на Дворцовой площади, — о них много говорили в городе, — не исключая поднятия колонны на монолитный цоколь, для чего установлены были мощные леса.[5] Из всего этого, однако, вовсе не следует, что в открытии колонны, в литературных откликах на это событие или толках, которые шли по этому поводу, следует искать источник, вдохновивший Пушкина на создание «Памятника». Справедливо возражая А. Грегуару, пытав-

---

[2] Дневник А. С. Пушкина. М., 1923 («Труды Гос. Румянцевского музея», вып. 1), стр. 62; Дневник Пушкина 1833—1835. Под ред. и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского. М.—Пгр., 1923, стр. 21.

[3] «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1832, стр. 327.

[4] Важнейшая литература об Александровской колонне перечислена в комментариях к обоим изданиям дневника Пушкина — петроградскому (М.—Пгр., 1923, стр. 208) и московскому (М., 1923, стр. 478). Укажем дополнительно на книги, изданные ее строителем: Aug. de Montferrand. 1) Description de la colonne monumentale érigée à la mémoire d'Alexandre I. St.-Petersbourg, 1834; 2) Plan et détails du monument consacré à la mémoire de l'Empereur Alexandre I. Paris, 1836 (Folio); см. также основанную на них большую статью «Александровская колонна» в «Энциклопедическом лексиконе», издании А. Плюшара (т. I, СПб., 1835, стр. 480).

[5] Пушкинский Петербург. Под ред. Б. В. Томашевского. Л., 1949, стр. 288, 313—314. Акварель Г. Г. Гагарина «Постройка Александровской колонны» (1832) воспроизведена в «Литературном наследстве» (т. 58, М., 1952, стр. 127). О «прекрасном зрелище» поднятия колонны «менее чем в два часа» К. Я. Булгаков подробно писал брату в Москву 29 августа 1832 г. Любопытно, что на этой церемонии присутствовал также юноша Лермонтов, приехавший в Петербург как раз в это время для продолжения образования. Зрелище заставило его вспомнить о событиях 1812 г. и, по ассоциации, о высокой колокольне Ивана Великого в Кремле, также связанной с другими великими событиями его родины; так возникло стихотворение Лермонтова «Два великана», написанное в начале сентября 1832 г. (см.: Н. Л. Бродский. «Бородино» М. Ю. Лермонтова и его патриотические традиции. М.—Л., 1948, стр. 27).

шемуся истолковать стихотворение Пушкина как своего рода христианскую медитацию на темы из Горация, В. Ледницкий впадает в другую крайность, усматривая в «Памятнике» чуть ли не памфлет против Александра I, безусловно преувеличивая при этом значение «Александрийского столпа» как центрального образа стихотворения. В общей композиции произведения «Александрийский столп» играет, конечно, существенную роль, но, разумеется, не он определил пушкинский замысел в целом.[6]

Ряд самостоятельных наблюдений В. Ледницкого над текстом «Памятника» представляет интерес, но он извлекает из них тенденциозные выводы. Известно, например, что Александровская колонна проектировалась архитектором О. Монферраном по образцам колонны Траяна в Риме, а также воздвигнутой в 1806—1810 гг. в подражание последней Вандомской колонны (в честь Наполеона, на Вандомской площади в Париже), но превышает высотой и ту и другую, что неоднократно отмечалось в русской печати 30-х годов.[7] Отсюда едва ли, однако, можно извлечь какой-либо вывод, кроме объяснения, почему Жуковский заменил в пушкинском стихе «Александрийский столп» «Наполеоновым»: он имел в виду именно Вандомскую колонну (благодаря этой замене слова поэта о «непокорной» главе теряли свой одиозный по цензурным условиям смысл).[8] Но для Пушкина сопоставление этих колонн едва ли могло при создании «Памятника» иметь какое-либо значение, в особенности в смысле оценки посмертной славы обоих властителей, в честь которых они были установлены. Поэтому для объяснения возникновения «Памятника» совершенно бесполезно искать в творчестве Пушкина следы романтического культа Наполеона и противопоставлять его резко отрицательному отношению поэта к своему «гонителю» — Александру I. Между тем В. Ледницкий допускает, что Пушкин мог знать слова, якобы сказанные Александром I в апреле 1814 г., когда, после занятия Парижа союзными войсками, с Вандомской колонны снята была статуя Наполеона: «Боюсь, что у меня кружилась бы голова, если бы меня поставили так высоко».[9] В. Ледницкий приводит тут же длинную выдержку из рассуждения

---

[6] Подобный упрощенный подход к «Памятнику» встречается, однако, и в советской литературе. Так, например, Л. А. Медерский (Архитектурный облик пушкинского Петербурга. Л., 1949, стр. 34) пишет о Пушкине: «В стихотворении 1836 года поэт противопоставляет свой памятник — литературное наследие, которое он оставляет потомству, — Александровской колонне».

[7] Александровская колонна была тогда самой высокой в мире (47.5 м); колонна Траяна в Риме имела в высоту 44.5 м, Вандомская — 46 м. В статье «Энциклопедического лексикона» исчисления приведены в футах. См. также монографию: Н. П. Никитин. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л., 1939, стр. 243—244.

[8] См. выше, стр. 15—17.

[9] Н. К. Шильдер. Император Николай I, т. III. СПб., 1903, стр. 232.

К. Н. Батюшкова (в письме к Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 г.), внушенного ему созерцанием Вандомской колонны во время пребывания в Париже (кстати сказать, очень отрицательного к «повергнутому кумиру»), и прибегает к различным сопоставлениям отзывов Пушкина об Александре I разных лет, упоминая даже «спицу», на которой сидел в сказке Золотой петушок, — все для того, чтобы подчеркнуть, что «Памятник» возник под впечатлением открытия Александровской колонны и в силу крайне враждебного отношения поэта к славе покойного императора.

Идя по следам советских исследователей, В. Ледницкий уделил внимание той записи дневника Пушкина (от 28 ноября 1834 г.), в которой почти непосредственно после упоминания о церемонии открытия Александровской колонны рассказано о споре поэта с ямщиками на калужской дороге по поводу другого памятника, открытого 25 июня 1834 г. в с. Тарутине, в 80 верстах от Москвы. «В Тарутине, — пишет Пушкин, — пьяные ямщики чуть меня не убили. — Но я поставил на своем. — Какие мы разбойники? говорили мне они. Нам дана вольность, и поставлен столп нам в честь. Гр. Румянцева вообще не хвалят за его памятник — и уверяют, что церковь была бы приличнее. Я довольно с этим согласен. Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш даже еще не разберет».[10] Комментаторы дневника Пушкина разъяснили, что граф С. П. Румянцев, которому принадлежало село Тарутино, ходатайствовал, чтобы жившие в нем крестьяне были освобождены от крепостной зависимости при условии, если они за свой счет воздвигнут памятник в честь битвы, одержанной здесь Кутузовым над войсками Наполеона в октябре 1812 г., что и было разрешено. Запись Пушкина о Тарутинском памятнике, который он несомненно видел собственными глазами, вступая в спор о нем с тарутинскими ямщиками, показалась Д. П. Якубовичу «подозрительно смежной» со стоящими почти рядом строками об Александровской колонне, и он высказал догадку, что Пушкин будто бы искусно «маскировал» свое суждение об Александровской колонне, с тайным умыслом рассказывая здесь же свое приключение с ямщиками.[11] Эта догадка вызвала критические замечания Б. В. Казанского, с нашей точки зрения совершенно справедливые. «Неужели Якубович серьезно думает, что Пушкин не решился бы в своем дневнике написать открыто или хотя бы дать понять, что считает более полезным сооружение церкви и школы, чем памятника Александру I? — спрашивал Б. В. Казанский. — Не только в его дневнике, но и в письмах (которые — он знал — часто перлюстрировались) имеются гораздо более резкие и опасные суждения. К тому

[10] Дневник А. С. Пушкина 1833—1835. Под ред. и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского. М.—Пгр., 1923, стр. 21, 208.

[11] Д. П. Якубович. Дневник Пушкина. В сб.: Пушкин. 1834 год, изд. Пушкинского общества, Л., 1934, стр. 20—49.

же полный контекст опять-таки дает совершенно отчетливый и откровенный смысл». По мнению Б. В. Казанского, забавный анекдот с ямщиками «и вызвал рассуждение Пушкина о сравнительной пользе памятника для безграмотных мужиков. Но Пушкин вряд ли принципиально полагал, что и в Петербурге лучше сооружать церкви, чем памятники. Конечно, он не мог сочувствовать сооружению памятника в честь Александра, которого он считал дурным царем и притом своим гонителем, — он выразил это в своем „Памятнике". Но здесь такого сопоставления фактически нет».[12] Вопреки этим возражениям Б. В. Казанского, вполне разъясняющим ход мыслей Пушкина, В. Ледницкий, однако, поддержал точку зрения Д. П. Якубовича и к его допущениям, отличающимся явными натяжками, добавил собственное наблюдение: ему кажется не случайным, что в своей дневниковой записи Пушкин играет словами «колонна» и «столп»; впоследствии будто бы Пушкин вспомнил свою запись и применил слово «столп» к Александровской колонне.[13]

В такой догадке, однако, нет решительно никакой необходимости. В записи дневника поэта ямщики называют «столпом» Тарутинскую колонну: очевидно, для Пушкина это древнее слово, давно утратившее в общенародном русском языке свою связь с церковно-славянской лексикой, представлялось более уместным в речи ямщика, чем книжный варваризм более нового происхождения («колонна»). С другой стороны, в русском литературном языке в пушкинское время слово «столп» звучало уже как архаическое, риторическое, отзывавшееся одической традицией XVIII в., и его нужно рассматривать в «Памятнике» в общей системе эмоционально приподнятой архаической лексики, с тонким артистическим расчетом примененной поэтом в этом стихотворении; никакого пренебрежительного или иронического оттенка слово «столп» здесь не имеет. Стилистическая многозначность слова «столп» была Пушкину отчетливо известна, и он пользовался словом неоднократно в произведениях разной стилистической структуры.[14]

---

[12] Б. В. Казанский. Дневник Пушкина. (По поводу интерпретации Д. П. Якубовича). В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 1, М.—Л., 1936, стр. 277.

[13] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., p. 91.

[14] Например, в стихотворении «Перед гробницею святой» (1831), посвященном герою 1812 г. М. И. Голенищеву-Кутузову:

....одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады

(III, 1, 267)

Любопытно, что в «Современнике» (1836, т. IV, стр. 247) слово «столпов» напечатано с ошибкой — «столбов»; в автографе же Пушкина ясно читается «столпов». Ср.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, стр. 26.

В значении «памятника», «монумента» и в полном соответствии с «высокой» лексикой торжественных од XVIII в. Пушкин употребил его в стихотворении 1814 г. «Воспоминание в Царском Селе», имея в виду памятник в честь Кагульской победы:

Вкруг грозного столпа трикраты обвились
и т. д.
(I, 79)

В стихотворении 1829 г. («Воспоминание в Царском Селе») читаем:

...Ее любимые сады
Стоят, населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

И далее:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.
(III, 189, 771, 1194)

То же слово, но в значении, близком к общеупотребительному фонетическому его варианту (столб), мы находим в «Евгении Онегине»:

Пошел! Уже столпы заставы
Белеют. Вот уж по Тверской
и т. д.[15]
(VII, 38)

Характеризуя русскую одическую поэзию XVIII в., Л. В. Пумпянский подчеркивал, что ее постоянными темами были «дворец, здание, столп, памятник, статуя»; обращение Пушкина к этой тематике и широкое пользование «архитектурным и статуарным словарем» Л. В. Пумпянский объяснял воздействием на Пушкина поэтики Державина: «Державин всегда любил архитектурный словарь, но около 1791—1795 гг. пирамиды, обелиски, столпы, чертоги, кумиры становятся положительно сигнатурой его образов. Традиция эта дошла до Пушкина и усвоена им».[16]

---

[15] П. Я. Черных (Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник». «Русский язык в школе», 1949, № 3, стр. 35) приводит эту цитату из «Евгения Онегина» в качестве примера употребления Пушкиным слова «столп» «в несколько сниженном» значении; отметим, что не только столбы заставы, но и верстовые столбы вблизи столиц и больших городов по своему архитектурному оформлению походили на памятники: они имели форму обелиска с широким четырехугольным основанием, а иногда увенчивались двуглавым орлом; такую форму они имели, например, между Петербургом и Царским Селом. Другие примеры частого употребления слова «столп» в разных значениях см.: Словарь языка Пушкина, т. IV. М., 1961, стр. 378.

[16] Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5.

К этому можно добавить, что при Пушкине еще было живым типичное для русской культуры XVIII в. увлечение «памятными» и «триумфальными» столпами всякого рода,[17] — их продолжали устанавливать всюду; Пушкин несомненно видел множество подобных памятников и хорошо знал связанную с ними традиционную символику, объяснявшуюся в специальных русских печатных книгах еще с начала XVIII столетия.

В книге петровского времени «Символы и Емблемата» (1717) есть несколько гравированных картин, изображающих столпы, с относящимися к ним краткими толкованиями на десяти языках; на одной из них изображена, например, колонна, а на ней корона: «Een kroon op en pylaar»; русская подпись гласит: «подперта честию»; в другом варианте на столпе разместилось увенчанное короной сердце.[18] Подобные изображения повторялись в XVIII в. много раз в учебных руководствах по «емблематическому» языку для художников и поэтов и постепенно утвердили традицию понимания «столпа» как эмблемы самодержавия. В 20-е годы декабристская традиция переосмыслила этот символ, снизив одическое слово «столп» до просторечного «столб» и сочиняя эпиграммы и пародические надписи к картинкам, подобным вышеуказанным, где «столб» вместо ожидаемого «столпа» становился опорным словом издевки. Так, например, еще в конце 1819 г. в Петербурге была распространена эпиграмма, сочинение которой молва приписывала М. В. Милонову. Записавший ее в своем дневнике В. Н. Каразин отметил, что она «сделана на Сенат или на вывеску гг. сенаторов в комиссии законов»:

Какой тут правды ждать
В святилище закона!
Закон прибит к столбу,
И на столбе корона.[19]

Известна эпиграмма и в другой редакции, в которой она долго приписывалась Пушкину:

М.—Л., 1939, стр. 109—110. См. также: С. Дурылин. Отражение архитектуры в поэзии Пушкина. «Архитектура СССР», 1937, № 3, стр. 33—37.

[17] Одним из ранних сооружений этого рода должен был быть так называемый «Триумфальный столп», намечавшийся к сооружению в Петербурге в 1720—1730-х годах в ознаменование славных побед русской армии и флота: на цилиндрах колонны предполагалось поместить барельефы с изображением знаменитых баталий, а увенчать колонну должна была скульптура Петра I. Реконструкция этого «столпа» экспонирована в Круглом зале Гос. Эрмитажа в Ленинграде (см.: Государственный Эрмитаж. Русская культура XVIII века. М., 1955, стр. 23).

[18] Символы и Емблемата. СПб., 1717, стр. 22—23 (№ 65), 158—159 (№ 470).

[19] В. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 174.

В России нет закона.
В России — столб стоит,
А на столбе корона.[20]

Пользуясь тонким стилистическим различием между «столпом» и «столбом», современники Пушкина пародически снижали также устойчивое словосочетание «столп отечества». В. Ф. Раевский в сатирическом стихотворении 1817—1820 гг. писал:

И наши знатные отечества столбы
О Марсовых делах с восторгом рассуждают.[21]

«У нас столбы государства ни мало не заботятся о пользе России, а думают об интригах... Жаль бедную Россию», — писал А. Закревский П. Киселеву 16 апреля 1829 г.[22]

В 30-е годы сатирическое переосмысление старой символики (монарх—столб) встречалось также во французских политических карикатурах.[23] Еще десятилетие спустя, на допросе петрашевцев, одному из обвинявшихся, Ф. Г. Толю, следственная комиссия предлагала такой вопрос: «Известно по рассказу вашему, что профессор С.-Петербургского университета Порошин, разбирая характеристику памятников, сказал с университетской кафедры про Александровскую колонну, что это столб столба столбу. Сделайте об этом объяснение». Ф. Г. Толю пришлось поневоле уклониться от истолкования этих «дерзких» слов, смысл которых и так был совершенно ясен.[24]

Возможно, что и до Пушкина доходили подобные откровенные речи о «столпах» вообще и об Александровской колонне в частности,[25] но он во всяком случае знал о той подозритель-

---

[20] В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, стр. 138.

[21] В. Г. Базанов. В. Ф. Раевский. Л., 1949, стр. 156; Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949 (Ульяновский гос. педагогический институт), стр. 283; Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. II. М., 1951, стр. 356.

[22] Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне в реформе П. Д. Киселева, т. I. М.—Л., 1946, стр. 84.

[23] Н. М. Калитина. Политическая карикатура Франции 30-х годов XIX в. Л., 1955, стр. 31.

[24] Дело петрашевцев, т. II. М.—Л., 1941, стр. 193.

[25] В 1837 г. юный Владимир Философов, пылкий почитатель декабриста А. А. Бестужева, записал в своем дневнике при получении известия о его гибели: «Я верю, что рано или поздно кровь праведника возопиет о мщении ... на развалинах самодержавной власти воздвигнется сильное и цветущее здание, и на месте Александровской колонны благодарное потомство воздвигнет памятник Бестужевым и другим жертвам 14-го числа» (А. Яцевич. Пушкинский Петербург. Л., 1935, стр. 161). Характерно, что среди ранних незрелых стихотворных опытов юноши И. С. Тургенева сохранились патриотические вирши одического характера, посвященные открытию Александровской колонны и, вероятно, связанные с чтением очерка В. А. Жуковского

ности, с какой в бюрократических и цензурных сферах относились ко всяким проявлениям неуважения или сочувствия к русским и зарубежным памятникам государственного значения и их «эмблематическому» смыслу. В 1832 г. главное управление цензуры запретило статью «Обелиск», предназначенную для журнала «Северный Меркурий», так как в ней говорилось о памятнике, воздвигнутом неизвестно где и по неизвестному поводу: «Может быть, — писал в своем решении цензурный комитет, — сочинитель разумеет под оным какой-либо обелиск во Франции, в память последних переворотов; в таком случае подлежит запрещению на том основании, на каком начальство признало непозволительными стихи Казимира Делавиня».[26] Пушкину слишком хорошо была известна история с этими непозволительными стихами, так как она близко его коснулась. Речь идет о напечатанном в «Литературной газете» французском четверостишии К. Делавиня, предназначавшемся для памятника, который предполагалось воздвигнуть в Париже в память о жертвах июльской революции. Возникло громкое цензурное дело. Как известно, Дельвигу было запрещено издание «Литературной газеты», и он был вызван к Бенкендорфу для грубого начальственного окрика и угроз. А. И. Дельвиг записал в своих мемуарах, якобы Бенкендорф сказал при этом, что он «троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского — уж упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь»; вся эта история, по Дельвигу, и ускорила гибель поэта.[27]

Таким образом, предположения, что «Памятник» Пушкина возник из «чувствований», которые поэт питал к Александру I,[28] хотя

«Воспоминания о торжестве 30 августа» («Северная пчела», 1834, № 202, 8 сентября):

> Сей памятник огромный, горделивый
> Благословенному поставлен был,
> И Николая век счастливый
> Собою сам ознаменил.
>
> Из недра скал гранитных преогромных
> Рукою мощной он исторгнут был,
> Затем, чтоб Александра незабвенных
> Он дел позднейшему потомству вспомянил
> и т. д.

(И. С. Тургенев, Сочинения, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 321, 594). Однако в конце 40-х годов И. С. Тургеневу была близка та самая игра значениями слов «столп» и «столб», к которой прибегали петрашевцы. В рассказе «Гамлет Щигровского уезда» герой говорит: «А! вот и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает — чудеса! .. А, впрочем, на что ему знать дело-то; лишь бы взятки брал, да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян».

[26] «Русская старина», 1903, № 2, стр. 310.

[27] А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания, т. I. Л., 1930, стр. 155.

[28] W. Lednicki. Bits of Table Talk. .., pp. 94—95, 105.

и зашифрованных, что важнейшим поводом для создания стихотворения явилось будто бы его желание противопоставить славу своего имени и творческих деяний, которые он завещает потомкам, официальным славословиям и восхвалениям покойного императора по случаю торжественного открытия колонны в его честь, весьма далеки от истины и отличаются явными преувеличениями.[29]

---

[29] Отметим весьма верноподданническое стихотворение В. Романовского «Петербург с Адмиралтейской башни» в «Современнике» (1837, т. V. стр. 287—293) — первой книге журнала, вышедшей после смерти Пушкина, некоторые материалы которой были ему известны в рукописях. В этом стихотворении упомянуты Александровская колонна и Зимний дворец, наблюдаемые с высоты:

> Все точно сплюснулось, осело
> И как под крышею одной!
> Исчезли зданья-исполины,
> Чертоги знати, богачей!..
> Лишь царский памятник единый
> Да вековой дворец царей
> Возносят величаво с ними
> Главы к лазурным высотам,
> И царствуют над небесами
> Одни, — как следует царям
> и т. д.

В следующем году в поэтическом сборнике М. Маркова «Мечты и были» (ч. I, СПб., 1838, стр. 11—14) напечатано большое, но нескладное стихотворение «Открытие памятника императору Александру I» (1834). Характерно, что оно обращено к царствующему императору, а не к тому, в честь которого воздвигалась колонна; здесь, в частности, есть следующие стихи:

> По-русски брата царь прославил:
> Из недр земли он взял скалу
> И пред дворцом своим поставил.
> Веков губительную мглу
> Минет планеты сей обломок!
> Я зрю, как поздний мой потомок
> Стоит, невольно поражен,
> Гиганта взором измеряя, —
> И тихо имя Николая
> С благоговеньем шепчет он
> и т. д.

Отметим еще сонет С. Стромилова «Александровская колонна», напечатанный в ставшем редкостью стихотворном сборнике этого автора — «XII сонетов» (М., 1837, стр. 13—14; цензурное разрешение на выпуск этой брошюры было дано 13 ноября 1835 г.). Начинается он так:

> Смотри — вот сверстник мирозданья;
> Вот он, чудовищный гранит;
> Страны отверженной созданье,
> Скал Питерлакских прозелит.
>
> Взгляни, как он своей вершиной
> Прорвался к небу на простор

В частности, не может быть названа удачной и сколько-нибудь убедительной попытка Ледницкого доказать, что скрытые намеки на Александра I могут быть обнаружены не только в первой строфе «Памятника», но и во всех остальных, не исключая и пятой, заключительной: исследователь произвольно и некритически комбинирует разновременные факты из жизни и творчества Пушкина, создавая из его стихотворных строк искусственные, призрачные построения, не имеющие никакой твердой опоры в действительности.

Таковы, например, представляемые В. Ледницким «новые аргументы» для понимания «скрытого смысла последнего четверостишия» «Памятника», о котором, по его мнению, не догадывались ни современники Пушкина, ни его критики за целое столетие, протекшее со дня смерти поэта.[30] Едва ли кто-либо серьезно решится утверждать, что в последнем стихе «Памятника» — «И не оспоривай глупца» — содержится намек на Александра I. Между тем В. Ледницкий его находит и пытается вскрыть путем сопоставления этого стиха с рядом других — пушкинских и непушкинских — стихотворных строк и мемуарных свидетельств. Наиболее близкой параллелью к стиху «Памятника» о глупце В. Ледницкому представляются строки из стихотворного послания Пушкина к Н. И. Гнедичу (при письме из Кишинева от 24 марта 1821 г.), в котором, сопоставляя свою судьбу изгнанника с участью Овидия и прозрачно называя своего гонителя «Октавием» (Августом), Пушкин признается:

Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца.
(II, 170)

Чтобы подтвердить, что в «Памятнике» идет речь не просто о «глупце», но именно о «царственном глупце», В. Ледницкий ссылается даже на лицейскую эпиграмму, если не принадлежащую Пушкину, то ему известную: «Двум А. П.» (Александрам Павловичам), построенную на сопоставлении царя с «лихим

И за туманною пучиной
Отважно грудь его подпер
и т. д.

(Попутно укажем, что XI сонет этого же сборника озаглавлен «Пушкин» и содержит в себе цитату из VII главы «Евгения Онегина» и что юноша Пушкин упомянут еще в сонете III «Царское Село»). О стихотворении В. Р. Зотова «Две колонны» (СПб., 1841) уже упомянуто было выше (стр. 15—17).

[30] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., p. 105.

Зерновым» — помощником гувернера в Царскосельском лицее, где имеются следующие слова:

Зернов! Хромаешь ты ногой,
Р‹оманов› головою.[31]

В. Ледницкому представляется знаменательным даже то обстоятельство, что стих «И не оспоривай глупца», заключающий все стихотворение энергичной мужской рифмой, соотносится будто бы с аналогичным по своей метрической модуляции заключительным стихом первой строфы — «Александрийского столпа» («concours with the metrical cadence of Aleksandrijskogo stolpa») и что, кстати сказать, слово «столп (столб)» на псковском наречии означает «дурак».[32] Все это, конечно, чистая фантастика, как и попутное указание В. Ледницкого, что в стихотворении Пушкина «К Овидию» (1821) находятся мотивы, общие с «Памятником».[33]

Для спасения своей рискованной гипотезы В. Ледницкий пытается поддержать также старую, давно отброшенную догадку П. О. Морозова, утверждавшего, что в стихе «Что чувства добрые я лирой пробуждал» Пушкин вспомнил слова, которые Александр I поручил передать поэту после прочтения его «Деревни», — благодарность «за добрые чувства, внушенные его поэзией» («pour les bons sentiments que ses vers insprirent»).[34]

---

[31] См. статьи Н. В. Измайлова «Политическая эпиграмма лицейской эпохи» (Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, М.—Пгр., 1923, стр. 13—23) и «Новый сборник лицейских стихотворений» (Сборник Пушкинского дома на 1923 год, Пб., 1922, стр. 75).

[32] Ссылка В. Ледницкого на «Толковый словарь» В. Даля (т. IV, СПб., 1903, стр. 544) с мотивировкой, что «Пушкин, который провел столько времени в Михайловском и, как мы знаем, изучал местное народное наречие, безусловно знал псковское столб—дурак», основана на простом недоразумении. В авторском издании «Толкового словаря» этого слова нет; оно внесено в издание 1903 г. его редактором, скорее всего по аналогии со словом «остолоп» (встречающимся у Пушкина только в форме собственного имени). Во втором издании «Толкового словаря» (1882), «исправленном и значительно умноженном по рукописи автора», приводятся лишь в качестве псковских диалектальных слов «столпень, столпенюк, столпенюга» (т. IV, стр. 328), которые имеют столь же малое отношение к «столпу» пушкинского «Памятника», как и «столб».

[33] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., p. 101. Достаточно напомнить, что в этом стихотворении, противопоставляя себя Овидию и говоря о его громкой славе, Пушкин писал, имея в виду свою судьбу:

Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнию, с минутною молвой...

(II, 220)

[34] Пушкин. Сборник первый. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 51, прим.

М. А. Цявловский в специальной статье разъяснил происхождение этого анекдота, «изложенного в печати не один раз и несколькими лицами», и установил, между прочим, что ни в одной версии слова государя, сказанные Васильчикову, не являются текстуально близкими к пушкинскому стиху (речь шла не о «добрых чувствах», а о «благородных чувствах» — «nobles sentiments» или о «чувствах вообще» — «tous sentiments»).[35]

Сопоставление отдельных строк или даже слов «Памятника» с наудачу выбранными строками из ранней политической лирики Пушкина смещает историческую перспективу и зачеркивает вопрос об эволюции его политических воззрений. По новейшим исследованиям, нет никакой необходимости связывать строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», поскольку в 1836 г. Пушкин не мог придавать значения своим юношеским нелегальным одам.[36]

Исторической ошибкой является и всякая попытка усматривать в «Памятнике» якобы искусно скрытые поэтом намеки на Александра I, и только на него одного. «Памятник» создан в условиях, резко отличных от тех, в которых прошла мятежная юность поэта; впечатления от Александра I были заслонены более близкими и гораздо более сложными отношениями поэта с другим «венценосцем», да и сам поэт был другим человеком, умудренным опытом жизни и более зрело прозревавшим в будущее. Именно это В. Ледницкий и упустил из виду.

Впрочем, В. Ледницкий делает одну оговорку. «Памятник», говорит он, «сосредоточен вокруг двух тем. Одна из них — это тема Ювенала и Горация: неистребимая слава поэта ... С этой точки зрения, „Памятник" относится к пушкинской ars poetica, — к целому ряду стихотворений, в которых Пушкин выразил свои взгляды на поэта и поэзию».[37] Это замечание дает исследователю повод еще раз, идя по следам старых русских исследователей и А. Грегуара, пересмотреть вопрос об отношении «Памятника» к его литературным образцам — Горацию и Державину. Необходимо, однако, подчеркнуть, что и в этом вопросе, занимающем подчиненное положение в его общем истолковании произведения Пушкина, В. Ледницкий допустил ненужные гипотезы, отвлекающие читателя от правильного пути, по которому необходимо было следовать; тем не менее некоторые из его догадок нашли сторонников среди зарубежных ученых.

---

[35] М. А. Цявловский. Представление «Деревни» Пушкина Александру I. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, М.—Л., 1958, стр. 382—384 (вошло в его книгу: Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 365—368).

[36] Подробнее см.: «Научный ежегодник Саратовского гос. университета», Саратов, 1955, стр. 154.

[37] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., p. 97.

Уже А. Грегуар в упомянутой выше статье о Горации и Пушкине, характеризуя соотношения, в которых находятся между собой стихотворение Пушкина, «Памятник» Державина и «Exegi monumentum» Горация, обращал внимание на то, что Пушкин в ряде стихов ближе следует Горацию, чем Державину, и с полным основанием усматривал в этом свидетельство непосредственного знакомства Пушкина с латинским текстом оды «К Мельпомене». По поводу третьей строфы Пушкина («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») Грегуар замечал, что хотя она явно навеяна Державиным, но Пушкин перечисляет народы, которые будут повторять его имя, тогда как Державин просто говорит о «народах неисчетных».[38] В дополнение к этому замечанию бельгийского филолога и следуя давней русской комментаторской традиции, В. Ледницкий напомнил о другой оде Державина — «Лебедь» (1804), также восходящей к Горацию (II, 20), в которой пределы славы поэта обозначены в русской географической номенклатуре и где дается перечень самих народов:

С Курильских островов до Буга,
От Белых до Каспийских вод,

---

[38] H. Gregoire. Horace et Pouchkine. «Les études classiques», 1937, vol. VI, № 4, p. 528. Не имевший возможности пользоваться транскрипцией рукописей Пушкина, А. Грегуар не знал, что Пушкин написал первоначально «Слух пройдет обо мне», как у Державина, но затем изменил это полустишие из-за архаической акцентуации слова «пройдет»; самый же перечень территорий у Державина построен по «гидрографическому» принципу Горация:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал
и т. д.

Отметим, кстати, что в статье «Пушкин и римская литература» покойный оксфордский исследователь Д. П. Костелло, говоря о сильном воздействии на Пушкина поэзии Овидия, в частности, утверждал, что в стихе 9-м пушкинского «Памятника» («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») можно было бы усмотреть подражание стиху Овидия из его «Тристий» (IV, IX, 19: «Nostra per immensas ibunt praeconia gentes»), «если бы мы не знали, что на самом деле пушкинская строка была лишь переделкой державинской» (D. P. Costello. Pushkin and Roman literature. «Oxford Slavonic papers», vol. XI, 1964, p. 55). К этому, впрочем, можно добавить, что сам Овидий испытал влияние Горация и даже подражал его «Exegi monumentum» в одном месте своих «Метаморфоз» (XV, 871 и сл.). Латинский текст этих стихов Овидия, а также русский их перевод (правда, без сопоставления с одой Горация) были приведены в статье об Овидии в московском университетском издании начала XIX в.:

Iamque opus exegi, quod nec Jovis ira, nec ignes,
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas,

т. е. «Я привел уже к концу такое дело, которого разрушить ничто не может: ни гнев Юпитера, ни пламя, ни меч, ни едкость всепоглощающего времени» (см.: «Минерва. Журнал российской и иностранной словесности», 1807, ч. V, № 20, стр. 39—40).

Народы, света с полукруга,
Составившие россов род,
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь
и т. д.

Это и могло вдохновить Пушкина на аналогичное перечисление, но вместо архаических наименований Державина он перечислил реальные народы, известные в его время, воспользовавшись тем же принципом протяженности их на огромной территории и удаленности друг от друга по географической карте России.[39] Что касается «руссификации» перечня Горация («litora Bospori Syrtesque ... Rhodanique potor»), то Державин имел предшественников. Тот же прием, как указывает В. Ледницкий, встречается у польского поэта-гуманиста XVI в. Яна Кохановского, одна из песен которого (XXIV песня 1-й книги; первое издание вышло в Кракове в 1586 г.), созданная в подражание той же оде Горация (II, 20), дает аналогичный перечень с модернизованными географическими наименованиями, в соответствии с горизонтами того времени. Представляя себя, подобно Горацию, в виде лебедя, в которого он превратится после смерти, парящего над необозримыми просторами, Кохановский пишет:

Я берег навещу шумящего Босфора
. . . .
Я навещу поля, где власть снегов жива;
Узнают обо мне татары и Москва,
И житель Англии, тот сын иного света,
Испанец иль тевтон, и люди, что у ног
Своих из Тибра пьют глубоких струй поток
и т. д.[40]

В. Ледницкий не утверждает, что Державин или Пушкин знали эту песню Я. Кохановского, — он не располагает никакими свидетельствами по этому поводу, — но все же обращает внимание на существующее якобы сходство между утверждением Державина в его «Памятнике»:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить
и т. д.

и стихами Кохановского из «Вступления» к его «Псалмам Давида» (которое перевел еще Семен Полоцкий, вдохновлявшийся

---

[39] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., pp. 103—104.
[40] Там же, стр. 104. Цит. по русскому переводу С. Свяцкого в кн.: Ян Кохановский, Избранные произведения, издание подготовил С. С. Советов, М.—Л., 1960 (серия «Литературные памятники»), стр. 77.

и самыми «Псалмами» Кохановского для своей «Рифмотворной псалтыри»):

> Я стал соперничать с известными певцами,
> И я достиг скалы прекрасной Каллиопы,
> Где польских пришлецов еще не знали тропы.[41]

Все эти сопоставления основаны на явном недоразумении, потому что они не учитывают судьбу лирики Горация в европейских литературах XVI—XIX вв., в том числе и в русской, как до, так и после Державина. Широко известно, что именно те оды Горация (II, 20; III, 30), которым подражали и Кохановский, и Державин, отозвались также во множестве других произведений на всех европейских языках. «Общим местом» поэзии французской, английской, немецкой со времени Возрождения сделался также географический и этнографический перечень народов и стран, о которых объявляет поэт, вдохновенно прорицающий о своей будущей славе. В. Ледницкий в дополнение к Кохановскому в примечании, мимоходом, вспомнил только о Ронсаре с его «Одой по случаю возвращения из Гаскони», где, задумываясь о будущих ценителях своих стихов, Ронсар называет Испанию, Италию и те земли, «в которых пьют из Рейна и Темзы».[42] Но еще более близкие параллели к аналогичному мотиву у Кохановского можно было бы извлечь, оставаясь в пределах той же эпохи Возрождения, из произведений Жоакена дю Белле и других поэтов «Плеяды».[43] Позднее такие же сплавы горацианских мотивов, в которых то ярче, то менее явственно проявляются местные, национальные краски, в изобилии можно найти у французских и немецких поэтов XVII—XVIII вв., притом с устойчивой мотивировкой: «я первый в своей стране...» и т. д. (вариации в определении самой заслуги разнообразны, то приближаясь к формуле Горация, то отдаляясь от нее). Поэтому стих Державина «Что первый я дерзнул в забавном русском слоге...» опирается на внушительную европейскую поэтическую традицию; это совершенно обесценивает параллельную цитату из «Вступления» к «Псалмам» Кохановского, да и все рассуждение В. Ледницкого о Кохановском как о предшественнике Державина и Пушкина.

Однако апелляция к прославленному польскому поэту оказалась необходимой В. Ледницкому для другой цели. В «Приложении» к своей статье, резюмируя обсуждения, которым подверглась его статья после первой ее публикации в «Harvard Slavic Studies»,

---

[41] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., p. 104; Ян Кохановский, Избранные произведения, стр. 109.

[42] Ed. Stemplinger. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance. Leipzig, 1906, SS. 286—287.

[43] Там же, стр. 286. Подробнее см.: Ed. Stemplinger. Du Bellay und Horaz. «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 1904, Bd. 113, S. 80.

В. Ледницкий возвратился к основному тезису своей работы — о том определяющем значении, которое имела для Пушкина при создании «Памятника» «Александровская колонна». Еще раз обращая внимание на пушкинские стихи:

> И назовет меня всяк сущий в ней язык,
> И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой
> Тунгуз, и друг степей калмык,

В. Ледницкий пытается глубже вдуматься в этот этнографический перечень. По его мнению, намерение Пушкина при выборе наименований народов для этого перечня заключалось прежде всего в том, чтобы очертить дальние пределы всех четырех климатов, или географических зон, современной ему России — Запад (гордый внук славян), Север (финн), Восток (тунгуз) и Юг (калмык), и что, следуя этой схеме, под «гордым внуком славян» следует понимать поляка.[44]

Было бы чрезвычайно затруднительно привести достаточные основания для подтверждения этой догадки, наталкивающейся на многочисленные противоречия. В. Ледницкому известно лишь одно, весьма правдоподобное предположение, почему в перечень попал эвенк, или «тунгуз» — по тогдашнему словоупотреблению. Ю. Н. Тынянов уже давно указал на то, что это явилось следствием письма, полученного Пушкиным от В. К. Кюхельбекера из Баргузина (в Забайкалье) от 12 февраля 1836 г., в котором Кюхельбекер «много толкует о бурятах и тунгусах, романтически останавливаясь на дикости последних»; но Пушкин, замечает далее Ю. Н. Тынянов, «вносит поправку в первоначальные впечатления Кюхельбекера: он пишет „ныне дикой“ и говорит о будущем развитии».[45] Относительно же других народов, стоящих в том же списке, аналогичные догадки не высказывались, да и едва ли могли быть предложены; обследование черновика третьей строфы «Памятника», произведенное Д. П. Якубовичем, подтвердило лишь колебания Пушкина в выборе этих наименований: в вариантах зачеркнутых строк фигурировали первоначально также народы Кавказа, затем исчезнувшие из окончательного текста, скорее всего по соображениям метрическим или эвфоническим.[46] Ранее Е. И. Боричевский в своем «опыте толкования» «Памятника» утверждал, что будто бы «в этом перечислении поэт делает особое ударение на народах, не причастных еще к культуре. Он на-

---

[44] W. Lednicki. Bits of Table Talk..., pp. 107—108. Эта догадка, как указывает Ледницкий, принадлежит П. А. Будбергу, принимавшему участие в обсуждении его статьи.

[45] Ю. Н. Тынянов. В. К. Кюхельбекер. В кн.: В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Л., 1939, стр. LXXIV—LXXV.

[46] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 3, М.—Л., 1937, стр. 4—5.

деется, что в грядущий час своего культурного пробуждения они узнают и произнесут его имя».[47] Если принять это обобщение, то из списка придется исключить «гордого внука славян», как бы мы ни пытались его истолковать. Напомним, наконец, что «гордый славянин» назван в отрывках из «Путешествия Онегина» при описании Одессы и южной разноплеменной толпы на ее улицах, где все «пестреет разнообразностью живой»:

Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдован тяжелый
и т. д.

В этом контексте под «гордым славянином» Пушкин имел в виду, конечно, не поляков, но представителей южного славянства, соотечественников Амалии Ризнич, в географической терминологии поэта, впрочем, относившихся — в соответствии с политической картой того времени — к западной, а не к южной ветви славян (ср. «Песни западных славян»).

Тайное намерение поэта, которое пытается разгадать В. Ледницкий, представляется нам более простым и естественным. Не забудем, что Пушкин говорит о «всей Руси великой», мечтая о том времени, когда каждый из народов, живущих на относящейся к ней государственной территории («всяк сущий в ней язык»), назовет его имя; было бы поистине странно считать, что, задумываясь о грядущей славе своей на родине, Пушкин мог не упомянуть о русском народе и о своих будущих русских читателях, как о таких «просвещенных потомках», которые станут гордиться его именем прежде других, разноплеменных. Едва ли подлежит сомнению, что именно ближайшие поколения русских ценителей своей поэзии Пушкин и имеет в виду, говоря о «гордом внуке славян», стоящем на первом месте в ряду названных им народов. Напрасно было бы искать в этом перечне какую-либо особую таинственную закономерность или скрытый умысел, помимо того явного, какой есть в нем в действительности — дать краткую, поэтически обобщенную характеристику просторов родной земли, во все дальние концы которой, к многоплеменным народам различного культурного уровня, донесется слух о русском поэте. Современники Пушкина не могли понять его иначе. Этнографизм и широта историко-географических горизонтов составляли приметную особенность не только творчества Пушкина, но и русской литературы его времени: географические и этнографические обозрения нередко делались тогда и в прозе и в стихах, составляя традиционную тему; закономерность сопоставлений этого рода для поэтов-

---

[47] Е. И. Боричевский. «Памятник» Пушкина. «Труды Белорусского гос. университета», 1925, т. VI—VII, стр. 46.

романтиков пытался обосновать, например, О. Сомов, ссылаясь на особую «живописность» разнообразных национально-этнографических материалов, которые могут быть доступны заинтересованному наблюдателю. «Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляется испытующему взору в одном объеме России совокупной!», — восклицает он. «Не говоря уже о собственно русских», он, следуя по географической карте, называет народы. достойные внимания поэтов: «...окинем взором края России, обитаемые поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями древней Колхиды, потомками переселенцев, видевших изгнание Овидия, остатками походов грозных России татар, многоразличными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапонцами и самоедами».[48] Отсюда естественна мысль, что поэт, увидевший их и отразивший их разноплеменную жизнь в своем творчестве, имеет также права на признание их потомками.

Поэтому, с нашей точки зрения, едва ли у В. Ледницкого была необходимость для обоснования сомнительной догадки, что под «гордым внуком славян» Пушкин будто бы имел в виду представителя польского народа, возвращаться вновь к Александровской колонне и высказывать еще одну, столь же шаткую гипотезу относительно существующей якобы связи между последними

---

[48] Орест Сомов. О романтической поэзии. Опыт в трех статьях. СПб., 1823, стр. 86. Подобные «этнографические перечни» были распространены в русской поэзии конца XVIII в.; встречаются они, например, у Державина. Ф. П. Львов в книге «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице, Е. Н. Львовой, в 1809 году» (эта книга была в библиотеке Пушкина) по поводу оды «Изображение Фелицы» (1789), где перечислены разноплеменные «народы, Россию составившие, которые постепенно под российской державою из кочующих сделались пахарями», замечает, в частности, о стихах «чтоб дики люди, отдаленны» и т. д.: «сим изображается созыв всех народов Российской империи, от коих были присланы депутаты, от каждой области по 2 человека, даже из самых отдаленнейших краев Сибири, как-то: камчадалы, тунгузы, калмыки и проч.» (Ф. П. Львов. Объяснения на сочинения Державина..., ч. II. СПб., 1834, стр. 19; речь, таким образом, идет о Комиссии для составления нового Уложения, имевшей значение для роста этнографических знаний в тогдашней России). И. И. Дмитриев в одной из своих воинственных од («Глас патриота на взятие Варшавы», 1794), удивляясь военному могуществу России при Екатерине II («Страшна твоя, царица, власть!»), восклицал:

Речешь — и двигнется полсвета!
Различный образ и язык:
Тавридец, чтитель Магомета,
Поклонник идолов калмык,
Башкирец с меткими стрелами,
С булатной саблею черкес,
Ударят с шумом вслед за нами
И прах поднимут до небес!..

(Ив. Дмитриев, Сочинения, т. I, М., 1803, стр. 28—29).

строфами «Памятника» Пушкина и теми барельефами, которые помещены на пьедестале этой колонны.

Основанием для данной гипотезы явилось то обстоятельство, что на этих барельефах между прочим изображены аллегорические фигуры двух «польских» рек — Немана и Вислы. Правда, В. Ледницкий сожалел, что для него остались недоступны описания этих барельефов, принадлежащие О. Монферрану, по рисункам которого они и выполнялись, и что ему пришлось воспользоваться поздними и недостаточно подробными описаниями их, приведенными в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза—Ефрона.[49] Однако обращение к собственным пояснениям О. Монферрана не улучшает дела, поскольку связь стихов Пушкина с сюжетами этих барельефов остается все же более чем проблематической.

Всех барельефов четыре, и композиция их состоит из аллегорических фигур и воинских доспехов. На стороне пьедестала, обращенной к Зимнему дворцу, в верхней части барельефа помещены две летящие женские фигуры; внизу в красивых орнаментальных сочетаниях расположено вперемежку римское и русское оружие; последнее, по свидетельству Монферрана, — «в самых точных снимках с тех образцов, которые хранятся в Оружейной палате»; среди них, например, выделяются шлем Александра Невского, броня царя Алексея Михайловича, шлем Ермака и даже щит Олега, «прибитый им к стенам Царьграда».[50] Таким образом, это доспехи русской воинской славы, исторические воспоминания о походах и знаменитых победах русского оружия. «Справа и слева от воинских доспехов полулежат две фигуры: справа — Неман в виде старика-водолея и слева — Висла в изображении молодой женщины, облокотившейся на урну, из которой льется вода».[51] Это — воспоминание недавнего времени о заграничных походах русских армий Александра I 1812—1814 гг., которым, по естественным причинам, уделяется особое внимание в остальных барельефах. Никакого другого аллегорического смысла фигуры Немана и Вислы в себе не заключают, и было бы безнадежным делом ставить их в какую-либо связь с теми или другими стихами пушкинского «Памятника». Между тем В. Ледницкий в заключение цитирует надпись, украшающую колонну: «Александру I — благодарная Россия», и замечает: «На это поэт ответил: „Слух обо мне пройдет по всей Руси великой“».[52]

Все эти построения представляются нам искусственными, натянутыми, тенденциозными; тем не менее они привлекли к себе вни-

---

[49] Энциклопедический словарь Брокгауза—Ефрона, т. I. СПб., 1890, стр. 381; W. L e d n i c k i. Bits of Table Talk. . ., p. 108.

[50] Н. П. Н и к и т и н. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л., 1939, стр. 254.

[51] Там же, стр. 254—255.

[52] W. L e d n i c k i. Bits of Table Talk. . ., p. 108.

мание зарубежных исследователей, соглашавшихся с отдельными положениями В. Ледницкого и пытавшихся дополнить его разыскания новыми данными. Так, Р.-Д. Кейль в недавней работе о «Памятнике» сделал ряд пояснительных замечаний о статье В. Ледницкого, и в частности высказал предположение, не имела ли для Пушкина некоторое значение та ода на польском языке, посвященная Александровской колонне, которая издана была в Петербурге в 1834 г.; [53] об этой оде известно, что она была приобретена Пушкиным, находилась в его библиотеке, а затем исчезла оттуда; [54] экземпляра этой оды в настоящее время нет ни в одной крупной библиотеке Западной Европы и США. Мне удалось разыскать эту оду в богатейшем собрании «россики» Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде.[55] Она имеет французское заглавие и состоит из 15 страниц параллельного польского (стихотворного) и французского (прозаического) текстов. Содержание оды, однако, не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. Это традиционные верноподданнические вирши, полные риторики, патетических возгласов и гипербол. Анонимный польский поэт все время играет на тождестве имен русского императора и македонского властителя и на противопоставлении их воинских целей: античному завоевателю противопоставлен русский «освободитель Европы» и «миротворец». Единственная деталь в тексте этой оды, которую, может быть, стоит отметить, находится в ее заключительных стихах: одописец утверждает, что якобы только у славян колонны являются символом великого идеала человечества; поэтому, восклицает он, пусть эта эмблема останется в сердцах как предвестие грядущей счастливой судьбы славянского мира:

Ideał czynów — dla Słowian kolosem —
Kolos niech wstąpi w obudzone dusze —
Niech dni odznacza nayświetnieyszym losem,
Wielkość niech wstąpi w wielkie geniiusze.

Słowiańska ziemio! górnieyś wywyższona
W świetle i sile, bogactwie i sławie —
Tym przewodnikiem z obłoki zetkniona
Przykłady stawisz południu na iawie.[56]

---

[53] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI, H. 2, Wiesbaden, SS. 178—179.

[54] Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. Новые материалы. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 1017 (№ 165).

[55] Ode sur la colonne colossale élevée à L'Empereur Alexandre I. St.-Petersburg, Le 30 Aout 1834, Imprimérie de C. Wienhuber (цензурное разрешение датировано 29 августа 1834 г.).

[56] Приводим этот текст с соблюдением орфографии подлинника, не обновляя ее в соответствии с новыми правилами. Дословный русский перевод: «Гениальное творение — памятник величию славян. Пусть этот колосс навсегда запечатлеется в пробужденных душах. Пусть осветит он счастьем их будущее. Величие же пусть сопутствует гениям. О, славянская земля! Просвещение, сила, богатство и слава возвысили тебя. Этот же памятник породнил тебя с облаками и сделал примером для южных народов».

6

Опыт пересмотра ряда проблем, связанных с изучением «Памятника» Пушкина, представил гамбургский исследователь Рольф-Дитрих Кейль.[1] Литература о Пушкине, в том числе и на русском языке, известна ему довольно хорошо, хотя от него и ускользнул ряд советских исследований, преимущественно последней четверти века. Основная задача, которую он поставил перед собой, заключалась в том, чтобы попытаться еще раз, исходя из предшествующих исследований, определить, какое место занимает «Памятник» в системе эстетических воззрений Пушкина, среди других его поэтических деклараций на темы о назначении поэта, о месте и роли поэта в общественной жизни. Характерно, что Кейль не без сочувствия вспомнил о рассуждениях М. О. Гершензона по поводу «Памятника» в «Мудрости Пушкина», не нашедших, по его словам, признания ни у советских пушкиноведов, ни за рубежом[2] и нуждающихся еще в дальнейшей критической проверке, но тут же высказал свои возражения против истолкования «Памятника» Гершензоном, чтобы подчеркнуть, что он не считает положения последнего бесспорными. По мнению Кейля, автор «Мудрости Пушкина» исходит из неверного положения, что эстетические взгляды Пушкина не претерпевали никаких существенных изменений в 20—30-е годы; поэтому сближение «Памятника» с такими программными стихотворениями Пушкина, как например «Поэт и толпа» (1828), представляется ему уязвимым. Оба этих стихотворения выросли из разных намерений, в собственной сфере личных чувствований поэта; отсюда даже одни и те же слова в стихотворениях имеют свой, специфический смысл и не могут быть сближаемы как равнозначные. Так, например, в слово «народ» Пушкин в обоих случаях вкладывает особое содержание: «народ непосвященный», «хладный и надменный», «бессмысленно» внимающий поэту (см. «Поэт и толпа»), ничего не может пояснить нам в стихе

К нему не зарастет народная тропа,

в котором трудно было бы усмотреть оттенок иронии или резиньяции.[3]

Рискованные гипотезы В. Ледницкого также не получили полного признания у Кейля, хотя он и пытался воспользоваться от-

---

[1] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI, H. 2, SS. 174—220.

[2] Интерпретация «Памятника» М. О. Гершензоном, как замечает Кейль, показалась убедительной лишь одному Д. С. Мирскому (см.: D. S. Mirsky. Pushkin. London, 1926, pp. 215, 238).

[3] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 175.

дельными наблюдениями этого исследователя и дополнить их собственными.[4] Наибольшее сочувствие Кейля вызвала статья А. Грегуара «Гораций и Пушкин», некоторые положения которой получили у него дальнейшее развитие. Со многими из его выводов согласиться трудно, в частности с его толкованием «религиозного» смысла основной идеи «Памятника», якобы определяющей всю структуру стихотворения, с догадкой, что «Памятник» будто бы задуман был поэтом как одно из стихотворений цикла «Подражания древним», и т. д. Тем не менее отдельные соображения Кейля заслуживают внимания и могут быть учтены в пушкиноведении после их тщательной критической проверки.

Сильной стороной работы Кейля явился произведенный им пересмотр традиционного вопроса о соотношении между «Памятником» Пушкина, одой Горация (III, 30) и другими подражаниями этой оде в русской и западноевропейской поэзии.

Публикуя результаты своего прочтения черновика трех последних строф «Памятника», Д. П. Якубович писал: «Смысл „Памятника" Пушкина в целом может быть уяснен до конца только раскрытием пушкинского отношения к сюжету, лучшие осуществления которого великими мастерами-предшественниками на разных исторических этапах Пушкин прекрасно знал. Только на этом фоне может быть понято великое своеобразие, приданное Пушкиным древней теме, новая ступень, на которую он эту тему поднял, сделав ее близкой к нашей эпохе».[5] Сам Д. П. Якубович указал (в сноске к цитированному месту), что он предполагал посвятить этому вопросу особую работу, однако она осталась незавершенной и ненапечатанной. В посмертной статье Д. П. Якубовича «Античность в творчестве Пушкина» подробно говорится об отношении Пушкина к Горацию в ранний период его творчества;[6] ненаписанными остались, к сожалению, именно те главы, которые должны были содержать анализ антологической лирики 30-х годов, в том числе и «Памятника» в соотношении с его античным образцом. В то же время вопрос этот продолжал обсуждаться в ряде статей, посвященных Горацию, Державину, Пушкину и античности и т. д., но отдельные интересные наблюдения не были сведены в цельную картину. В известной мере ее восполняют данные, собранные и систематизированные Кейлем, справедливо заметившим, что хотя в старой и новой русской литера-

---

[4] Так, например, Р.-Д. Кейль считает, что в стихах «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа» Пушкин намекает на увенчивающего колонну бронзового ангела, лицу которого скульптор постарался придать черты Александра I (там же, стр. 194).

[5] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 5.

[6] Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., 1941, стр. 159.

туре о Пушкине сопоставления «Памятника» с одами Горация и Державина делаются постоянно, но при этом имеют в виду главным образом четвертую строфу стихотворения и сближают в указанных произведениях разрозненные мысли, не учитывая их функционального значения в структуре целого каждого из стихотворений.[7]

Вопрос о непосредственном знакомстве Пушкина с лирикой Горация может считаться выясненным в нашей литературе в значительной мере. Уже Д. П. Якубович подчеркнул, что «из всех поэтов античности Гораций занимает в течение всей жизни Пушкина первое место по количеству обращений к нему. Не может сравниться с ним даже Овидий, хотя он и имел для Пушкина большее значение. Но большинство его обращений к Горацию не свидетельствует о глубине. Только в двух случаях за всю жизнь Пушкин близко соприкоснулся с стихотворной тканью и образами самих стихов Горация. Это перевод оды к Меценату и перевод оды к Помпею Вару. Сюда же относится и обновление темы оды „К Мельпомене“ («Я памятник...»). Во всех остальных случаях возможно подозревать только чисто внешнее обращение Пушкина к венузийскому лирику — все это, может быть, только цитаты (вдобавок преимущественно первых или близких к началу стихов) Горациевых од, возможно просто сохранившихся в памяти от лицейской учебы, как наиболее четкие и красочные формулы».[8] Добавим, что даже в случаях наибольшего приближения к подлинному тексту Горация Пушкин не проявил себя как знаток латинского текста. Эпиграф, выписанный им из Горация (или, скорее, приведенный по памяти), в «беловом» тексте «Памятника» заключает в себе ошибку — «exigi» вместо «exegi» (monumentum);

---

[7] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», SS. 175—176.

[8] Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина, стр. 110. Здесь же названа литература о Пушкине и Горации, которую следует пополнить; см., например: Н. Ф. Дератани. Пушкин и античность. «Ученые записки кафедры истории всеобщей литературы Московского гос. педагогического института», 1938, вып. IV, М., стр. 5—34 (об отношении Пушкина к Горацию — стр. 21—23); М. Я. Немировский. Пушкин и античная поэзия. «Известия Северо-Кавказского педагогического института», 1937, т. XIII, Ростов н/Д., стр. 75—93; Б. В. Варнеке. Пушкин и Гораций. «Наукові записки Одеського державного педагогичного інституту», 1940, т. I, Одесса, стр. 7—16; Вл. Ванслов. А. С. Пушкин о «золотом веке» римской литературы. «Ученые записки Калининского гос. педагогического института», 1963, т. 36, стр. 3—47 (о Пушкине и Горации — стр. 15—28). Подражание Пушкина оде Горация к Помпею Вару (7-я ода II книги) недавно послужило предметом специального исследования: W. Busch. 1) Die Varusode des Horaz und ihre russische Übersetzer. «Die Welt der Slaven», Wiesbaden, 1964, H. 4, SS. 362—375 (здесь же о других русских переводах этой оды после Пушкина: В. И. Орлова, И. П. Крешева, А. А. Фета и др.); 2) Horaz in Russland. München, 1964 (Forum slavicum, Bd. 2) (о Пушкине — стр. 154—164). В большинстве этих работ мы, однако, не находим каких-либо новых данных или соображений относительно пушкинского «Памятника».

та же цитата в наброске последней строфы второй главы «Евгения Онегина» (1823) дана без этой описки, но неверно акцентирована:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть <о, друзья> —
Exegi monumentum я.
(*вар.*: Воздвигнул памятник <и> я).

(VI, 300)

Подчеркнем, впрочем, в этой связи, что ряд стихотворных строчек и выражений из Горация в латинском подлиннике (в том числе и «exegi monumentum») были в то время в России крылатыми и нередко употребляемыми.[9] Незадолго до указанной латинской цитаты в «Евгении Онегине» Н. Остолопов привел всю эту оду Горация в латинском оригинале (сопровождая его «подражанием» Державина и «переводом» А. Востокова).[10]

Все это подчеркивает необходимость установить, не имело ли для Пушкина при создании «Памятника» какое-либо посредствующее звено, связывавшее его со стихотворением Горация, большее значение, чем подлинный латинский текст. Таким звеном считается обычно «Памятник» Державина, текстуальная близость которого к стихам Пушкина не подлежит спору, но Кейль, идя по стопам русских исследователей, привлекает к сопоставлению также

---

[9] В качестве примера назовем рецензию на книгу «Певец среди русских воинов, возвратившихся в отечество в 1816 г.» (СПб., 1823), опубликованную в журнале «Сын отечества» (1823, ч. 87, № XXIX, стр. 136—140). Цитируя обращение поэта к «величественным россам»:

Услышат во струнах
Деяния их громки
И в да́льнейших веках
Позднейшие потомки,

рецензент восклицал: «Точь-в-точь Горациево: Exegi monumentum» (стр. 140).

[10] Н. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. 2. СПб., 1821, стр. 390—391. В этом же «Словаре» «для примера» приведены две оды Горация в латинском тексте «с прозаическим переводом для удобнейшего сохранения мыслей подлинника» (там же, стр. 275—277). Они включены в особую статью «Оды Горация», которая начинается следующими характерными словами: «Из трех латинских лириков один только Гораций сохранился до времен наших; мнение Квинтилиана, утверждающего, что все прочие лирики не заслуживают чтения, много утешает нас в этой потере. Напротив того же приписывает он величайшую похвалу Горацию, и похвала сия подтверждена во все времена и у всех народов» (там же, стр. 266). Все это место дословно выписано Остолоповым из русского перевода книги Лагарпа «Lycée», см.: Ликей, или Круг словесности древней и новой, ч. 2. Соч. И. Ф. Лагарпа, переведено Петром Соколовым. СПб., 1811, стр. 342 (начало статьи Лагарпа «О Горации», помещенной на стр. 342—359; здесь приведено несколько од Горация в латинских подлинниках, в русских прозаических переводах и французских стихотворных переводах Ж.-Б. Руссо; однако ода III, 30 отсутствует).

некоторые другие русские подражания указанной оде Горация, которые могли быть известны Пушкину и запомниться ему.

Р.-Д. Кейль останавливается, например, на одном из первых русских переводов оды «К Мельпомене», сделанном М. В. Ломоносовым:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом
и т. д.

Как известно, Ломоносов включил этот перевод в свою «Риторику», где он помещен в главе III («О расположении по силлогизму», § 268) в качестве примера «неполного силлогизма, или энтимемы».[11] Ломоносов допустил некоторые сознательные отклонения от подлинника, ставшие, однако, традиционными в русском восприятии этой оды Горация благодаря широкой и долголетней популярности «Риторики» как учебного пособия.[12] В особенности заметны эти отклонения в последних стихах, где «Муза», заместившая «Мельпомену» Горация, представлена уже не полубогиней, увенчивающей главу поэта за заслуги перед ней, но служит просто символом поэтического творчества:

Взгордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу дельфийским лавром.[13]

Не подлежит сомнению, что именно этот перевод Ломоносова был в памяти Радищева, когда он писал свое «Слово о Ломоносове», помещенное в конце «Путешествия из Петербурга в Москву». Б. С. Мейлах сделал попытку связать пушкинский «Памятник» именно с этой надгробной похвалой Радищева Ломоносову. «В литературе, посвященной пушкинскому „Памятнику", — пишет Б. С. Мейлах, — не было отмечено, что все это стихотворение является своеобразным итогом творческого пути Пушкина в свете именно тех критериев, которые были выдвинуты Радищевым».[14] Далее приводятся цитаты из начала «Слова о Ломоносове», но с выпусками, которые мы восполняем ниже, и другими неточностями. Пользуясь этим текстом, Р.-Д. Кейль, вероятно,

[11] М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 313—315; т. 8, 1959, стр. 184.

[12] П. Н. Берков. Ранние русские переводчики Горация. «Известия АН СССР, Отделение общественных наук», 1935, № 10, стр. 1039—1056; Г. М. Коровин. Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961, стр. 328—329.

[13] М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 184. См.: R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», SS. 182—184.

[14] Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 516.

не знал, что поводом для создания указанной похвалы Радищева Ломоносову явилось посещение Александро-Невской лавры, где над могилой Ломоносова М. И. Воронцовым поставлен был (в 1770 г.) великолепный памятник с надписями на русском и латинском языках.[15]

Высказывались предположения, что «Слово о Ломоносове» Радищева (которое он начал писать в 1780 г. и вставил в текст «Путешествия из Петербурга в Москву», после главы «Черная грязь», при последней обработке своей книги для печати) было «полемично по отношению к утвердившимся взглядам на Ломоносова» и даже к ранее существовавшим описаниям памятника на его могиле.[16] Рамка, в которую вставлено «Слово о Ломоносове», также имеет значение для его правильного уразумения: начало отрывка представляет собой размышления в вечерний час у надгробного памятника и окрашивает все «Слово» в сентиментально-меланхолические тона. У Радищева говорится: «Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты, я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могли ли бы, казалося, совместно быть кичение, тщеславие и надменность. Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се ли вечность, которыя человек толико жаждущ?». И только за этой лирической увертюрой следует самая «похвала» Ломоносову, опирающаяся на ряд его поэтических произведений («Вечернее размышление о божием величестве», начало оды 1747 г. «На день восшествия на престол Елизаветы Петровны»), в том числе и на перевод Горациевой оды (III, 30): «Не столп,

---

[15] «В память славному мужу Михайлу Ломоносову ... воздвиг сию гробницу граф Михайло Воронцов, славя отечество с таким гражданином и горестно соболезнуя о его кончине». Полный текст см.: А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 494.

[16] Л. И. Кулакова в статье «А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове» (в сб.: Литературное творчество М. В. Ломоносова, Исследования и материалы, М.—Л., 1962, стр. 227) обратила внимание на описание памятника на могиле Ломоносова в журнале «Трутень», и в частности на следующие в нем слова: «Монумент, воздвигнутый его (М. И. Воронцова, — *М. А.*) тщанием и иждивением в честь имени покойного г. Ломоносова, возвестит позднейшим потомкам состояние словесных наук нашего века»; по мнению Л. И. Кулаковой, «Радищев начинает „Слово о Ломоносове" с прямого утверждения этой мысли, почти сохраняя конструкцию фразы: „Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия...". „Гробницы великолепные" — плод суетности человеческой. Бессмертие человека — в его делах, бессмертие Ломоносова — в его творчестве».

воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширныя России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово Российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрети. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. — Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени Российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, по что ты славен».[17]

«На первый взгляд сходство действительно существует, но не основано ли оно на общем источнике, именно на Горации?», — с полным основанием спрашивает Кейль.[18] Он обращает внимание также на то, что вся лексика этого радищевского «Слова» близка к державинскому «Памятнику» (т. е. к оде «К Музе», как она первоначально была озаглавлена). Правда, ода Державина появилась впервые в «Приятном и полезном препровождении времени» (1795), после «Путешествия» Радищева, что исключает возможность генетической связи между ними; тем существенней, однако, общность их словаря: и Радищев, и Державин воспользовались — один в прозе, другой в стихах — одними и теми же словами, чтобы воспроизвести всю сумму представлений и образов указанной оды Горация. Конечно, лексическая близость «Слова о Ломоносове» Радищева и пушкинского «Памятника» интересна в особенности потому, что Пушкин перечитывал «Путешествие из Петербурга в Москву» в том же 1836 г., когда создан «Памятник». Однако Кейль напоминает, что именно в статье о Радищеве того же года Пушкин неодобрительно отозвался об этом «Слове» Радищева: «В конце книги своей Радищев поместил Слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым» и т. д.[19] Все

[17] А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 1, 1938, стр. 379—380 (в приводимой цитате орфография подновлена).

[18] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», S. 178.

[19] Там же, стр. 178. Недавно Д. Д. Благой в статье «Диалектика литературной преемственности» («Вопросы литературы», 1962, № 2, стр. 112) сделал попытку указать в пушкинском «Памятнике» непосредственную реминисценцию из Ломоносова: «Насколько мне помнится, — пишет Д. Д. Благой, — до сих пор еще не было замечено, что в ... стихах о памятнике одну из самых своих заветных мыслей, и ранее звучавших в его поэзии, — о свободе

эти соображения не позволяют Кейлю присоединиться к догадке Б. С. Мейлаха, и он предпочитает более осторожное допущение, что чтение радищевского «Слова» обновило в памяти Пушкина оду Горация, но само по себе не оказало сколько-нибудь заметного воздействия на стихотворение Пушкина. Р.-Д. Кейль напоминает также — для полноты картины — еще один русский перевод этой же оды Горация, принадлежащий В. В. Капнисту и появившийся в его «Лирических стихотворениях» 1806 г. («Я памятник себе воздвигнул долговечный»).[20]

Произведя подробное сличение этого перевода с латинским подлинником, а также с переводом Ломоносова (1748 г.), Кейль пришел к заключению, что капнистовский едва ли мог иметь какое-либо значение для Пушкина. Переоценивая «филологическую основательность» Капниста как переводчика, Кейль, однако, отметил его стремление к «руссификации» текста, что, по его мнению, могло быть учтено Державиным, шедшим по тому же пути.[21] Р.-Д. Кейль назвал не все русские переводы этой оды

и независимости своего творчества, о его высоком бескорыстии — поэт выражает строками, являющимися почти буквальным повторением слов Ломоносова из его поэмы „Петр Великий". Автор поэмы подчеркивает, что он осуществляет свой труд, не рассчитывая на похвалы и не боясь осуждений:

Ни злости не страшусь, ни требую добра...

«И вспомним у Пушкина:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно...».

«И это не просто еще одна реминисценция, — заключает Д. Д. Благой. — Здесь перед нами глубоко знаменательная перекличка двух русских гениев, в которой громко и слитно звучит единый голос породившего их народа». Оставляя в стороне чисто риторическое значение последнего аргумента, следует признать, что было бы крайней натяжкой усматривать в словах Пушкина «почти буквальное повторение» стихов Ломоносова: вырванные из контекста, отвлеченные от своего конкретного назначения, стихи Ломоносова и Пушкина сходны между собой лишь в самом элементарном смысле, для которого можно легко подобрать сотни аналогий не только в русской, но и во всех прочих литературах.

[20] Текст как этого, так и другого (оставшегося при Пушкине неизданным) перевода данной оды В. В. Капнистом см. ниже, в «Приложении II» (стр. 255—256).

[21] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», SS. 185—186. А. А. Веселовский в статье «Капнист и Гораций. (Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII—начале XIX в.)» («Известия Отделения русского языка и словесности», 1910, т. XV, кн. 1, стр. 199—232) привел по рукописи Капниста его «Предисловие к переводам и подражаниям Горациевых од», в котором имеется следующее признание: «Не зная латинского языка, должен был я угадывать красоты знаменитого подлинника из чужеземных, большею частью весьма неверных переводов. С величайшим трудом, с неутомимой прилежностью руководствуясь наставлениями и советами знающих латинский язык приятелей моих, принужден был я пере-

Горация, появившиеся до пушкинского «Памятника». В особенности следовало упомянуть два перевода — А. Х. Востокова и С. А. Тучкова, так как они должны были быть Пушкину известны.

Перевод А. Востокова возник в начале 1802 г. Он представлен был переводчиком в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств 26 апреля 1802 г., но напечатан только четыре года спустя в книге А. Востокова «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», притом не в основном тексте, но в «примечаниях», в качестве образца «первого асклепиадейского размера».[22]

Стихи 6—8 перевода А. Востокова:

Так; я весь не умру — большая часть меня
Избежит похорон: между потомками
Буду славой расти, век обновляяся,[23]

как отметил еще В. Н. Орлов, имеют текстуальную близость к соответствующим стихам «Памятника» Державина.[24] Современники Пушкина ценили этот перевод А. Востокова как своеобразный стихотворческий эксперимент. Так, Н. Остолопов, перепечатывая весь перевод в 1821 г. в своем «Словаре древней и новой поэзии», заметил: «Востоков в переведенной из Горация оде Exegi monumentum aere perennius и пр., которая писана асклепиадовыми стихами, сохранил размер подлинника переменою первой стопы, по свойству российского языка, на хорей».[25]

Более чем вероятно, что Пушкин знал также перевод этой оды, напечатанный С. А. Тучковым (1766—1839).[26] Пушкин был еще в Лицее, когда С. А. Тучков, видный генерал и администратор, на досуге занимавшийся стихотворством и переводами, некогда принимавший участие в «Беседующем гражданине», выпустил четыре пухлых тома своих «Сочинений и переводов» (1816—1817). Среди лицеистов ходило несколько не слишком острых эпиграмм, посвященных стихам Тучкова, которые, вероятно по каким-то причинам, пропагандировал исполнявший должность директора Фролов; в одной из эпиграмм, где мимоходом затрагивались В. К. Кюхельбекер, В. Л. Пушкин и А. А. Шаховской, между прочим говорилось:

водить почти слово в слово оды Горация и потом перелагать оные в стихи» (стр. 211).

[22] Перевод А. Востокова см. ниже, в «Приложении II» (стр. 257).

[23] А. Востоков. Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах, ч. II. СПб., 1806, стр. 72.

[24] А. Востоков. Стихотворения. Под ред. Вл. Орлова. Л., 1935 (Библиотека поэта. Большая серия), стр. 253, 411.

[25] Н. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. 1. СПб., 1821 стр. 53—54.

[26] Перевод С. А. Тучкова см. ниже, в «Приложении II» (стр. 258—259).

И о тебе различны мненья:
Иные, господин Тучков,
Толкуют: глуп ты от рожденья,
Другие — глуп ты от стихов.[27]

Через несколько лет, находясь в Бессарабии, Пушкин встретился с самим С. А. Тучковым в г. Измаиле, где генерал жил в то время. Это было в декабре 1821 г. Не подлежит сомнению, что эта встреча должна была лишний раз засвидетельствовать Пушкину, насколько несправедливы были лицейские острословы в своих мальчишеских нападках на этого почтенного и весьма интересного человека, друга М. М. Сперанского и доброго знакомого А. Н. Радищева.[28] И. П. Липранди рассказывает, что когда он вместе с Пушкиным приехал в Измаил из Кишинева, то старик С. А. Тучков, «находившийся тогда еще в сильной опале, неотменно пожелал видеть Пушкина ... Пушкин был очарован умом и любезностью Сергея Алексеевича Тучкова, который обещал что-то ему показать, и отправился с ним после обеда к нему. Пушкин возвратился только в 10 часов, но видно было, что он был как-то не в духе. После ужина, когда мы вышли к себе, я его спросил о причине его пасмурности; но он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы можно было, то он остался бы здесь на месяц, чтобы просмотреть все то, что ему показывал генерал: „у него все классики и выписки из них“, — сказал мне Пушкин».[29] Под «классиками» Пушкин скорее всего разумел римских поэтов, в особенности Овидия и Горация, которыми С. А. Тучков всегда особенно интересовался.

Бóльшую часть первого тома «Сочинений и переводов» Тучкова 1816 г. занимает «Преложение пяти книг од Горация Флакка с приобщением опыта жизни сего стихотворца, мифологических, исторических и географических примечаний». В этом огромном поэтическом труде находится также интересующая нас ода Горация; здесь она, однако, названа не «К Мельпомене», а имеет заглавие «Слава его стихов бессмертна» и хотя и заканчивает третью книгу, но имеет номер не XXX, а XXIV по тогдашнему счету. В предисловии к этому тому, говоря о своих источниках и принципах, которых он придерживался, Тучков писал: «Некоторые из любителей российского стихотворства, ознаменовавшие

[27] Н. В. Измайлов. Новый сборник лицейских стихотворений. Сборник Пушкинского дома на 1923 г., Пгр., 1922, стр. 72—73.

[28] Отметим, что С. А. Тучков занимал почетную должность казначея в кишиневской масонской ложе «Овидий», членом которой являлся также Пушкин. Ю. М. Лотман в статье «Источники сведений Пушкина о Радищеве, 1819—1822» (в сб.: Пушкин и его время, изд. Гос. Эрмитажа, Л., 1962, стр. 63—65) не без оснований говорит о С. А. Тучкове как о лице, от которого Пушкин в период своей южной ссылки мог получить много ценных сведений о Радищеве.

[29] Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, вып. 8—9, стлб. 1280—1281.

себя хорошими сочинениями и переводами, подавали мне разные советы касательно преложения од Горациевых. Иные хотели, чтоб перевел я их употребительными наиболее в российском языке стихами с рифмами; другие, напротив, желали, чтоб я оные переложил белыми стихами; но я решился в сем случае последовать удобству и тому, к чему наше стихотворство больше обыкло, и написал большую часть од с рифмами, а белыми стихами только те, в которых множество собственных имен наносит великое затруднение как в стопосложении, так и в рифмах». Исходя из этого, Тучков при переводе интересующей нас оды, состоящей из 16 стихов, писанных асклепиадовой строфой, дал 36 ямбических диметров, притом весьма вольно передающих латинский подлинник.[30]

Страницы, посвященные Р.-Д. Кейлем сопоставлению «Памятников» Державина и Пушкина, заключают в себе мало нового для советских исследователей, тем более что ему осталась неизвестной большая часть новейшей русской исследовательской литературы, посвященной этому вопросу;[31] все же несколько старых наблюдений, на которые обратил внимание Кейль, могли бы быть в настоящее время дополнены и продолжены.

Мы уже упоминали, что старая русская комментаторская традиция возводит пушкинский «Памятник» не только к державинской оде 1795 г., но также к другому подражанию Горацию у Державина, к его «Лебедю» (1804 г., впервые напечатано в 1808 г.). Здесь та же мысль о бессмертии поэзии, о громкой славе, которая ожидает поэта у благодарных потомков. «Лебедь» Державина восходит к оде Горация (II, 20), но значительно отклоняется от нее.[32] Поэт представляет себя в виде Лебедя (образ которого он примет после смерти), пролетающего над необозримыми российскими просторами, и на него

> Покажут перстом и рекут:
> Вот тот летит, что, строя лиру,
> Языком сердца говорил

[30] С. А. Тучков, Сочинения и переводы, ч. 1, СПб., 1816, стр. 217—218. Об этом переводе см. также: W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, SS. 145—147.

[31] См., например, кроме уже упомянутых выше: М. М. Покровский. 1) Пушкин и Гораций. «Доклады Академии наук СССР», 1930, № 12, стр. 233—238; 2) Пушкин и античность. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 29—56 (о Пушкине, Горации и Державине — стр. 44—50); И. И. Толстой. Пушкин и античность. «Ученые записки Гос. педагогического института им. А. И. Герцена», т. XIV, Л., 1938, стр. 71—85 (о «Памятнике» — стр. 83—85); Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, стр. 113—114; А. В. Западов. Мастерство Державина. М., 1958, стр. 252—255, и др.

[32] «Произведение это совершенно самостоятельное. Из Горация взяты лишь образ поэта-лебедя и мысль о бессмертии; близко к оде начало стихотворения», — подтверждал А. Л. Пинчук в статье «Гораций в творчестве Г. Р. Державина» («Ученые записки Томского гос. университета», т. 24, Томск, 1955, стр. 85).

И, проповедуя мир миру,
Себя всех счастьем веселил
и т. д.[33]

Р.-Д. Кейль мимоходом обронил замечание, что в этом стихотворении Державина «сплавлены» мотивы обеих указанных Горациевых од и что аналогичные смешения нередки в западноевропейских подражаниях Горацию в XVIII в.; в доказательство он ссылается на знаменитую оду Клопштока «Сон» (1782) и на оду Экушара-Лебрена.[34] О последней в связи с Пушкиным писал еще Б. В. Томашевский: «Лебрен написал оду на мотивы „Exegi monumentum" Горация. И в данном случае можно говорить только о столкновении тем, так как, во-первых, ода Лебрена далеко отходит от Горация (и французские критики утверждали, что она превосходит латинский оригинал), а во-вторых, на русском языке создалась уже до Пушкина традиция подражаний этой латинской оде».[35] Самый текст этой оды Лебрена — вероятно, известной Пушкину, — Б. В. Томашевский, однако, не привел. В этой оде действительно немало многословной риторики, но несколько отрывков из нее привести не бесполезно для сопоставления:

Grâce à la Muse qui m'inspire,
Il est fini ce monument,
Que jamais ne pourront détruire
Le fer ni le flot écumant.
Le ciel même, armé de foudre
Ne saurait le réduire en poudre
Les siècles l'essaieraient en vain.
Il brave ces tyrans avides,
Plus hardi que les pyramides
Et plus durable que l'airain.[36]

Далее поэт восклицает, что «весь он не умрет», потому что «слава прокладывает ему светлую тропинку в храм памяти»:

Je ne mourrais point tout entier.
Eh! ne voyez vous pas la gloire
Que, jusqu'au temple de mémoire
Me fraie un lumineux sentier?
etc.[37]

---

[33] Г. Р. Державин, Сочинения... с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. II, СПб., 1865, стр. 501.

[34] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», SS. 180, 188.

[35] Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960, стр. 327.

[36] См. прозаический перевод оды: «По милости вдохновляющей меня Музы, он готов, этот памятник, которого никогда не смогут истребить ни железо, ни пенящаяся волна. Даже небо, вооруженное молниями, не могло бы обратить его в прах; не смогли бы это сделать и столетия. Он пренебрегает этими алчными тиранами, более отважный, чем пирамиды, и более прочный, чем бронза».

[37] Кейль (R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», SS. 179—180) цитирует три строфы оды Экушара-Лебрена по изданию, где они при-

Перечень стихотворений, написанных в подражание двум указанным одам Горация (III, 30 и II, 20) — порознь или вместе взятым, — чрезвычайно велик во всех западноевропейских литературах. О Ронсаре, дю Белле, Я. Кохановском речь шла уже выше; из французских, помимо Экушара-Лебрена, можно назвать Ж. Делиля (переводом которого пользовался В. Капнист), Ж.-Б. Руссо и многих других;[38] из английских — Шекспира, 55-й сонет которого с его противопоставлением бессмертной поэзии бренности всего материального мира также обычно возводится к Горацию:[39]

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall out-live this powerful rhyme
etc.

(Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов,
В которых я твой образ сохранил.
К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут).[40]

Широкую известность приобрели — в том числе и в России в допушкинское время — стихи о Шекспире Дж. Мильтона, основанные на той же параллели долговечного памятника, созданного поэтом в своем литературном творчестве, и подверженных разрушению сооружений материального мира. Интересно привести эту стихотворную «надпись», предпосланную так называемому «первому фолио» сочинений Шекспира, в прозаическом переводе С. Н. Глинки, опубликованную еще до того времени, как он мог ознакомиться с «Памятником» Пушкина: «Какая надобность моему Шекспиру для почтенного его праха в взгроможденных камнях целым столетием? Не нужна для него и горделивая пирамида. Любимый сын памяти! Наследник славы! Что тебе до этого ничтожного свидетельства о славе твоей? Тебе, который к чудесному изумлению нашему устроил себе памятник долговечный!».[41] Но еще более популярной сделалась у нас благодаря Карамзину надпись на памятнике Шекспиру в Вестминстерском

ведены лишь как отрывок (Oeuvres complètes d'Horace ... suivies de traductions en vers français et d'imitations par divers poètes français et etrangers, vol. 2, Paris et Lyon, 1834, p. 229); полный текст см.: Ponce-Denis Ecouchard-Lebrun, Oeuvres, vol. I, Paris, 1811, p. 415.

[38] Ed. Stemplinger. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance. Leipzig, 1906, SS. 371—372.

[39] H. R. Anders. Shakespeare's Books. Berlin, 1904, S. 32; Ed. Stemplinger. Das Fortleben der Horazischen Lyrik..., S. 372.

[40] Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака. М., 1948, стр. 66.

[41] С. Глинка. Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова, ч. 3. СПб., 1841, стр. 92.

аббатстве. Эта надпись представляет собою цитату из драмы Шекспира «Буря» (действие IV, сцена 1, строки 152—156):

The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind
etc.

Карамзин перевел эти стихотворные строки и включил их в свое знаменитое стихотворение «Поэзия» (1787), сопроводив их словами, говорящими о бессмертии великого поэта, славы которого не коснется всеразрушающее время:

«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякой гордой храм исчезнут как мечта
В течение веков и места их не сыщем», —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен.[42]

Английская литература XVIII в., так же как немецкая и французская, прочно усвоила мотивы горациевского «Exegi monumentum» и часто откликалась на них в стихах, в критической и публицистической прозе.[43]

Популярными стали обе оды Горация также и в русской литературе конца XVIII—начала XIX в.

Написав свое стихотворение «Лебедь», Державин почувствовал своего рода угрызения совести и желание оправдаться перед читателями. Он писал по этому поводу: «Непростительно было бы так самохвальствовать; но как Гораций и прочие древние поэты присвоили себе сие преимущество, то и автор тем пользуется, не думая быть осужденным за то своими соотечественниками, тем

---

[42] Н. М. Карамзин, Сочинения, т. I, Стихотворения, Пгр., 1917, стр. 11. Ту же цитату Карамзин привел в главе «Вестминстерское аббатство» в своих «Письмах русского путешественника», но в другом собственном переводе, лексически более близком к различным переводам интересующей нас оды Горация:

Колоссы гордые, веков произведенье,
И храмы славные, и самый шар земной
Со всем, что есть на нем, исчезнет, как творенье
Воздушныя мечты, развалин за собой
В пространствах не оставив.

(Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, ч. VI, М., 1801, стр. 316).

[43] Caroline Goad. Horace in the English Literature of the eighteenth century. New Haven, 1928 (Yale Studies in English, LVIII), pp. 255, 299, 378, 438, 580 (здесь в изобилии даны по английским источникам XVIII в. цитаты из латинского текста интересующей нас 30-й оды Горация, подражаний ей и упоминаний о ней у Аддисона, Попа, С. Джонсона, М. Прайора и др.).

паче что поэзия его — истинная картина натуры».[44] На самом деле современники Державина остались не вовсе равнодушными к его гордым, самоуверенным заявлениям, сделанным даже по следам и подобию римского поэта. В «Журнале российской словесности» (1805, май), издававшемся Н. И. Брусиловым, по всей вероятности сам редактор, скрывшийся под инициалом «Б...», поместил эпиграмму, направленную против Державина (он назван здесь Тромпетиным, именем одного из действующих лиц комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки»):

Проходит слава царств, и царства исчезают!
Пальмира гордая, где ты? Увы! Не знают!
И Александров гроб, и город разрушен,
В котором сильный царь земли был погребен.
Героев град забыт, забыт и с их делами —
А ты жить в вечности с великими мужами,
Тромпетин! захотел стихами!

Державин не оставил этот выпад без ответа. Он опубликовал в другом журнале, в «Друге просвещения» (1805, № 9, стр. 198), собственную эпиграмму, направленную против своего критика, названного им Булавкиным:

Ответ Тромпетина к Булавкину

Трубит Тромпетин как в тромпету,
Трубы звук вторит холм и дол.
Но колет, как Булавкин, в мету,
Кому слышна булавки боль?
Блистали царствы — царств тех нету;
Пиндар в стихах своих живет.
Толпой толпятся мошки к свету,
Но дунет ветр — и мошек нет.[45]

Эта полемика весьма занимательна. Едва ли антагонист Державина подвергал сомнению мысль Горация о бессмертии поэзии; поводом для эпиграммы явилось скорее то, что́ сам Державин

---

[44] Г. Р. Державин, Сочинения... с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. IX, СПб., 1883, стр. 260.

[45] Г. Р. Державин, Сочинения..., т. III, СПб., 1866, стр. 514. О возникновении и последствиях этой полемики Державина см. также: В. Западов. Державин и Пнин. «Русская литература», 1965, № 1, стр. 118—119. Хотя фамилия Булавкин (подобно Тромпетину) характеризующая и заключает в себе прозрачный намек на «колющего» критика, но она, вероятно, имела и литературный источник. Н. Иванчин-Писарев (Сочинения и переводы в стихах, М., 1819, стр. 209) сопроводил стихи своей басни «Птицы» —

О критика! Могла б и гений охранить,
И острия своих булавок притупить, —

следующей цитатой из Монтескье: «A-t-on de la force et de la vie? On vous l'ôte à coup d'épingles».

определял как «самохвальство»; но ссылки Державина на Горация в своем самооправдании и на Пиндара в ответной эпиграмме являлись трудноопровержимыми аргументами. Поэтому ссылка на Горация неоднократно делалась в подобных случаях для самозащиты. Не этими ли мотивами руководствовался и Пушкин, выбирая для своего «Памятника» латинский эпиграф?

В большой статье Н. Надеждина, написанной по поводу «Опыта перевода Горациевых од» В. Орлова, в которой идет речь о самом Горации и о его русских переводчиках, об авторе «Exegi monumentum» говорилось: «Если он не постиг еще вполне достоинства человеческой своей природы, то по крайней мере умел оценить идеальную высокость своего поэтического служения. Оно возвышало его в собственных глазах его: и мрачная бездна ничтожества, зияющего всюду вокруг него, озлащалась тогда пред ним светлым призраком бессмертия:

Non omnis moriar!

«Сей призрак, неуловимый для воображения, настраивал по крайней мере сердце, им уловленное, к сладкой мечтательности. Певец Августа, хладнокровный к настоящим рукоплесканиям дружеского потворства и наемной лести, восхищался до исступления мыслью, что некогда римские старцы будут вспоминать с удовольствием время, когда они на заре дней своих воспевали, на вековом празднестве, угодную богам песнь, сложенную сладкозвучным певцом Горацием ... и под виноградными Тибурскими садами любил мысленно представлять неостывший прах свой, орошаемый слезами верной незабывчивой дружбы».[46]

Эта статья Н. Надеждина дописывалась вскоре после смерти А. Ф. Мерзлякова, последовавшей 26 июля 1830 г., под свежим впечатлением от этого события (под статьей стоит дата — 12 августа 1830 г., а цензурное разрешение книжки журнала, в которой она напечатана, выдано 21 августа). Надеждин высоко ценил литературную деятельность Мерзлякова, но в особенности восхищался двумя томиками его «Подражаний и переводов из греческих и латинских стихотворцев» (М., 1825—1826), в которых помещены были также и его переводы из Горация. Именно о них Надеждин и говорит в этой статье: «Не менее удачно и гораздо с большей верностью переложены Мерзляковым те песни Горация, в коих провозглашается торжественное чувство поэтического бессмертия, столь присное певцу Венузийскому! Мерзляков и здесь сходился с Горацием! Не понятый и не оцененный достойно настоящим, он бодро смотрел в будущность и, от избытка веры и упования, смело мог восклицать с ним:

---

[46] Н. Надеждин. Опыт перевода Горациевых од. «Московский вестник», 1830, ч. IV, стр. 270—271.

> . . . нет! не умру я,
> Стиксовой я не умчусь волною! . .
>
> . . . .
>
> Уже, быстрейший, чем Дедала дерзкий сын,
> Стремлюсь, и вижу скалы Босфора вкруг,
> И Сирт, и Рифей, — я дально-
> звучный орган, оглашаю мир весь!
> Мой глас услышат Колх и Дакиец, — страх
> Таящий в сердце Марса к златым орлам;
> Услышат Гелоны и умный
> Ибер, и чада обильной Роны!».

Приведя эти цитаты из перевода Мерзлякова той самой оды Горация (II, 20),[47] которой вдохновлялся Державин в своем «Лебеде», Надеждин восклицал патетически о только что скончавшемся Мерзлякове, поэте и переводчике: «Предчувствия и предречения твои были не тщетны, муж знаменитый! Босфор и Рифей будут оглашаться тобою, доколе стоять будет мир русский; и твой надгробный камень смело может носить сие, общее тебе и великому римскому поэту изречение:

> К чему печальный сей похорон обряд,
> Стенанья, вопли, гроба пустого вслед? . .
> Уйми их, спокой их! Что нужды
> Духу в частях могилы?».[48]

В подобном же «сплавленном» виде мотивы горацианской лирики встречались тогда во многих других произведениях русских поэтов. «Поэта-лебедя», прославляющего свою возлюбленную за пределами того мира, в котором она живет, мы встречаем, например, в анонимном стихотворении «К ней» в «Литературных листках», где знакомые нам уже горацианские образы приобретают кое-какие местные краски. Сначала поэт напоминает об общем законе жизни и смерти, что

> Все в мире зримое теперь перед глазами,
> Смерть скосит в очередь железными руками
> и т. д.

Обращаясь к любимой, он восклицает:

> Но ты, как солнечных сияние лучей,
> Век будешь жить в сердцах и памяти людей,
> А я в лебяжий пух по смерти облекуся,
> Как Флакк с пернатыми на воздухе явлюся,
> Привыкнув на земле любовию гореть,
> В пространствах мириад тебя я стану петь!

---

[47] Цитаты заимствованы Надеждиным из книги А. Ф. Мерзлякова «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» (ч. II, М., 1826, стр. 145—146), в которой эта ода Горация озаглавлена «Чувство бессмертия, или Восторг поэта».

[48] «Московский вестник», 1830, ч. IV, стр 292.

Заставлю целый мир тебе одной дивиться,
И песнь из века в век немолчно покатится.
От Норда грозного до Юга берегов,
Отдастся звук тобой внушаемых стихов
и т. д.[49]

Как видим, мотивы бессмертия и «географической протяженности» поэтической славы, даже с обязательной ссылкой на Горация («Как Флакк. . .»),[50] в русской поэзии пушкинского времени являлись своего рода поэтическими клише.

Приведенные цитаты наглядно свидетельствуют о том, насколько жива была еще в 30-е годы в русской литературе старая традиция разработки применительно к местным условиям мотивов двух горациевских од — о бессмертии поэзии, о заслугах поэта перед будущими поколениями, о надежде, какую поэт возлагает на своих грядущих ценителей. Ссылка на Горация не только оправдывала такую возможность конкретным примером немеркнущей поэтической славы римского поэта, но и служила в то же время своего рода маскировкой личных честолюбивых мечтаний или даже поводов к мыслям подобного рода. В истории подражаний этим одам Горация в любой национальной литературе, в том числе в русской, важнее были, однако, не общие черты, связывающие с латинским источником длинные ряды стихотворений, им вызванных, а именно эти личные поводы, способствовавшие их возникновению, то новое, сугубо личное содержание, которое облекалось в традиционную форму; цитаты, старые образы и обороты речи прикрывали сокровенный смысл каждого нового опыта обновления древней поэтической темы. Слабость попыток зарубежных исследователей (А. Грегуара, Р.-Д. Кейля) заключалась именно в том, что они пытались объяснить «Памятник» Пушкина главным образом из Горация или горацианской традиции в предпушкинской русской поэзии и уделяли слишком мало внимания личным поводам, способствовавшим созданию этого стихотворения Пуш-

---

[49] ***К ней. «Литературные листки. Журнал нравов и словесности», 1824, № V, стр. 173—174. В предшествующем номере того же журнала напечатаны два стихотворения Пушкина — «Элегия» и «Нереида».

[50] Любопытно, что даже такой универсальный мотив, как прославление возлюбленной в поэтическом творчестве, у нас считался горацианским по преимуществу. И. И. Дмитриев, бывший и сам переводчиком и подражателем Горация, в своей знаменитой сатире «Чужой толк» (1794), поднимая на смех русских стихотворцев-корыстолюбцев, от своих прославительных од ожидавших денежной награды или выгод, противопоставлял им бескорыстие римского поэта:

Гораций, например, восторгом грудь питая,
Чего желал? О! Он — он брал не с высока:
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала:
Он славен, чрез него и я бессмертна стала!

(Ив. Дмитриев, Сочинения, т. I, М., 1803, стр. 41).

кина. В. Ледницкий чрезмерно сузил эти поводы, сведя их к стремлению Пушкина ретроспективно обозреть в «Памятнике» историю своих взаимоотношений с Александром I, возникшему якобы по случаю открытия Александровской колонны. Р.-Д. Кейль стремился примирить неправдоподобные толкования М. Гершензона с вовсе упущенными последним из виду источниками «Памятника» — одой Горация и русскими ей подражаниями. Никому из этих исследователей не были, однако, в достаточной мере известны те страницы биографии Пушкина, которые относятся к 1836 г.; между тем как раз эти страницы, относящиеся ко времени создания «Памятника», лишь в самое недавнее время пополнились новыми, весьма важными данными.

7

Находка писем семьи Карамзиных, где столь часто говорится о Пушкине, обогатила нас новыми достоверными свидетельствами о том тяжелом душевном состоянии, в котором находился поэт в осенние месяцы 1836 г. Мысль о скорой смерти стала навязчивой, постоянно возвращавшейся в сознание Пушкина; она еще более усугублялась оттого, что и в салонных разговорах, и в печати постоянно шли толки о его смерти как поэта. В письме С. Н. Карамзиной к ее брату Андрею из Царского Села, датированном 24 июля (5 августа) 1836 г., есть такие строки: «Вышел второй номер „Современника“. Говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!)».[1] Для нас весьма существенно, что в этом написанном по-французски письме целая фраза, от слов «которого разбранил ужасно...» и до «...светило, в полдень угасшее», написана по-русски: она походит на подлинную цитату. Между тем комментаторы этого письма не смогли указать такой статьи Булгарина, в которой нашлась бы именно эта фраза о Пушкине; вместо того они процитировали то место из булгаринской «Северной пчелы» от 18 июля 1836 г. (№ 162), где среди разнообразных упреков по адресу Пушкина-журналиста, в частности, говорится, что поэт «мечтания и вдохновения свои погасил срочными статьями и журнальной полемикой», и отметили, что слова «светило, в полдень угасшее» «не являются цитатой из какой-либо статьи Булгарина и его подручных, но очень верно выражают отношение „Северной пчелы“ к Пушкину в 30-е годы».[2]

---

[1] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, стр. 81; французский текст — стр. 250—251.

[2] Там же, стр. 352.

Указанное письмо С. Н. Карамзиной представляет для нас столь значительный интерес, что к цитированным словам необходимо присмотреться более пристально. Возможно, что на страницах «Северной пчелы» фраза о «погасшем светиле» действительно не встречается и что за булгаринскую С. Н. Карамзина сочла направленную против Пушкина статью П. М—ского, напечатанную в № 162 «Северной пчелы» 1836 г., в которой говорится, что Пушкин журнальной полемикой «погасил свои вдохновения». Статья эта заслуживает некоторого внимания, хотя она написана не о журнале «Современник», но по поводу перевода Е. П. Гребенкою поэмы «Полтава» на украинский язык; впрочем, этот перевод явился простым предлогом для очередного нападения на поэта. Что касается автора этой статьи, то за псевдонимом «П. М—ский» или «П. Медведовский» скрывался постоянный сотрудник «Северной пчелы» — Петр Ильич Юркевич;[3] самая же статья была и наглой, и оскорбительной.

Сожалея, что прошло уже «то незабвенное время нашей литературы, когда играла лира Пушкина, когда имя его вместе со сладостными песнями носилось по России из конца в конец и было у всякого на языке», П. Медведовский-Юркевич старался растолковать читателям, почему это могло произойти: «Но отчего муза поэта умолкла? Ужели поэтические дарования стареют так рано, отживают свой век так преждевременно? Ужели все прекрасное так непрочно на земле? Неужто талант поэта облетел так скоро, как листья весеннего цветка, вянет столько (sic) быстро, как вянут розы на щеках красавиц?». На эти вопросы Юркевич дает утвердительный ответ: «Видно, что так, потому что поэт умолк и сделался журналистом»; «поэт переменил золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу ... Мечты и вдохновенья свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли стал рабом толпы; орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим ворочать тяжелые колеса мельницы». Причины же, вызвавшие эти печальные перемены, по мнению П. Юркевича, весьма неблаговидного свойства. Пушкин стал журналистом якобы для того только, «чтобы иметь удовольствие высказать несколько горь-

---

[3] И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. II. М., 1957, стр. 168, 183. Указанная статья Медведовского-Юркевича 1836 г. была не первым его писанием, направленным против Пушкина. Еще в 1834 г., в № 192 той же «Северной пчелы», Медведовский-Юркевич поместил ядовитый, придирчивый обзор «Повестей Белкина». Как видно из позднейших свидетельств П. И. Юркевича в его мемуарах, он был хорошо посвящен в редакционные дела булгаринской газеты, прекрасно осведомлен об отношениях Булгарина и Пушкина, являлся своим человеком на «четвергах» у Греча (П. И. Юркевич. Из воспоминаний петербургского старожила. «Исторический вестник», 1882, № 10, стр. 156—174).

ких укоров своим врагам, т. е. людям, которые были несогласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола (detrôner) его значительность». В итоге всех этих крайне развязных и оскорбительных умозаключений Юркевич допускал еще бо́льшую бестактность: он требовал жалости к поэту, издевательски применяя к нему стихи из романса Л. Мерзлякова «Велизарий» — об опальном и слепом византийском полководце, ходившем с поводырем и просившем подаяния: «Может быть, поэт опочил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтобы отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдает толстые тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного чужими статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу, его горькие и печальные жалобы. Пожалейте поэта!

Вот шлем того, который был
Для готфов, вандалов грозою».[4]

П. Н. Столпянский, штудировавший все, что было написано в «Северной пчеле» о Пушкине, считал, что статьи за подписью «П. Медведовский» не только были написаны «в подражание Булгарину», но и отличаются «еще большею ядовитостью и клеветою», чем нападения на поэта самого редактора этой газеты. «Статьи П. М—ского должны были вызывать негодование, но надо думать, что они прошли малозамеченными ... Если иногда на них делались указания, то статьи П. М—ского приписывались Булгарину».[5] Едва ли П. Н. Столпянский прав, утверждая, что эти статьи не обращали на себя достаточного внимания читателей. И друзья Пушкина, и сам поэт не оставались к ним равнодушными и обсуждали возможность опубликования достойной отповеди клеветнику; но действительно, подпись «П. М—ский» принималась за псевдоним Булгарина. Так, Д. В. Давыдов писал Пушкину 20 июля 1836 г., т. е. через два дня после появления в печати указанной статьи П. М—ского-Юркевича: «В Пчеле есть ругательство на Современника, по слогу видно — Булгарин машет лап-

---

[4] «Северная пчела», 1836, 18 июля, № 162.

[5] П. Н. Столпянский. Пушкин и «Северная пчела» (1825—1837). В сб.: Пушкин и его современники, вып. XIX—XX, Пгр., 1914, стр. 160—162. А. Г. Фомин в статье «Пушкин и журнальный триумвират 30-х годов» (Сочинения Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. V, СПб., 1911, стр. 476—477) не без основания высказывал мнение, что направленные против Пушкина заметки в «Северной пчеле» (в том числе и в № 162) вызваны были «боязнью конкуренции» со стороны пушкинского «Современника». Ранее к аналогичным выводам приходил К. Кузьминский в книге «А. С. Пушкин, его публицистическая и журнальная деятельность» (М., 1901, стр. 158—162), довольно подробно остановившийся также на статье в № 162 «Северной пчелы».

тою; нельзя ли махнуть его ладонью по ланите, как некогда ты махнул его в Литературной газете?» (XVI, 143).[6]

Нельзя не отметить, что метафорическое выражение о «светиле» или «солнце» в применении к литературному деятелю уже тогда отзывалось традиционным штампом, было ходовым, часто употреблявшимся.[7] Пользовался им и сам Пушкин — правда, в целях тонкой иронии или пародии. Интересно, что в «Акафисте Екатерине Николаевне Карамзиной» — дочери историка, вписан-

---

[6] Тем удивительнее догадка, высказанная П. Н. Столпянским (Пушкин и «Северная пчела», стр. 119, 179—190), будто бы помещенная в «Северной пчеле» (1836, 17 апреля, № 86) статья «Несколько слов о Современнике» («Что можно сказать о журнале, которого еще нет...») написана самим Пушкиным (!) или, во всяком случае, прислана самим поэтом Булгарину для опубликования (!). Между тем П. Н. Столпянский не только считает, что тон этой статьи «вполне подходит к тому настроению, в котором находился Пушкин», но даже угадывает в ней очертания будущего «Памятника»: «Читая со вниманием эту статью, вы уже предугадываете, что идея „Памятника" («Я памятник себе воздвиг нерукотворный») носилась перед Пушкиным». «В самом деле, — продолжает Столпянский, пытаясь аргументировать свою догадку, — кроме фразы „Имя Пушкина так известно у нас, что в одном имени его заключается программа журнала, который он намерен издавать", в статье встречаются и такие места: „Избрать человека (т. е. Пушкина), коего имя, по крайней мере для русского, имеет в себе нечто симпатичное, с любовью и гордостью народною", „которого (т. е. Пушкина) она (т. е. «Библиотека для чтения») именует поэтическим гением первого разряда"; они уже заставляют предугадывать дивные строки:

> К нему не зарастет народная тропа
> и т. д.».

(П. Н. Столпянский. Пушкин и «Северная пчела», стр. 186). Следует, впрочем, отметить, что догадка о принадлежности указанной статьи Пушкину была единодушно отвергнута. См.: А. Г. Фомин. Puschkiniana 1911—1917 гг. М.—Л., 1937, стр. 89.

[7] Н. Надеждин в «Вестнике Европы» (1830 г.) назвал Ломоносова «дивным и великим светилом», «коего лучезарным сиянием не налюбоваться в сытость и позднейшему потомству». Н. Полевой смеялся над этим уподоблением и, кстати, над тем, что в своей латинской диссертации (De poesi romantica. Mosquae, 1830) тот же Надеждин «произвел и Державина, и Ломоносова в звезды нашего поэтического неба (sidus splendidum alterum astrum nostri coeli poetici)». См.: Н. Полевой. Очерки русской литературы, ч. 2. СПб., 1839, стр. 296. Между тем в собственной статье «Пушкин (писано в 1837 г., через две недели после смерти его)» Н. Полевой писал о мертвом поэте не без злого умысла: «И сколько звезд потухло оттого, что высоко избрали себе жилище, и не было им живительной, необходимой стихии на высоте, где носятся только бурные тучи» (там же, ч. 1. СПб., 1839, стр. 215). М. П. Погодин, рассказывая о Гоголе в «Письме из Петербурга» («Московский наблюдатель», 1835, № 2, стр. 445), восклицал: «О! на горизонте русской словесности восходит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых». Стоит отметить, что С. Н. Карамзина в сходных словах писала о Лермонтове: «Это блестящая звезда, которая восходит на нашем литературном горизонте, таком тусклом в данный момент» (Ф. Ф. Майский. М. Ю. Лермонтов и Карамзины. В кн.: М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов. Ставрополь, 1960, стр. 150).

ном в ее альбом 24 ноября 1827 г., она уподоблена «светилу» избранного общества, но этот обветшавший образ искусно вплетен здесь в затейливый светский комплимент:

Так посвящаю с умиленьем
Простой увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.

(III, 64)

Через несколько лет в полемической статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831) Пушкин в издевательских, пародических целях говорил о Булгарине и Орлове: «сии два блистательные солнца нашей словесности» (XI, 204). Та же метафора применялась и к самому Пушкину; при этом она исходила не только из булгаринского журнального лагеря, но даже из среды его искренних почитателей и друзей.

Упреки Пушкину вследствие якобы приметного оскудения его творческого дара стали в это время обычными и жестокими. Не кто иной, как Белинский, в восьмой статье своих «Литературных мечтаний», говоря о тяжелом кризисе, в котором поэт, по его мнению, находился в середине 30-х годов, провозглашал: « „Борис Годунов" был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет, этот вопрос, это гамлетовское быть или не быть скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме „Анжело" и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье" и „Библиотеке для чтения", мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю». И словно желая нейтрализовать этот тяжкий, беспощадный приговор, Белинский писал далее: «Однако же не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших суждениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос ... Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует „Библиотеку для чтения", чем тому, что его талант погас».[8] В четвертой части «Стихотворений» Пушкина 1835 г. Белинский также усматривал «очень мало утешительного»: «Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный», — писал он в мартовской книжке «Молвы» (1836,

---

[8] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 73.

№ 3).[9] Толки об угасающем даровании Пушкина возникали и в той самой «Библиотеке для чтения», на страницах которой незадолго перед тем печатались его последние произведения. Когда в конце 1835 г. Пушкин исключительно в филантропических целях, на свои средства, издал поэму Виланда «Вастола, или Желание», весьма плохо переведенную бедствовавшим Е. П. Люценко, некогда бывшим учителем Царскосельского лицея, О. И. Сенковский тотчас же воспользовался этим поводом, чтобы издевательски поднять на смех Пушкина как автора, а не издателя этой книги (имя переводчика — Е. П. Люценко — на титульном листе отсутствовало, но зато здесь стояло действительно двусмысленное: «издал А. Пушкин»). «Важное событие! — оповещал читателей О. Сенковский в первой книжке своего журнала 1836 г. — Кто не порадуется появлению новой поэмы Пушкина? Истекший год заключился общим восклицанием: Пушкин воскрес!».[10]

Очевидно, что интересующая нас метафора «погасшее светило» была в ходу и употреблялась в разных вариантах. Н. В. Станкевич, подобно Белинскому, не в состоянии был понять «Сказки» Пушкина и писал Я. М. Неверову 30 октября 1834 г. по поводу «Конька-горбунка» П. Ершова: «Пушкин избрал этот ложный род, когда начал угасать поэтический огонь в душе его».[11]

---

[9] Там же, т. II, М., 1953, стр. 82. Лишь после смерти Пушкина в «Литературной хронике» «Московского наблюдателя» 1838 г. Белинский отмежевался от своей прежней характеристики позднего творчества Пушкина как творчества «угасающего» (там же, стр. 347). Мы не можем в настоящей работе касаться причин этого всегда вызывавшего удивление, но далеко не случайного отзыва Белинского; нас интересует в данном случае не столько ход рассуждения Белинского, сколько его формулировки, бывшие для того времени очень типичными. В обширной литературе о Белинском и Пушкине можно найти подробный к ним комментарий. Очень справедливо сказал об этих словах Белинского И. Сергиевский в своей статье «Пушкин и Белинский»: «Это не было ни пристрастием, ни идолопоклонством. Это была обоснованная вера в творческое могущество величайшего гения русской национальной культуры, — вера, изнутри подтачивавшая все горькие и жестокие выводы, к которым приходил Белинский, не умея найти „ключ“ к пушкинским созданиям последних лет его жизни» (И. Сергиевский, Избранные работы, Статьи о русской литературе, М., 1961, стр. 305).

[10] «Библиотека для чтения», 1836, т. XIV, № 1, отд. VI, стр. 30 (разрядка моя, — *М. А.*).

[11] Современному нам читателю в перифрастическом словосочетании «дневное светило» чудится «нечто более величественное, чем солнце» (см.: Э. В. Попова. Элегия А. С. Пушкина «Погасло дневное светило». Стилистический анализ. «Пушкинский сборник», Псков, 1962, стр. 89). На самом деле, как показывает справка А. Л. Бема (А. Л. Бем. «Днéвный» и «Дневнóй» у Пушкина. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XXVIII, Пгр., 1917, стр. 107), существительное «светило» в сочетании с прилагательным «дневный» было обычным и часто употребляемым в русской поэзии конца XVIII—начала XIX в. самых разнообразных жанров; такое сочетание встречается у Ломоносова, С. Тучкова, В. Майкова («Елисей»), И. Богдановича («Душенька»), Батюшкова, Жуковского, Рылеева. В оде С. С. Боброва «Страшный суд» («Вечерняя заря», 1782, ч. III, стр. 309) говорится:

По своей форме это всего лишь реминисценция из «Воспоминания» К. Н. Батюшкова:

Я чувствую, мой дар в поэзии погас
И муза пламенник небесный потушила,

может быть, осложненная стихом самого Пушкина «Погасло днéвное светило» (1820); впрочем, вспомним также у Пушкина в эпилоге к «Руслану и Людмиле»:

Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой,
Но огнь поэзии угас.

В. В. Гиппиус сопоставил эти стихи с близкими строками у И. И. Дмитриева:

Мой друг, судьба определила,
Чтоб я терзался всякой час;
Душа моя во мне уныла,
И жар к поэзии угас.[12]

И Пушкину, и И. И. Дмитриеву несомненно было хорошо известно стихотворение М. Н. Муравьева «К Музе», в котором встречается та же, характерная для этого учителя К. Н. Батюш-

---

Светило дневно померкает
И наступает темна ночь
и т. д.

Очень любил слово «светило» В. К. Кюхельбекер; мы многократно встречаем это слово в его стихах и поэмах, в прямом и переносном значениях:

Я зрел светило ясных дней,

или

Светило дня ликует в полдень ясный,

или

Мое светило из-за туч
Чело вновь подняло

(В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. 1. Л., 1939, стр. 63, 92, 119, 205, 265, 421, 429 и др.).

В известном вольном переводе М. Милонова элегии Жильбера «Бедный поэт» («Сын отечества», 1816, XXXI, стр. 201) находим такие строки:

Как кроется из глаз, предвестник бурна дня,
В туманных облаках померкшее светило.

[12] В. В. Гиппиус в статье «Плагиаты Пушкина» (в сб.: Пушкин и его современники, вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 41) комментирует эту параллель как полемику Пушкина с Дмитриевым: «У Дмитриева уныние души — условие, при котором угас жар поэзии. У Пушкина при повторении сходного оборота («душе ... каждый час») смысл иной: томительная дума должна бы быть естественным условием вдохновения, но природа вдохновения своевольна. Этот пример исключителен для эволюции лирических тем от „карамзинизма“ к романтизму».

кова в поэзии, жалоба на угасающее дарование, сплавленная здесь, кстати, в одно целое с отзвуками горацианских од. Обращаясь к своей Музе, Муравьев писал:

И мне с младенчества ты феею была,
Но, благосклоннее сначала,
Ты утро дней моих прилежней посещала.
Почто ж печальная распространилась мгла
И ясный полдень мой своей покрыла тенью?
Иль лавров по следам твоим не соберу
И в песнях не прейду к другому поколенью?
Или я весь умру? [13]

Не забудем, однако, что метафорическое уподобление «погасшему светилу» чаще употреблялось даже в смысле физической смерти, а не оскудевающего поэтического вдохновения. О рано умершем П. И. Макарове М. А. Дмитриев писал в его биографии: «Светило дней его померкло, не достигнув полудня».[14] Но, в сущности, слишком ли далеко отстояли друг от друга оба этих понятия — поэтической смерти и физического уничтожения? В сознании поэта, сохраняющего веру в свой дар, они были равнозначущи и, разумеется, обостряли до предела мечту о всенародном посмертном признании. Естественно предположить такой ход мыслей и у Пушкина; поэтому совершенно закономерным представляется первое документальное свидетельство о «Памятнике», извлекаемое из тех же писем Карамзиных, которое мы уже приводили в другой связи, — письмо Александра Карамзина от 31 августа 1836 г., через месяц после цитированного письма его сестры. Александр Карамзин описывал брату Андрею, как он провел день своих именин в Царском Селе: «Обедали у нас Мещерский [Сергей Иванович] и Аркадий [А. О. Россет]. После обеда явились Мухановы, друзья сестер [15] ... Они оба ехали в Москву. Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упавшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фавории публики». Далее Карамзин, имея в виду Николая Алексеевича Муханова, сообщил: «Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна».[16]

---

[13] М. Н. Муравьев, Полное собрание сочинений, часть первая, СПб., 1819, стр. 65.

[14] Петр Макаров, Сочинения и переводы, т. I, ч. 1, изд. 2-е, М., 1817, стр. VII.

[15] Речь идет о братьях Мухановых — старшем Николае Алексеевиче (1804—1871) и младшем Владимире Алексеевиче (1805—1876), с которыми Пушкин познакомился зимой 1826/27 г. и с тех пор находился в добрых приятельских отношениях.

[16] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, стр. 96.

Было бы, с нашей точки зрения, неосторожно придавать этому свидетельству большее значение, чем оно имеет в действительности по своей фактической, документальной значимости.[17] Тем не менее оно необычайно важно для нас и нуждается в пояснениях, как письменный документ, единственный в своем роде, до известной степени воскрешающий перед нами тяжелое душевное состояние Пушкина в то время, когда создавался «Памятник», и раскрывающий психологические поводы и основания, способствовавшие его возникновению.

Братья Н. А. и В. А. Мухановы, по словам знавшего их лично П. И. Бартенева, нежно любили друг друга и своего третьего, старшего брата, Александра Алексеевича, умершего в 1834 г. Пушкин знал всех троих, и все они были большими его почитателями. Правда, Александра Муханова Пушкин выбранил в критической заметке, напечатанной в «Московском телеграфе» 1825 г., — «О г-не Сталь и г. А. М—ве» (XI, 27), но из записок Пушкина

---

[17] Так, В. Непомнящий в интересной статье «Двадцать строк (Пушкин в последние годы жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»)» («Вопросы литературы», 1965, № 4, стр. 112) считает, что «мухановский пересказ» является не только первым по времени из известных нам упоминаний о пушкинском «Памятнике», но «есть также первое из известных нам толкований стихотворения», и пишет по этому поводу: «Толкование это в наши дни покажется, пожалуй, странным. Автор „Памятника“ предстает перед нами в непривлекательном, жалко-меркантильном свете: „вздыхая“, „жалуясь“ на „неблагодарную“ публику, напоминая свои заслуги перед ней, он как бы выторговывает у нее право на потерянную „фаворию“. В лучшем случае это толкование показывает, как мало понимали Пушкина его современники и даже знакомые» (стр. 112). В. Непомнящий допускает здесь ряд неточностей. «Мухановский пересказ» «Памятника» — это всего лишь передача, и едва ли при этом текстуально точная, того рассказа, который Александр Карамзин слышал от Н. А. Муханова. При этом, как мы уже отмечали (см. выше, стр. 19), Пушкин едва ли показывал Муханову полный текст «Памятника», состоящий из пяти строф, да и о напечатании его не могло быть и речи; скорее всего Пушкин показал Муханову редакцию из трех строф, с пожеланием поэта себе самому — «хвалу и клевету приемли равнодушно»; к этому пожеланию и были даны соответственные пояснения: жаловаться на читателей и критиков, не понимавших поэта и наносивших ему тяжелые оскорбления, у Пушкина были все основания; любопытно, что мы знаем об этом, в частности, из письма С. Н. Карамзиной к тому же брату Андрею, к которому обращался и Александр Карамзин (ср. выше, стр. 104); оба эти свидетельства, заимствуемые из переписки Карамзиных, следует рассматривать одновременно: они, может быть, и объясняют все оттенки в том свидетельстве, которое неосторожно названо «пересказом Муханова». Мы, кстати сказать, не видим в словах Пушкина, переданных через третье лицо, никаких следов не только «жалкой меркантильности», но даже «непривлекательности». Некоторых других спорных положений указанной статьи В. Непомнящего коснулся Д. Д. Благой в своем полемическом отклике «Еще о „Памятнике“ Пушкина (к преподаванию литературы в школе)» («Известия Академии наук СССР», серия литературы и языка, 1966, т. XXV, вып. 2, стр. 118—122). На это последовал и ответ В. Непомнящего — «Зачем мы читаем Пушкина. (Ответ на статью проф. Д. Благого)» («Вопросы литературы», 1966, № 7, стр. 174—181).

к нему видно, что это не помешало их приятельским отношениям.[18] Николай Муханов жил в Петербурге, вращался в высшем свете и сделал в столице заметную чиновную карьеру; Владимир Алексеевич жил в Москве, числился среди «архивных юношей» и из всех братьев, вероятно, к Пушкину был ближе. С ним Пушкин был на «ты» и, будучи в Москве (в сентябре—октябре 1826 г.), звал на чтение «Бориса Годунова», приглашал и к себе вместе с А. С. Хомяковым (XIII, 301). Он был человеком скромным и высокообразованным. «Не будучи литератором, он живо интересовался литературой, много и серьезно читал, — характеризует его В. Ф. Саводник. — Письма его к братьям показывают, насколько обширен был круг его литературных интересов. Многие отзывы Муханова о произведениях современной литературы обнаруживают в нем правильный взгляд и тонкий вкус». «В частности, — прибавляет тот же исследователь, — он всегда очень высоко ценил Пушкина: в письмах его неоднократно встречаются отзывы о новых произведениях поэта, с которыми он спешил познакомиться. Литературные интересы Муханова поддерживались также и тем, что среди его знакомых было немало писателей: Баратынский, Хомяков и другие».[19] В 70-х годах П. И. Бартенев в некрологе Владимира Алексеевича, между прочим, отмечал, что он «был явлением поистине дорогим. Он развивал вокруг себя нравственную тишину и ясность. В нем особенно развито было чувство братства. Всем памятна тесная, напоминавшая собой примеры классической древности, дружба, которая соединяла его с покойным его братом Николаем Алексеевичем. Можно сказать, что по внутренней природе своей Муханов был брат по преимуществу».[20] Те же черты отличали его и в молодости, что видно, в частности, из его писем и из его дневников, к сожалению, изданных не полностью;[21] есть основания думать, что более тщательное их прочтение сможет обогатить нас каким-либо не учтенным еще свидетельством его о Пушкине и относительно «Памятника»: то, что знал о Пушкине Николай Алексеевич, знал также и Владимир Алексеевич, этот «брат по преимуществу», и не только знал, но и мог понять и истолковать — может быть, даже глубже и сердечнее.

[18] Весной 1827 г. А. А. Муханов приехал из Тульчина в Москву и писал оттуда в Петербург брату Николаю 16 марта: «Я часто видаю Александра Пушкина; он бесподобен, когда не напускает на себя дури» (Щукинский сборник, вып. IV, М., 1905, стр. 127).

[19] В. Ф. Саводник. Московские отголоски дуэли и смерти Пушкина. «Московский пушкинист», вып. 1, М., 1927, стр. 48.

[20] «Московские ведомости», 1876, № 309.

[21] Дневники В. А. Муханова (1836—1861 гг.) напечатаны (с пропусками) в «Русском архиве» 1896, 1897 и 1900 гг.; последующие частичные публикации хотя и восполнили эти пропуски, но не до конца. Характеристику всех рукописных материалов, оставшихся от братьев Мухановых, в том числе и их эпистолярного наследия, см.: И. С. Калантырская. Обзор фонда Мухановых. «Ежегодник Гос. Исторического музея, 1959», М., 1961, стр. 136—155 (о дневниках В. А. Муханова — стр. 147—148).

Все это необходимо иметь в виду, когда мы вчитываемся в письмо А. Н. Карамзина от 31 августа 1836 г., для того чтобы воспользоваться сообщенными в нем новостями о Пушкине. Между прочим, попутные характеристики, которые получают в нем оба Муханова, убийственны по своей язвительности и, пожалуй, даже недоброжелательному тону. Блестящий гвардейский артиллерист, каким был в то время Александр Карамзин, свысока отнесся к Владимиру Муханову — «худенькому», «тихонькому» чиновнику, напомнившему ему домашнего учителя; старший брат, Николай Алексеевич, был более во вкусе Карамзина — «очень разговорчив, весел и communicatif» (общителен), но и для него были найдены слова осуждения. Существенно, что оба Муханова названы в письме «друзьями сестер»: этим обозначением Карамзин подчеркивал свою незаинтересованность этими гостями и как бы отмежевывался от интимной приятельской близости с ними. Трудно поэтому представить себе, чтобы Карамзин с особым вниманием выслушал рассказ словоохотливого Николая Муханова о посещении им Пушкина 30 августа и тем более что он с полной точностью воспроизвел эту беседу. Из письма Карамзина следует и другое — что за несколько дней до Муханова он дважды ездил к Пушкиным на дачу на **Каменный остров** — с В. Н. Карамзиным и А. О. Россетом, но безрезультатно, получив ответ через слугу: «Наталья Николаевна приказали извиниться, они очень нездоровы и не могут принять». «Тогда, — пишет А. Карамзин, — проклятия и заглушенные вопли вырвались из наших мужских грудей. Мы послали к черту всех женщин, живущих на Островах и подверженных несуразным расстройствам. Этим и ограничились пока наши посещения». «Не будь этого услужливого недомогания, — прибавляет Карамзин в указанном письме, — Пушкины приехали бы в Царское провести вчерашний и позавчерашний дни», т. е. 29 и 30 августа, и тем самым не состоялась бы встреча Пушкина с Мухановым и содержание данного письма Карамзина было бы совершенно иным.

О неудачных поездках на дачу к Пушкиным 26 августа и «в глухую холодную ночь» 28 августа Карамзин несомненно сообщил и Мухановым, а в ответ он и услышал грустный рассказ Николая Муханова; впечатления обоих были сходными: в доме Пушкиных не все благополучно, поэт «ужасно упал духом», Наталья Николаевна не принимает гостей, ссылаясь на вымышленные недомогания; где уж было ждать их на именинах в Царском Селе 30 августа!

Тем не менее в рассказе Николая Муханова краски не были слишком сгущены, и, воспроизводя сообщенные им новости, Карамзин представлял себе, как дело обстояло в действительности. Со слов Муханова Александр Карамзин сообщил брату в указанном письме три достойных внимания и тесно связанных друг с другом новости о Пушкине: 1) поэт раскаивается, что он «на-

писал свой мстительный пасквиль»; 2) он «вздыхает по потерянной фавории публики»; 3) он написал «Памятник» («в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней»), и «эта пьеса прекрасна».

Что касается «мстительного пасквиля», то так названо Мухановым или Карамзиным стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому», напечатанное в сентябрьской книжке «Московского наблюдателя» 1835 г. (эта книжка явилась в свет лишь в конце декабря этого года). Читатели тотчас узнали лицо, в которое Пушкин метил. «Пасквилем» называли пушкинскую сатиру и другие его современники. В дневнике А. В. Никитенко мы находим, например, следующую запись под 17 января 1836 г.: «Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения (С. С. Уварова, — *М. А.*), на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их ... Пасквиль Пушкина называется „Выздоровление Лукулла“». Уваров «как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за „Анджело“. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова».[22] Еще более интересна для нас запись в том же дневнике Никитенко от 20 января: «Весь город занят „Выздоровлением Лукулла“. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением немного выиграл в общественном мнении, которым, при всей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор».[23] Если слух об этом «выговоре» на деле не оправдался,[24] то характерно, что он все же распространялся; в остальном документальное свидетельство Никитенко близко соответствует, даже стилистически, тому, что об этом стихотворении пишет А. Карамзин. Комментаторы его письма весьма кстати напоминают отклик на стихотворение Пушкина А. И. Тургенева (в его письме к П. А. Вяземскому от 9/21 марта 1836 г.), присланный из Парижа, где из осторожности Пушкин не назван, а упомянут «переводчик с латинского (жаль, что не с греческого!)». «Биографическая строфа, — доверительно

[22] А. В. Никитенко. Дневник, т. 1. М.—Л., 1955, стр. 179.

[23] Там же, стр. 180.

[24] См. комментарий к указанным записям И. Я. Айзенштока (там же, стр. 496), в котором сделана ссылка еще на один рассказ об «уваровской истории» в связи с сатирой Пушкина, принадлежащий П. В. Нащокину и записанный Н. Куликовым («Русская старина», 1881, № 8, стр. 616—618). Интересно, что в этом же смысле о «бессмертии», ожидающем С. С. Уварова, Пушкин писал Гоголю 13 мая 1834 г. О семантических оттенках понятия «бессмертие» у Пушкина в связи с цитатой из этого письма см.: Л. Боровой. Путь слова. Изд. 2-е. М., 1963, стр. 703—705.

пишет А. Тургенев П. Вяземскому, — будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. Подело́м вору и вечная мука!».[25] Но это мнение было прислано из Парижа и к тому же принадлежало одному из близких друзей Пушкина. Петербургские же литераторы считали опубликование этой сатиры ошибкой или непростительной неосторожностью. Так, А. В. Веневитинов упрекал М. П. Погодина: «Но как же вы спроста напечатали На выздоровление Лукулла! Эх! Эх!»,[26] а А. А. Краевский писал ему же: «А зачем Наблюдатель напечатал стихи На выздоровление Лукулла? Не хорошо. Я порадовался было, когда Пушкин сказал мне, что получил из Москвы известие об отказе Наблюдателя принять его стихи; а потом через неделю получаю 14-ю книгу Наблюдателя, где стихи уже тиснуты. По-моему, это большая неосторожность. На Пушкина смотреть нечего: он сорвиголова!».[27] Последствия этой «неосторожности», которую сразу почувствовал такой ловкий и опытный журналист-делец, как А. А. Краевский, действительно сказывались долго; у Пушкина несомненно были основания сожалеть, что его сатира напечатана, более восьми месяцев спустя: отношения его с петербургским высшим светом и тем более с двором и правительственными кругами непрерывно осложнялись, а громкая хула, которая все чаще раздавалась по его адресу со стороны «публики», т. е. широких кругов критиков и читателей, вызывала горечь и раздражение.

Интересное свидетельство оставил нам А. В. Дружинин. В статье 1855 г., посвященной новому изданию сочинений Пушкина, выпущенному П. В. Анненковым, Дружинин вспоминал: «Переносясь мыслью в отдаленные годы нашего детства, совпадавшие с годами лучшей деятельности Пушкина, мы находим себя в необходимости сказать, что великая часть читателей делила заблуждения критиков — врагов Пушкина. Мы помним дилетантов старого времени, входивших в гостиную с книжкой „Современника“ или „Библиотеки для чтения“ и говоривших: „исписывается бедный Александр Сергеевич: не даются больше стихи Пушкину!“. Память наша ясно представляет нам толстого господина, сидящего в кругу да̀м и мужчин, за круглым столом, и читающего комическим голосом „Песни западных славян“. Слушатели внимают с выражением некоторой грусти на лицах и все-таки смеются таким странным стихам, стихам, так похожим на простонародную прозу!».[28] Заблуждения подобных ценителей несомненно доходили

[25] «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 120.

[26] «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 716.

[27] Там же.

[28] А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. 7, СПб., 1866, стр. 30—31. Н. И. Иваницкий пишет в своей «Автобиографии» (1843): «Даже и средний класс неблагоприятно уже отзывался о Пушкине; говорили обыкновенно, что Пушкин исписался и т. п.» (Щукинский сборник, вып. VIII, М., 1909, стр. 262).

и до немногих истинных друзей Пушкина и до него самого: надо было что-то предпринимать, тем более что голоса осуждения звучали все громче и назойливее, а непонимание казалось все более возрастающим и всеобщим.

Оскорбительные отзывы журналистов во всяком случае нельзя было оставить без ответа: как никак они задавали тон и в значительной мере управляли суждениями читателей, весьма мало понимавших заслуги поэта и его действительную роль среди них. Об этих заслугах взволнованно и тревожно думали также искренне расположенные к Пушкину люди, наблюдая за все усиливавшимися в 1836 г. нападками на Пушкина в печати. Так, В. Ф. Одоевский, прочтя указанную выше статью П. Медведовского-Юркевича в «Северной пчеле» от 18 июля 1836 г., пришел в сильное негодование; она представилась ему «сокращением всего того, что „Северная пчела", „Сын отечества" и „Библиотека для чтения" под разными предлогами с некоторого времени стараются втолковать своим читателям». Он решил не оставить ее без ответа и написал яркую, смелую, красноречивую статью, озаглавив ее «О нападениях петербургских журналов на Пушкина». Однако напечатать ее не удалось, несмотря на все его усилия. В бумагах В. Ф. Одоевского она сохранилась в нескольких авторских вариантах. На полях одного из них сделана запись рукою самого В. Ф. Одоевского: «Писано незадолго до кончины Пушкина — ни один из журналистов не решился напечатать, боясь Булгарина и Сенковского». Из других бумаг явствует, что Одоевский обращался с просьбами опубликовать ее и в «Московский наблюдатель», и в «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"», но тщетно; в печати она появилась впервые лишь в 1864 г.[29]

Разоблачая истинные мотивы нападок на Пушкина продажной клики журналистов, этих «литературных диктаторов» и «негоциантов», Одоевский разъяснял, на какой неизмеримой высоте стоит Пушкин, «эта радость России, наша народная слава, Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете». Отвечая врагам поэта, лицемерно удивлявшимся тому, что Пушкин сделался журналистом, Одоевский красноречиво доказывал, что никто другой не мог бы быть столь полноправным и авторитетным руководителем общественного мнения: «Если кто-нибудь в нашей литературе имеет право на голос, то это без сомнения Пушкин. Все дает ему это право — и его поэтический талант, и проницательность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконные познания большей части из наших журналистов, ибо Пушкин не останавливался на своем пути, господа, как то случается с нашими литераторами; он, как Гёте и Шиллер,

---

[29] П. Н. Сакулин. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 2. М., 1913, стр. 325—326.

умеет читать, трудиться и думать; он — поэт в стихах и бенедиктинец в своем кабинете; ни одно из таинств науки им не забыто, и счастливец! он умеет освещать обширную массу познаний своим поэтическим ясновидением! — Ему ли не иметь голоса в нашей литературе!».[30]

Одоевский не закончил еще свои хлопоты по пристройству этой статьи в печать, когда состоялась роковая дуэль и Пушкин был мертв. Горе Одоевского было безгранично. Мы знаем сейчас, что именно ему принадлежали лирические строки, напечатанные в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1837, № 5, стр. 48): «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща».[31] Хорошо известно, что это первое краткое известие о смерти поэта вызвало цензурную бурю и грубые окрики в правительственных кругах, всегда казавшиеся последующим поколениям бессмысленными по своей жестокости и обскурантизму. Редактор «Литературных прибавлений» А. А. Краевский получил от гр. С. С. Уварова, тогдашнего министра народного просвещения (в то время являвшегося начальником Цензурного комитета), строгий выговор через попечителя и за траурную кайму, и за неуместные слова: «К чему эта публикация о Пушкине? Но что за выражения! „Солнце поэзии“! Помилуйте, за что такая честь?».[32] Трудно, конечно, с уверенностью сказать, какую

[30] Там же, стр. 327.

[31] Р. Б. Заборова. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I, Л., 1956, стр. 320—321. Авторство В. Ф. Одоевского получило документальное подтверждение в письме С. Н. Карамзиной к ее брату Андрею от 10 февраля 1837 г.: «Одоевский ... трогателен своею чуткостью и скорбью о Пушкине — он плакал как ребенок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строк, которыми он известил о его смерти в своем журнале» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов, стр. 176, 337, 396). Любопытно, что В. Ф. Одоевский хлопотал о распространении этого некрологического известия даже за рубежом. «Вы, верно, видитесь с Толстым, агентом Министерства народного просвещения в Париже, — писал В. Ф. Одоевский Б. В. Глинке-Маврину 14 мая 1837 г. — К нему вышлется весь год „Литературных прибавлений“, из которого он не худо сделает, если переведет строки, написанные о кончине Пушкина...» («Русская старина», 1880, № 8, стр. 805). Между тем некоторые читатели приписывали указанные некрологические строки не Одоевскому, но П. А. Плетневу. Н. И. Иваницкий в цитированной выше «Автобиографии» писал: «Всякий, кто знает Плетнева, без сомнения тотчас узнал, чьи это слова!» (Щукинский сборник, вып. VIII, стр. 263).

[32] «Русская старина», 1880, № 7, стр. 536—537. Ср. в воспоминаниях об А. А. Краевском (которому долго приписывались указанные некрологические строки) В. Зотова (Нестор русской журналистики. «Исторический вестник», 1889, № 11, стр. 363). См. также: В. Е. Якушкин. О Пушкине. Статьи и заметки. М., 1899, стр. 95. В начале февраля 1837 г. Краевский писал В. Г. Белинскому: «Да, мы потеряли Пушкина — единственное вдохновение России, редкое и почти случайное!», но очень глухо упомянул о последовавших за смертью поэта «обстоятельствах», которые замедлили его ответное письмо (Белинский и его корреспонденты. Под ред. Н. Бродского. М., 1948, стр. 95 и 105).

роль в этом окрике мстительного министра играли его личные чувства, оскорбленные стихотворением Пушкина «На выздоровление Лукулла»; нужно думать, что затаенная обида сказалась в этом пренебрежительном отзыве не в малой степени. Отметим, однако, что в основе приведенных выше строк Одоевского лежит тот же образ «светила, в полдень угасшего», пущенный в оборот врагами поэта и лицемерно скрывавший резкое его осуждение, которым Одоевский воспользовался для того, чтобы придать ему обратный, трагически-утверждающий смысл. Физическая смерть поэта патетически оправдывала истертую поэтическую формулу, утверждая в сознании читателей Одоевского значение этого мнимо померкшего светила как «солнца русской поэзии», закатившегося по непреложному закону природы, но бессмертного. Тем же поэтическим уподоблением тотчас же воспользовался и А. В. Кольцов в своем письме к А. А. Краевскому (от 13 марта 1837 г.), этом «стихотворении в прозе» о смерти Пушкина: «Александр Сергеевич Пушкин помер; у нас его уже более нету! ... Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновенным блеском, огня животворной силой, едва огласилась могучая Русь стройной гармонией райских звуков ... Прострелено солнце... Лицо помрачнелось, безобразною глыбой упало на землю».[33] Вскоре образное определение Пушкина как «солнца русской поэзии» вошло в обиход русской речи как устойчивая формула.[34]

В свете тех данных, которые дают о Пушкине в осенние месяцы 1836 г. недавно опубликованные письма семьи Карамзиных, история возникновения его «Памятника» представляется совершенно иной, чем она изображалась доныне, освещаясь как бы изнутри, из тех сугубо личных мотивов, которые привели Пушкина к мысли ясно и громко возгласить, что он думает о себе, о своем творчестве и о той справедливой оценке, которую оно получит у потомков. Вне анализа этих мотивов, случайно открыв-

---

[33] А. В. Кольцов, Полное собрание сочинений, под ред. А. И. Лященко, СПб., 1911, стр. 168.

[34] Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. 2-е. М., 1960, стр. 571. В этой же книге указано, что это поэтическое выражение продолжало длинную традицию, так как оно в сходном виде употреблялось еще в древнерусской письменности, откуда его почерпнул Карамзин. В «Истории государства Российского» (т. IV, гл. 2) он рассказывает, что, «когда в 1263 г. умер Александр Невский, митрополит киевский Кирилл, сведав о кончине великого князя ... в собрании духовенства воскликнул: „Солнце отечества закатилось“. Никто не понял сей речи. Митрополит долго безмолвствовал, залился слезами и сказал: „Не стало Александра!“. Все оцепенели от ужаса, ибо Невский казался необходимым для государства и по летам своим мог бы жить еще долгое время». Источником Карамзина была «Степенная книга» (XVI в.), в которой указанная фраза читается так: «Уже заиде солнце земьля Руськия». Добавим, что и Шишков, рассказывая о смерти Екатерины II, восклицал: «Российское солнце погасло» (Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова, т. I. Берлин, 1870, стр. 9).

шихся нам из связки старых семейных писем, все дальнейшие толкования «Памятника», как бы ни были остроумны догадки о происхождении его отдельных образов и стихотворных строк, являются бесполезными и ошибочными. Как видим, мы еще далеки от уверенности, что все загадки, которые «Памятник» Пушкина ставит своим исследователям и заинтересованным читателям, разрешены до конца. Находка семейной переписки Карамзиных позволила лишь несколько глубже, чем это удавалось доныне, заглянуть в историю возникновения этого стихотворения, осветила кое-какие, но отнюдь не все, частные поводы, способствовавшие его созданию. И все же общая картина развития его замысла в творческом сознании Пушкина и последующего воплощения его в поэтическом слове остается еще во многом неясной, спорной, недостаточно объясненной. Мы знаем теперь, каким реальным содержанием обладали слова поэта об отказе спорить с глупцами, какою пульсирующею кровью раненого сердца наполнялись строки о бесстрашной готовности выслушивать дальнейшие незаслуженные обиды, и понимаем, что это были не абстрактные декларации олимпийца, далекого от жизни, но вынужденная самозащита от злобных нападок недоброжелателей в той ожесточенной литературной и журнальной борьбе, которую Пушкин вел в это время почти в одиночестве, отбиваясь от противников, все возраставших в числе. Но мы пока не знаем еще, как и почему поэт сделал еще один ответственный шаг — от самозащиты к гордому самоутверждению, от повседневной полемики с привычными врагами к желанию подвести итог своей творческой деятельности; на это должны были быть особые и притом очень веские причины. Между тем мы плохо представляем себе, в каких соотношениях находится «Памятник» с другими стихотворениями Пушкина второй половины 1836 г., почему это стихотворение занимает обособленное положение в его лирике этого времени, — не только тематически, но даже по своим метрическим и стилистическим признакам, — имея свою аналогию только в его поэзии лицейского периода. Мы не знаем даже, готовил ли Пушкин свой «Памятник» к изданию или же стихотворение вылилось из-под его пера свободно, естественно, непреднамеренно, только для того, чтобы успокоить сердце, умерить захлестывавшие его через край чувства справедливого негодования, и он беседовал наедине с самим собой или, пытаясь заглянуть в будущее, через головы своих недогадливых и неблагодарных современников, обращался непосредственно к потомкам...

Нельзя, впрочем, сказать, что некоторые из перечисленных вопросов не вставали уже перед его исследователями, однако эти недоуменные вопросы пытались ставить и решать по отдельности, не объединяя в один сложный комплекс всех задач, требующих общего решения, которое оказалось бы верным по отношению к каждой из них. Остановимся на некоторых из высказанных

догадок и предположений и попытаемся выяснить, насколько они правомерны или справедливы и в какой мере они могут быть пригодны для последующего исследования.

8

Один из первых читателей пушкинского «Памятника», А. И. Тургенев, еще в 1836 г., т. е. задолго до его напечатания, назвал его «подражанием Державину». С тех пор, как мы видели, впечатление о тесной связи, которая существует между двумя этими сходными произведениями — Державина и Пушкина, превратилось в утверждение и оставалось одним из прочных и устойчивых в пушкиноведении, хотя вопрос о том, почему в 1836 г. Пушкину вспомнился именно Державин с его «Памятником», в сущности, даже не ставился. Дело ограничивалось выяснением действительно существующих между обоими стихотворениями стилистических или текстуальных соответствий. Так, например, Н. Н. Страхов, рассуждая о «переимчивости» Пушкина и ссылаясь на вольные или невольные подражания предшествовавшим и современным ему поэтам, когда он «совершенно входил в их тон», сбивался на их стихи «и звуком и мыслями», приводил в пример и «Памятник» с его «принужденными» «архаизмами и галлицизмами», которые «объясняются едва ли не одним влиянием Державина»: «Нам кажется, что склад Державина отразился, и едва ли выгодно для Пушкина, в следующих стихах „Памятника“», — далее следует текст пушкинского стихотворения, в котором курсивом выделены следующие «державинские», по его мнению, выражения: «душа в заветной лире», «и тленья убежать», «доколь», «пиит», «всяк сущий в ней язык».[1] Между тем Б. В. Томашевский, изучая строфику Пушкина, отметил в качестве существенной особенности этого стихотворения то, что «Пушкин не воспроизвел строфы державинского „Памятника“ и что строфа, им употребленная в данном случае, занимает «несколько уединенное место».[2] Действительно, хотя «Памятник» написан шестистопным ямбом, но каждая его строфа состоит из четырех стихов с перекрестными рифмами и заключается четвертым усеченным, четырехстопным, с мужским окончанием. «Не ясно, — отмечает исследователь, — опирался ли здесь Пушкин на русскую традицию Строфа эта встречается у французских одописцев ... Однако нет ничего общего между этими произведениями и „Памятником“, кроме принадлежности к общему жанру оды. Впрочем, здесь необ-

[1] Н. Страхов. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888, стр. 43.

[2] Б. В. Томашевский. Строфика Пушкина. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, М.—Л., 1958, стр. 76.

ходимо учесть, что именно одну из од Горация (Odi profanum vulgus et arceo) подобной строфой перевел В. В. Капнист».[3] Существенная сама по себе справка, однако, нисколько не проясняет нам, почему Пушкин при создании «Памятника», подражая Державину и текстуально пользуясь несколькими стихами из его оды, не воспользовался также строфой, примененной Державиным; строфа «Памятника» имеет аналогию у Капниста, в его подражании другой оде Горация, тоже знаменитой, но не имевшей ничего общего с темой «Памятника». Существенно и очень интересно для нас также указание Б. В. Томашевского на то, что строфа «Памятника» впервые, но единственный раз применена Пушкиным в двух заключительных четверостишиях его раннего лицейского стихотворения «Наполеон на Эльбе» (1815), конец которого читается так:

Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Все смолкло... трепещи! Погибель над тобою
И жребий твой еще сокрыт!

(I, 116)

Предстоит еще, следовательно, определить, чем вызвано было обращение Пушкина к этой строфе только дважды за всю его жизнь — в начале и в конце литературного поприща.

Н. В. Измайлов, со своей стороны, отметил, что в стихотворении «Памятник» «строфичности требовала давняя горацианско-державинская традиция, которой следовал Пушкин; усечение же последнего стиха каждой строфы, в отличие от Горация и Державина, введено им, очевидно, чтобы подчеркнуть смысловые концовки, столь значительные в этом стихотворении («Александрийского столпа», «И милость к падшим призывал», «И не оспоривай глупца»)». Однако это наблюдение все же не разъясняет нам, почему именно данное стихотворение своей метрической особенностью выделяется среди всех остальных, написанных приблизительно в то же время, хотя, по мнению Н. В. Измайлова, оно должно занять свое место в обособленном лирическом цикле, собранном поэтом в августе, или даже «в самом конце августа 1836 г.», до его переезда в начале сентября с дачи на Каменном острове в город.[4]

Вопрос об этом лирическом цикле безусловно заслуживает особого обсуждения, независимо от того, включался ли в него «Памятник» или нет; в данном случае мы можем его коснуться

---

[3] Там же, стр. 77. Речь идет о 1-й оде III книги Горация, которая в переводе В. В. Капниста под заглавием «Ничтожество богатств» впервые опубликована была в «Трудах Казанского общества любителей отечественной словесности» (1815, ч. 1). См.: В. В. Капнист, Собрание сочинений, под ред. Д. С. Бабкина, т. II, М.—Л., 1960, стр. 49, 555.

[4] Н. В. Измайлов. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, М.—Л., 1958, стр. 30.

только в связи с интересующим нас стихотворением. Представление об этом цикле возникло по той причине, что автографы нескольких стихотворений Пушкина, написанных им летом 1836 г. или окончательно отделанных в это время, имеют римские цифры (II, III, IV, VI), заменяющие или дополняющие их заглавия; при этом трудно установить, когда проставлены эти номера — после перебелки или в то время, когда стихотворение переписывалось поэтом.[5]

В автографических списках указанные номера имеют следующие стихотворения: II — «Отцы пустынники...»; III — «Подражание итальянскому. (Как с дерева сорвался предатель-ученик)»; IV — «Мирская власть»; VI — «Из Пиндемонти». Если перед нами действительно лирический цикл, обладающий какими-то общими признаками, или сюита стихотворений, имеющая определенную последовательность, установленную самим поэтом, то возникает естественная необходимость определить, какие стихотворения должны были быть обозначены пропущенными римскими цифрами I и V, так как такие стихотворения нам пока неизвестны. Н. В. Измайлов, подробно охарактеризовав условия, при которых создавались «стихотворения, отразившие в себе, с разных сторон и в разных формах, настроения и раздумья поэта и объединенные им, для будущей публикации, в своего рода если не тематический, то смысловой и формально-художественный цикл», пытается указать те стихотворения, которые должны были заполнить два пустующих места в этом цифровом ряду. По его мнению, на первом месте нужно поставить стихотворение «Я памятник себе воздвиг», написанное 21 августа 1836 г. «Это одновременно и утверждение поэтом своего значения в русской исторической и национальной жизни, своего места в настоящем и будущем России (строфы 1—3), и декларация своих прав на бессмертие, т. е. своего взгляда на то, чем должен быть истинный народный поэт, и в последней строфе заявление о своем отношении к временным и мелким явлениям литературного „быта“. Если сообщение А. Н. Карамзина, отмеченное выше, и справедливо по отношению к этой последней строфе, то первые четыре выходят по смыслу далеко за пределы журнальной полемики 1836 г. и представляют широчайшее обобщение, подсказанное поэту не соображениями полемики, но всей общественно-политической и литературной обстановкой 30-х годов. В этом обобщении — значение стихотворения, и оно-то позволяет

[5] Отсюда возникли разнообразные затруднения, в частности неправильные чтения заглавий. Так, последнее стихотворение, имеющее в автографе это цифровое обозначение, долгое время печаталось под бессмысленным заглавием: «Из VI Пиндемонте» (см.: К. П. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет, 1837—1937. М., 1938, стр. 59, № 357). Цифра VI поставлена была поэтом между двумя словами заглавия (которое менялось) и показалась П. В. Анненкову и другим издателям сочинений Пушкина неотделимой от этого заглавия или даже его уточняющей.

предположительно включить его в цикл „самораскрытий“ Пушкина, о котором идет речь».[6] «Пустующее пятое место, — по мнению Н. В. Измайлова, — должно занимать стихотворение „Когда за городом, задумчив, я брожу“, написанное 14 августа. Оно по форме представляет такое же размышление, монолог для себя, как „Из Пиндемонти“, „Мирская власть“, „Отцы пустынники“ ... В нем, как и в некоторых других, характер размышления, внутреннего монолога, выхваченного из целого потока мыслей и переживаний, подчеркивается обрывом последнего стиха:

Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

«То же — в стихотворении „Из Пиндемонти“, а также в более раннем „Вновь я посетил“».[7]

Эти догадки встретили серьезные возражения: «Включение „Памятника“ в этот цикл стихов мне представляется неправомерным, — слишком далеко это стихотворение и по своей теме, и по художественной манере от остальных», — писал Н. Л. Степанов, считая, впрочем, «весьма убедительным» предположение, что пятым стихотворением является «Когда за городом, задумчив, я брожу».[8] Р.-Д. Кейль в упоминавшемся выше исследовании высказался против обеих этих догадок; в частности, он не обнаружил никакого «тематического родства» между «Памятником» и остальными четырьмя стихотворениями данного гипотетического цикла.[9] В самом деле, основания для сближения их в известного рода комплекс по тематическому или какому-нибудь другому признаку представляются в значительной мере призрачными и надуманными, поскольку указанными для них общими признаками сходства обладают многие другие стихотворения Пушкина 1835—1836 гг.; это признает и сам автор гипотезы, когда утверждает, что стихотворения данного цикла, «имеющие внутреннее, а отчасти и внешнее единство», в то же время многими нитями связаны с другими произведениями медитативной лирики, с раздумьями-монологами, столь характерными для Пушкина 30-х годов.[10] Нельзя не отметить, однако, что истолкование «Памятника»,

[6] Н. В. Измайлов. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов, стр. 38.

[7] Там же, стр. 39. Те же догадки о «Памятнике» и «Из Пиндемонти», но в более осторожной форме и с дополнительными оговорками, Н. В. Измайлов высказал при публикации автографа стихотворения «Мирская власть» («Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», 1954, т. XIII, вып. 6, стр. 555).

[8] Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина. Очерки и этюды. М., 1959. стр. 32.

[9] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI, H. 2, SS. 176—177.

[10] Н. В. Измайлов. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов, стр. 39.

данное самим Р.-Д. Кейлем, в свою очередь вызвало споры и справедливые упреки.[11]

В особенности энергично, и на этот раз, по нашему мнению, с достаточными основаниями, Р.-Д. Кейль возражал против догадки, что в предполагаемом цикле «Памятник» мог занимать начальное, первое место. В самом деле, цель, которую ставил себе Пушкин, определяя цифровую последовательность известных нам четырех стихотворений, в точности неизвестна. Н. В. Измайлов предполагал, что этот цикл «произведений обобщенно-философского значения» Пушкин мог предназначать для напечатания в «Современнике» 1837 г., но тут же должен был признать, что «сугубо внимательная, подозрительная и придирчивая к „Современнику" цензура не пропустила бы их, по крайней мере без изменений, и при жизни Пушкина». «Сомневаясь, быть может, в возможности напечатать намеченный цикл целиком», полагает Н. В. Измайлов, Пушкин составил, по-видимому, осенью в сентябре—октябре того же 1836 г. особый список своих еще не напечатанных стихотворений, в который включены «два или три стихотворения из первого цикла», а также «ряд других, взятых из разных годов».[12] Определение стихотворений этого списка, названных здесь Пушкиным неточно, для памяти, наталкивается на известные трудности;[13] ясно во всяком случае одно, что «Памятника» среди них нет.

Р.-Д. Кейль исходит из того, что в конце 1836 г. по договору с книгопродавцем А. Плюшаром Пушкин готовил издание сборника своих стихотворений: до нас дошли, к сожалению неполностью, рукопись предположенного издания (писарские копии с печатных текстов) и несколько обложек для задуманных отделов сборника с обозначениями их, написанными рукой Пушкина. Остается неиз-

---

[11] Так, А. Шмаус (Alois Schmaus. Zu Puškins «Pamjatnik». «Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver», Roma, 1962, pp. 570—572) представил основательные возражения против мнения Кейля относительно «внутренней структуры» пушкинского «Памятника», и в частности против его утверждения, будто бы все пять строф стихотворения посвящены различным аспектам только одной темы о «бессмертии творчества» и что «связывает» эти аспекты в одно целое (das verbindende Element) «религиозная атмосфера», якобы отличающая это произведение. Все это явные следы архаических идей о «Памятнике» М. О. Гершензона, еще проявляющихся порой в зарубежных трудах о Пушкине. См., например, истолкование четвертой строфы «Памятника» («И долго буду тем любезен я народу») В. Сечкаревым в духе М. Гершензона (Vsevolod Setschkareff. Alexander Puschkin. Sein Leben und sein Werk. Wiesbaden, 1963, S. 62) и справедливый упрек, сделанный ему по этому поводу И. Хольтхузеном («Die Welt der Slaven», 1964, Jhg. IX, № 4, S. 416).

[12] Н. В. Измайлов. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов, стр. 39.

[13] См. комментарий к этому списку М. А. Цявловского в сб. «Рукою Пушкина» (М.—Л., 1936, стр. 285—286) и дополнительные соображения Н. В. Измайлова (там же, стр. 40—44). Только два стихотворения интересующего нас цикла можно узнать в этом перечне: «Кладбище» («Когда за городом, задумчив, я брожу») и «Не дорого ценю» («Из Пиндемонти»).

вестным, закончена ли была работа по предварительной подготовке этого сборника к печати или она была прервана в середине, однако Р.-Д. Кейль обратил внимание на отдел «Подражания древним», состав которого сохранился не вполне; тем не менее наличие этого отдела позволило ему высказать догадку, что «Памятник» предназначался Пушкиным либо для того, чтобы заключить этот отдел, либо для того, чтобы закончить весь этот сборник.

Делая это новое предположение, Р.-Д. Кейль исходил из следующих соображений. Пушкин, полагает он, не только знал местоположение «Exegi monumentum» в «Carmina» Горация (в конце III книги), но знал, вероятно, что это не было случайностью: еще старинные комментаторы Горация обычно сообщали, что, готовя издание всех своих од в трех книгах, римский поэт написал в качестве вступления к этому изданию посвятительную оду «Меценату» и в качестве его заключения — «Exegi monumentum». Если за три года до создания своего «Памятника», рассуждает Р.-Д. Кейль, Пушкин перевел указанную посвятительную оду Горация («Царей потомок, Меценат», III, 299), то не предполагал ли он закончить «Памятником» собственный сборник стихотворений в одном томе 1836 г.? [14] Предположение, что Пушкин знал назначение горациевского «Exegi monumentum» (III, 30) в композиции его «Carmina», не лишено вероятности, но отсюда, разумеется, не следует еще, что своему подражанию этой оде Горация он предназначал такое же место в собственном сборнике стихотворений. Любопытно, впрочем, что редакторы — издатели его сочинений в XIX в. по собственному почину, без всякой оглядки на пример Горация, отводили стихотворению «Я памятник себе воздвиг» подобное место завершительной концовки. Так, в 1855 г. П. В. Анненков в своем издании закончил «Памятником» отдел «Лирических стихотворений» Пушкина (т. III, стр. 69), а пятилетие спустя Г. Н. Геннади дал следующее примечание к «Памятнику» в своем библиографическом «списке стихотворений» Пушкина: «Хотя эта пьеса не может считаться последним произведением Пушкина, но очень кстати помещена П. В. Анненковым в конце других стихотворений этого года, в виде заключения; следуем его примеру».[15]

Гипотеза Р.-Д. Кейля, однако, едва ли может быть поддержана какими-либо соображениями. Задуманный Пушкиным, но не осуществленный лирический сборник 1836 г., насколько мы представляем его себе по сохранившимся рукописным материалам, очевидно, должен был состоять исключительно из произведений напечатанных, давно прошедших цензуру и хорошо известных читателям. По-видимому, ни одно неопубликованное стихотворение

---

[14] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». SS. 176—177.

[15] Г. Н. Геннади. Приложения к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым. СПб., 1860, стр. 98.

Пушкина сюда не должно было быть включено; здесь не могло появиться ни одно стихотворение 1836 г., и, следовательно, ни одно из тех, которые занимают реальное или условное место в указанном выше гипотетическом «цикле 1836 г.». Назначение сборника было совсем другое — чисто практическое: стесненный в средствах и обремененный долгами, Пушкин крайне нуждался в авторском гонораре и пошел даже на явно кабальную для него сделку с книгопродавцем А. Плюшаром, чтобы получить нужную ему денежную сумму. В этих условиях включение в новый сборник стихотворений, еще не печатавшихся, было ненужным и даже затруднительным, в особенности из-за отношений Пушкина с цензурным ведомством, подчиненным в то время С. С. Уварову. Можно ли предполагать, после высказанных соображений, что Пушкин, подражая Горацию, именно «Памятником» должен был заключить свою книгу 1836 г.? Едва ли.

С уверенностью можно дать отрицательный ответ на этот вопрос, если мы будем исходить не только из фактических данных, но и из психологических оснований, представляя себе Пушкина-поэта, отдающего в печать — в условиях ослабления к себе читательского интереса — указанный сборник с единственным новым стихотворением, в котором он говорит о своих заслугах и будущей. посмертной славе. О своей популярности у современников Пушкин чаще всего говорил в шутливых, а не патетических тонах, с удивительной сдержанностью и скромностью, поражавшей близких ему современиков, например П. А. Плетнева.

Описывая рисунки Пушкина, в таком изобилии украшающие его рукописи, А. Эфрос обратил внимание на рисунок пером, сохранившийся в начале рабочей тетради поэта конца 20-х годов [16] и незадолго перед тем впервые изданный Н. О. Лернером с пояснениями.[17] На этом рисунке Пушкин изобразил самого себя в профиль, увенчанного лавровым венком; кроме того, нижняя линия рисунка — сделанный быстрым, но уверенным росчерком изгиб под острым углом — создает впечатление, что, завершая набросок, Пушкин думал о своем скульптурном изображении. Ниже поместился другой мужской профиль — по-видимому, А. Мицкевича, а внизу, может быть, «кавказский пейзаж» (тополь, конь без седока, горец с копьем в руке — по толкованию публикатора). А. Эфрос писал по поводу этого автопортрета Пушкина: «Рисунок свидетельствует о первом появлении настроений, которые спустя шесть лет получили развернутое, программное высказывание в стихах „Памятника“ 1836 года. Автопортрет в венке тем любопытнее, что даже перед самим собой, в недоступных никому черновиках, Пушкин не сразу решился утверж-

[16] Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский дом), № 842 (прежний шифр: ЛБ 2373), л. 6.

[17] Н. О. Лернер. Неизданные рисунки Пушкина. «Красная нива», 1929, № 15, 7 апреля, стр. 20.

дать, что он „памятник себе воздвиг нерукотворный"; набросав свое увенчанное лаврами изображение, он стал зачеркивать в нем как раз то, что давало портретное сходство, — характерную линию носа, губ, подбородка. Является ли этот автопортрет отголоском чествования Пушкина в Тифлисе во время его поездки в 1829 году, как предполагает Н. Лернер, опираясь на сообщение К. И. Савостьянова о том, что во время этого чествования Пушкина „увенчали венком из цветов?",[18] — спрашивает Н. Эфрос и продолжает: — Возможно, что предположение правильно, однако и в этом случае замечательна трансформация цветочного венка в традиционный, вековой, лавровый. Во втором мужском профиле Н. Лернер верно усматривает Мицкевича».[19] А. Эфрос придавал особо важное значение тому обстоятельству, что данному автопортрету Пушкина «нет ни повторений, ни подобий во всей обширной группе его разнохарактерных портретов»; это утверждал и Н. О. Лернер, так как действительно никакой аналогии этому автопортрету в венке в то время среди рисунков Пушкина обнаружено не было;

---

[18] Добавим от себя, что Н. О. Лернер воспользовался незадолго перед тем напечатанным «Рассказом К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 годах» (Пушкин и его современники, вып. XXXVII, Л., 1928, стр. 148). В этом рассказе К. И. Савостьянова (1805—1871), записанном по настоянию известного кишиневского знакомца Пушкина и автора воспоминаний о нем — В. П. Горчакова, идет речь о празднике «в европейско-восточном вкусе», который Савостьянов устроил в честь великого поэта неподалеку от Тифлиса — в «одном из прекрасных загородных виноградных садов» (в конце мая или начале июня 1829 г.): «Все ликовало; когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из La Dame blanche, на русского Торквато надели венок из цветов, посадили в кресло и начали его поднимать на плечах своих при беспрерывном ура, заглушавшем гром полного оркестра музыки. Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражал ему, как кто умел, свои чувства, свою радость видеть его среди себя и благодаря его от лица просвещенных современников и будущего потомства за бессмертные творения, которыми он украсил русскую литературу». Характерно, что еще в 1828 г. В. С. Филимонов, посылая Пушкину свою книгу «Дурацкий колпак» (СПб., 1828), надписал на ней следующее четверостишие:

> Вы в мире славою гремите;
> Поэт! В лавровом вы венке.
> Певцу безвестному простите:
> Я к вам являюсь в колпаке.

(Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. СПб., 1910, стр. 110, № 405).

[19] А. Эфрос. Рисунки поэта. М., 1930, стр. 340—342 (и воспроизведение на стр. 167); изд. 2-е, М.—Л., 1933, стр. 426 (и воспроизведение на стр. 299). Однако из более полного 2-го издания почему-то исключены все указания на помещенные в упомянутой тетради Пушкина выписки из произведений Мицкевича, служащие подтверждением, что именно портрет польского поэта он изобразил здесь в непосредственном соседстве со своим профилем. «Внимание Пушкина к Мицкевичу в 1829 году, — писал А. Эфрос, — естественно еще и потому, что Мицкевич в это именно время уехал за границу, совершив то, о чем долго и напрасно мечтал Пушкин» (стр. 341).

Автопортрет Пушкина (1829). Пушкинский дом.

еще один, даже более интересный автопортрет поэта того же рода — с лавровым венком на челе — стал известен позже.

Два профиля — Пушкина и Мицкевича, вычерченные пером на полях указанной рукописи почти одновременно, безусловно находятся в ассоциативной связи; было бы весьма интересно дознаться, в какой именно. К соображениям, высказанным А. Эфросом, можно было бы прибавить также и следующее. В мартовской книжке «Московского телеграфа» за 1827 г. под заглавием «К***» появилось стихотворение Баратынского, в котором он убеждает некоего друга-поэта, что ему следует бояться не столько хулений, сколько славословий, и советует ему ждать в награду вместо искусственных цветов венка, сплетенного из благородного лавра. Первые три четверостишия этого стихотворения читаются так:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, —

Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.[20]

Таким образом, по мнению Баратынского, следует надеяться на бессмертную славу, но не придавать никакого значения преходящему, минутному успеху. Это стихотворение Баратынский воспроизвел в том же 1827 г. в книжке своих стихотворений с тем же заглавием («К***») и несколько лет спустя (в издании 1835 г.) уже без всякого заглавия, благодаря чему высказанные в нем мысли приобрели некую принципиальную обобщенность. Между тем написано оно было несомненно по конкретному поводу и явно обращалось к реальному лицу. Впоследствии комментаторы поэзии Баратынского затратили немало труда на то, чтобы доискаться, к какому поэту адресовался здесь Баратынский, называя его «наставником» и «пророком». Иные пытались утверждать — без достаточных к тому оснований, — что Баратынский имел в виду Пушкина или даже А. Н. Муравьева; по-видимому, наиболее правдоподобно предположение, что стихотворение относится к А. Мицкевичу, к которому Баратынский относился с восторженным почитанием.[21]

Пушкину безусловно было известно это послание Баратынского. Он, вероятно, знал также, к какому поэту, имя которого

---

[20] «Московский телеграф», 1827, ч. XIII, № 3, стр. 96.

[21] П. П. Филиппович. Жизнь и деятельность Баратынского. Киев, 1917, стр. 127—134.

было замаскировано тремя звездочками, оно обращалось, разделяя в то же время основную, опорную мысль данного стихотворения. Отъезд Мицкевича из России в 1829 г., а с другой стороны, усилившиеся в это время нападки критики на собственные произведения Пушкина должны были обновить в его памяти стихотворные увещания, адресованные Мицкевичу Баратынским, не бояться «едких осуждений» и спокойно ждать будущего заслуженного признания. То, что Баратынский убежденно желал Мицкевичу, Пушкин мог относить теперь к самому себе и потому мечтательно рисовал профиль Мицкевича рядом со своим автопортретом в лавровом венке. Это было тем естественнее, что именно в 1829 г. и в том же «Московском телеграфе» Баратынский напечатал свою «Историческую эпиграмму», где встречается та же метафора славы — «венец», но на этот раз в применении к самому Пушкину, имя которого названо здесь полностью, без всякой зашифровки. «Историческая эпиграмма», как известно, была направлена против маститого «зоила» — А. Каченовского, как давнего редактора «Вестника Европы». В связи с опубликованными в 1828—1829 гг. в этом журнале статьями Н. И. Надеждина с резкой критикой произведений Пушкина, собственных стихов Баратынского и других поэтов «романтиков» автор «Исторической эпиграммы» вспоминал, что язвительных осуждений и поносительных отзывов, в свое время опубликованных в «Вестнике Европы». не избежали поэты трех поколений, неизменно, долгие годы приводившие в ярость редактора этого журнала своим «счастливым вдохновением». Первым из них был И. И. Дмитриев;

> Бесил Жуковский вслед за ним,
> Вот Пушкин бесит...

Таким образом,

> Три поколения певцов
> Тебя красой своих венцов
> В негодованье приводили...

Эпиграмма потому и получила от автора название «Исторической», что она имеет в виду несколько десятилетий развития русской поэзии, достигшей полного расцвета, от лучших образцов которой суровый, но убогий критик отмахивался с поразительной настойчивостью. Баратынскому оставалось издевательски пожелать Каченовскому долголетия, чтобы этот безвкусный и непонятливый отрицатель с прежним однообразием питал чувства недоверия и неприязни ко всем певцам, достойным удивления и похвал:

> Пекись о здравии своем,
> Чтобы, подобно первым трем,
> Другие три тебя бесили.[22]

[22] «Московский телеграф», 1829, ч. 26, № 7, апрель, стр. 257—258.

Приведенные примеры во всяком случае показывают, что уже в конце 20-х годов для Пушкина и поэтов из его окружения весьма злободневными являлись споры о том, как следует относиться к хулениям и осудительной критике, к признанию или непониманию их творчества современными и будущими читателями, к славе прижизненной и посмертной. Еще острее все эти вопросы ставились в следующее десятилетие.

Вскоре после выхода в свет второго издания книги А. Эфроса «Рисунки поэта» в одном из альбомов Государственного Исторического музея в Москве между заполняющими его рисунками Сен При, «острый карандаш» которого Пушкин вспомнил в «Евгении Онегине», обнаружен был и опубликован без всяких пояснений в «Литературном наследстве» (с подписью «Шуточный автопортрет Пушкина»)[23] крайне интересный карандашный рисунок самого Пушкина с его собственноручной подписью, где изображен профиль поэта, явно шаржированный, как бы скопированный с его воображаемого бюста, с лавровым венком на челе; подпись гласит: «il Gran'Padre A. P.». В настоящее время альбом, в который вклеен этот рисунок, находится в Пушкинском доме среди других рукописей Пушкина.[24]

Вскоре после первого своего появления в печати этот рисунок был воспроизведен снова с пояснительной заметкой к нему Т. Г. Зенгер-Цявловской.[25] «Утрированные черты лица, сбивающиеся на карикатуру, — пишет она в этой заметке, — и надпись говорят за то, что рисунок сделан в шутку. Пушкин называет себя „il Gran'Padre" (Великий Отец), — так, как он называл великого Данте (в письме к Н. Н. Раевскому от марта—апреля 1827 г.), повторяя вместе с Байроном определение, данное Данту Альфиери в сонете последнего:

O, gran padre Alighieri, se del ciel mire».[26]

«Рисунок, — продолжает Т. Г. Цявловская, — можно отнести к 1835—1836 гг., так как бумага, на которой сделан рисунок, употреблялась Пушкиным в эти годы: она хорошо знакома нам по заметкам к „Слову о полку Игореве" и по „Table Talk'у",

---

[23] «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 469.

[24] О. С. Соловьева. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 года. Краткое описание. М.—Л., 1964, стр. 85. История этого интересного альбома, к сожалению, мало известна. В 1921 г. он был приобретен Гос. Историческим музеем в Москве у некоего В. В. Сарнова; о предшествующих его владельцах и составителях мы ничего не знаем. В альбоме 93 листа. Рисунок Пушкина находится на л. 60; на многих листах — следы оборванных рисунков.

[25] Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, стр. 693—694.

[26] М. Н. Розанов. Пушкин и Данте. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XXXVII, Л., 1928, стр. 18.

часть которого написана на тонкой (белой) скрипучей бумаге без водяного знака».[27]

Датировка этого второго «автопортрета в лавровом венке» для нас очень существенна; она почти вплотную приближает нас ко времени создания «Памятника». О «Памятнике» в связи с этим новонайденным рисунком вспоминал и А. Эфрос в своей книге

Шуточный автопортрет Пушкина (1835—1836). Пушкинский дом.

«Автопортреты Пушкина». Он отмечал, что последние по времени своего возникновения автопортреты Пушкина (в числе почти шести десятков, им изученных) были порождены «горечью, безысходностью, подавленностью, которой поэт был полон и от которой не избавился до конца». «Только сознание огромности своего исторического места и величавости своего поэтического гения выводили его из этого мучительного ощущения всегдашней жизненной усталости. В эти минуты возникли горделивые строчки „Памятника". В одну из таких минут должен был появиться и но-

[27] Рукою Пушкина, стр. 694.

вый, улыбчивый автопортрет в лавровом венке, который Пушкин не исчеркал, не заштриховал, как в 1829 году, а лишь ласково, слегка, чуть-чуть окарикатурил, — в тон полусерьезной, полушутливой надписи, которая сделана тут же ... Несмотря на ироничность автопортрета, Пушкин все же соединил дантовский титул со своим изображением. Нерукотворный памятник, вознесшийся непокорной главой выше Александрийского столпа, получил чуть-чуть сдвинутое, но не изменившее его сущности выражение. Потом опять надвигались будни, и подавленность вступала в свои права».[28]

Этого автопортрета коснулся также Б. В. Томашевский в своей статье 1936 г., напечатанной после смерти автора. С помощью этого рисунка Б. В. Томашевский попытался — как нам кажется, напрасно — объяснить предшествующий автопортрет в лавровом венке (1829 г.) с зашифрованным профилем. «В нем характерен не только лавровый венок, но и обрез голой шеи, типичный в изображениях на медальонах. Должно быть, — догадывается Б. В. Томашевский далее, — автопортрет этот внушен интересом к Данте, отразившимся в следующем 1830 году в известных терцинах. Вероятно, самую идею увенчанного медальонного изображения Пушкин заимствовал с известных изображений автора „Божественной комедии“. В этом изображении есть некоторая пародическая карикатурность, соответствующая его собственным пародиям на „Ад“ Данте («И дале мы пошли...»). Еще большая карикатурность, уже ничем не прикрываемая, присутствует в позднейшем автопортрете той же формы, находящемся в альбоме, принадлежавшем неизвестному лицу. Здесь та же медальонность, а сближение с Данте подчеркнуто надписью: Il Gran'Padre A. P.».[29]

Истолковывая автопортрет 1829 г., Б. В. Томашевский, с нашей точки зрения, ошибочно связывает его с мыслью Пушкина о Данте и о «медальонном изображении» итальянского поэта в лавровом венке. Последний не являлся устойчивым атрибутом одного лишь автора «Божественной комедии»; в пушкинское время были не менее распространены портреты увенчанных лаврами Петрарки или Торквато Тассо. С другой стороны, мы не усматриваем в автопортрете 1829 г. никакой «пародической карикатурности» и тем более соответствия ее «подражаниям» Пушкина Данте. Мысль о Данте бесспорно внушила Пушкину лишь второй и на этот раз действительно «пародический» автопортрет с лавровым венком.

---

[28] Абрам Эфрос. Автопортреты Пушкина. М., 1945, стр. 152—153.

[29] Б. В. Томашевский. Автопортреты Пушкина. В сб.: Пушкин и его время, вып. I, Л., 1962, стр. 331 (эта статья была написана в 1936 г. и предназначалась в качестве введения к специальному изданию автопортретов Пушкина, не вышедшему в свет). В соответствии с указанным мнением Томашевского воспроизведенный в данном издании автопортрет Пушкина 1836 г. получил и неверную датировку (1829 г.).

К догадкам о возникновении этого рисунка мы можем со своей стороны прибавить еще одно соображение. В середине сентября 1831 г., получив стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», П. Я. Чаадаев писал ему в Царское Село: «Я только что прочел ваши два стихотворения. Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание. Не могу достаточно выразить свое удовлетворение. Мы побеседуем об этом в другой раз, обстоятельно. Не знаю, хорошо ли вы понимаете меня. Стихотворение К врагам России особенно замечательно. В нем больше мыслей, чем было высказано и осуществлено в течение целого века в этой стране. Да, друг мой, пишите историю Петра Великого». Несколькими строками ниже Чаадаев говорит: «Мне хочется сказать себе: вот, наконец, явился наш Данте».[30] Что следовало за именем Данте в этой ответственной фразе, явно нуждающейся в пояснении, мы, к сожалению, не знаем, потому что как раз в этом месте кусок бумаги, на которой написано письмо, вырван; уцелевшая заключительная строка («...это было бы, может быть, слишком поспешно. Подождем») ничего не объясняет в образовавшемся пропуске и не восполняет утраченных слов.

Не подлежит сомнению, что Чаадаев сравнил Пушкина с Данте как с великим поэтом-гражданином Италии, могучая и неукротимая душа которого печалилась о судьбах родной страны: как раз в это время Данте прославляли прежде всего как поэта-патриота, проповедовавшего ненависть к врагам отечества и предателям национальной идеи. Поэтому и к Пушкину Чаадаев обращался со словами: «Вот вы, наконец, и национальный поэт». Это сопоставление не могло исчезнуть из памяти Пушкина. У нас есть все основания предполагать, что если Пушкин в 1836 г. в шутку применил к себе те самые начальные слова посвященного Данте сонета Альфьери (O, gran padre...), которые мы находим в письме Пушкина к Н. Н. Раевскому 1827 г., то он мог припомнить также обращение к нему Чаадаева несколько лет спустя (в письме от 18 сентября 1831 г.): «Наш Данте...».

Воспроизводя карикатурный автопортрет, в котором Пушкин иронизировал над самим собой, вообразив в шутку себя в роли Данте, увековеченным в соответственном бюсте — с таким же лавровым венком, которым увенчан автор «Божественной комедии» в его знаменитом бюсте, столько раз воспроизведенном, Т. Г. Цявловская обратила внимание на то, что этот рисунок Пушкина «оказался пророческим, так как уже весной 1837 г.,

[30] Подлинник письма на французском языке (XI, 228, 440). В академическом издании Сочинений Пушкина текст интересующей нас строки с именем Данте содержит непонятное для нас искажение: «Voici *venir* (sic!) notre Dante enfin...». Во всех предшествующих изданиях (см., например: Сочинения Пушкина... Переписка, под ред. и с прим. В. И. Саитова, т. II, СПб., 1908, стр. 328) печаталось «Voici *venu*».

вскоре после смерти Пушкина, скульптор И. П. Витали сделал для друга покойного поэта — П. В. Нащокина мраморный бюст Пушкина в лавровом венке»;[31] этот венок служит символом бессмертия и всенародного признания. Здесь же она заметила: «Еще в декабре 1823 года Пушкин высказал, — правда, в брошенном черновике, — ту мысль, которая привела его к такому автопортрету. XXIX строфа второй главы „Евгения Онегина“ имела в рукописи такие варианты:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть <о, друзья>,
Воздвигнул памятник <и> я
(*вар.*: Exegi monumentum я)».[32]

(VI, 300)

Ссылку на этот черновой набросок как на первую цитацию Пушкиным оды (III, 30) Горация или на первоначальную идею стихотворения «Я памятник себе воздвиг» мы находим у большинства исследователей «Памятника»: в комментарии Н. О. Лернера к сочинениям Пушкина под редакцией С. А. Венгерова, в статьях П. Н. Сакулина, Д. П. Якубовича, в книге Б. Мейлаха,[33] в работе Р.-Д. Кейля, что уже было отмечено нами выше,[34] и т. д. В книге Вл. Ходасевича также помещена особая заметка о том, «как Горациев мотив: Non omnis moriar и т. д. двигался по стихам Пушкина».[35]

---

[31] Об этой скульптуре см. в статье: М. Беляев и П. Рейнбот. Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XXXVII, Л., 1928, стр. 200—204. См. также статью Е. В. Ногаевской «Иван Петрович Витали, 1794—1855» (в кн.: Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Под ред. А. И. Леонова. М., 1954, стр. 369). Л. П. Февчук в статье «Первые скульптурные изображения Пушкина» (в сб.: Пушкин и его время, вып. I, Л., 1962, стр. 399), обращая внимание на то, что бюст Пушкина работы Витали представлен был в двух вариантах — в лавровом венке и без него, — установила, что первый вариант бюста 1837 г. известен только в мраморе; в 1948 г. Литературный музей Пушкинского дома приобрел этот бюст, исполненный в гипсе. По-видимому, именно этот гипсовый экземпляр находился в Москве у П. В. Нащокина; он воспроизводится в виде фронтисписа к настоящей книге.

[32] Рукою Пушкина. стр. 694.

[33] Сочинения Пушкина, изд. Брокгауза—Ефрона, т. VI, Пгр., 1915, стр. 495; П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. В кн.: Пушкин. Сборник первый. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 56; Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 3; Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 515.

[34] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik», SS. 176—177.

[35] Вл. Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина, кн. I. Л., 1924, стр. 59. К стихам «Памятника» 1836 г. «Нет, весь я не умру. Душа в завет-

На этой цитации Пушкиным «Exegi monumentum» в 1823 г. необходимо остановиться особо потому, что она, по нашему мнению, не является первой в стихах Пушкина, а также и потому, что, прослеживая развитие мысли о «Памятнике» в ее начальных моментах, мы можем лучше понять, как и почему она могла быть воплощена поэтом с такой вдохновенной силой в 1836 г.

Из упомянутых выше исследователей, кажется, один П. Н. Сакулин, отмечая набросок 1823 г. как «прямое указание на идею „Памятника“», обратил внимание на то, что первые следы той же идеи, связанные притом с одой Горация, могут быть обнаружены значительно раньше, еще в лицейской лирике поэта. П. Н. Сакулин напоминал: «Пушкин рано уверовал в то, что „потомков поздних дань поэтам справедлива“ («К другу стихотворцу», 1814)». Еще в «Городке» (1815) поэт выражал надежду:

Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет,
И, мною вдохновенный,
На лире воздохнет.

(I, 95, 359)

Но П. Н. Сакулин ограничился этой цитатой, констатировав лишь, что «мотив потомства уже тогда приходил на мысль Пушкину».[36] Для нас, однако, чрезвычайно важно, что, заканчивая в 1823 г. вторую главу «Евгения Онегина» и посвящая две последние строфы размышлениям о смерти поэта и бессмертии поэзии, Пушкин опять вспомнил Лицей, своих друзей-поэтов и свои чтения римских поэтов. Прямая ссылка на «Памятник» Горация в окончательном тексте этих строф (XXXIX и XL) была отброшена, как и заключительная строфа с резким отзывом о тупых и

ной лире мой прах переживет и тленья убежит» здесь приведены только две параллели: 1) из «образцов стихов Ленского» (1823):

Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав...

2) из элегии «Андрей Шенье» (1825):

Я скоро весь умру. Но тень мою любя
и т. д.

[36] П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный, стр. 55—56. Позже об этом писал также М. М. Покровский в статье «Пушкин и античность» (в сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, М.—Л., 1949, стр. 44).

безвкусных читателях;[37] но и в общеизвестном печатном тексте осталось скрытое для посторонних, хотя и понятное для его сверстников-лицеистов воспоминание о лицейских занятиях античными классиками. В строфе XXXIX поэт признается, что «отдаленные надежды» ему «тревожат сердце иногда»:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
<Живу>, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

(VI, 299)

---

[37] Вопрос о том, почему ранние варианты этих строф, включая сюда приведенную латинскую цитату из «Памятника» Горация и особую заключительную строфу, оказались отброшенными, обсуждался мимоходом и не представляется нам достаточно объясненным. Н. Л. Бродский (Н. Л. Бродский. «Евгений Онегин». Роман Пушкина. Изд. 3-е. М., 1950, стр. 164—165) высказывал по этому поводу следующее предположение: «Первоначальная мысль о невысоком уровне читателей, критики, в разные годы овладевавшая поэтом, сменилась в момент сдачи главы в печать более справедливой оценкой мнения о себе современных читателей и читательниц, которые выучивали наизусть строфы первых глав „Евгения Онегина". Пушкин не мог этого не знать». Поэтому он якобы и не включил в печатный текст своего романа строфу, в которой речь шла именно о непонимании его читателями, их равнодушии и полном безучастии:

Но может быть — и это даже
Правдоподобнее сто раз,
Изорванный, в пыли и в саже,
Мой <напечатанный> рассказ,
Служанкой изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный,
Как Инвалид иль Календарь,
Или затасканный букварь.

Поэт готов был примириться с такой печальной участью своих стихов, считая ее неизбежной и обобщая свое крайне нелестное мнение о читателях вообще в следующих неотделанных стихах:

Но что ж: в гостиной иль в передней
Равно читатели <черны>.
Над книгой их права равны.
<Не я первой, не я последний>
Их суд услышу над собой,
Ревнивый, строгой и тупой.

(VI, 301)

По нашему мнению, Пушкин отказался от этих стихов и не стал их править по той причине, что они набрасывали тень на его роман, внушали слишком пессимистическую и напрасно обобщенную мысль о том, что его произведение не получит справедливой оценки; Пушкин не стал возводить напраслину на собственное творение.

Строфа XL интересна для нас в особенности, так как робко выраженная в этом лирическом отступлении от лица автора надежда на будущее признание высказывается здесь в утвердительном смысле, с уверенностью, позволяющей уже предчувствовать настроения «Памятника» 1836 г., патетика которых здесь еще смягчена иронической и легкой грустью:

И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная Судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной.
Быть может, лестная надежда,
Укажет будущий невежда [38]
На мой прославленный портрет.
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благословенья,
Поклонник мирных Аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

(VI, 300)

В последних, выделенных нами стихах Пушкин вспомнил своего любимого лицейского учителя — А. И. Галича, который временно, вместо заболевшего Н. Ф. Кошанского, был преподавателем русской и латинской словесности в Царскосельском лицее (с мая 1814 по июнь 1815 г.). По словам биографа Галича А. И. Никитенко, Галич нередко говаривал своим воспитанникам после оживленной, далеко не школьной беседы, взяв в руки одного из классиков: «Теперь потреплем старика».[39] В. К. Кюхельбекер, находясь в заключении в Свеаборгской крепости, в своем «дневнике узника» сделал следующую запись под 2 февраля 1832 г.: «Примусь опять за Гомера; пора, как говаривал Галич, потрепать старика».[40] Таким образом, задумываясь о будущем, мечтая

---

[38] Необходимо отметить, что слово «невежда» употреблено здесь Пушкиным без всякой иронии, не в привычном для нас смысле неосведомленного, малообразованного человека, но в утраченном теперь значении: «неопытный, неиспорченный юноша». Н. С. Ашукин в своей рецензии на второй том «Словаря языка Пушкина» указывает, что в словаре даны примеры употребления Пушкиным слова «невежда» в этом утраченном значении только в составе фразеологических сочетаний (например, «невежда сердцем, душой»), между тем оно употреблялось поэтом и самостоятельно, как видно из «Евгения Онегина» (в приведенной нами цитате), см.: «Вопросы языкознания», 1958, № 4, стр. 136—137.

[39] А. В. Никитенко. А. И. Галич — бывший профессор С.-Петербургского университета. СПб., 1869, стр. 22—23.

[40] В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, стр. 39.

о юноше, который взглянет на его «прославленный портрет» и вспомнит его творения, Пушкин заранее благодарит того,

Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика,

т. е. уподобляет себя самого тем древним классикам, которых изучали лицеисты и чья отстоявшаяся, проверенная временем слава стала бесспорной и общепризнанной. В этом скрытом воспоминании о Галиче, может быть, заключено также воспоминание о «старике» Горации и его «Exegi monumentum», так как именно его, увенчанного лавровым венком самой Мельпоменой, необходимо было представить себе, читая последние строки его оды:

...Sume superbiam
Quesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam, —

или в переводе М. В. Ломоносова:

Взгордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

Мы пришли к заключению, что многие важные мысли пушкинского «Памятника» 1836 г. и связанные с ним представления, в том числе и о лавровом венке как символе бессмертия и славы у благодарных потомков, появлялись у Пушкина задолго до того времени, как создано было это стихотворение. Стараясь проследить постепенное развитие этих представлений и первое их поэтическое воплощение, мы последовательно и неоднократно возвращались к лицейским годам жизни Пушкина, как к их истоку. Это вполне закономерно. Всю первоначальную концепцию «Памятника», необходимо искать в его лицейском творчестве. Идейно, стилистически и даже метрически «Памятник», по нашему мнению, представляет собою видоизменение или применение одного или нескольких лицейских воспоминаний, сплавившихся вместе и навеянных поэту его навязчивой мыслью о близкой смерти. К доказательству этой догадки мы теперь и обратимся.

9

Р.-Д. Кейль в статье, названной выше, высказал несколько предположений, заслуживающих внимания и обсуждения. Таково, с нашей точки зрения, его предположение, что Пушкин, создавая свое произведение, подобно Горацию исходил из представления о памятнике как сооружении, воздвигнутом на могиле. Пушкин, догадывается Р.-Д. Кейль, вероятно, не знал, что словами «exegi» и «situs» Гораций намекал на надгробную надпись; тем не менее,

полагает тот же исследователь, Пушкин правильно понял, что слово «monumentum» обозначает у Горация именно «надгробие», и, вероятно, поэтому, создавая «Памятник», имел перед глазами картину кладбища, с тропинками между могил, заросшими травой (ср. в «Руслане и Людмиле» о поле битв: «Зачем же смолкло ты и поросло травой забвенья»,—III, 185).

В доказательство того, что «Exegi monumentum» Горация следует понимать именно так, Р.-Д. Кейль ссылается на новейших западноевропейских комментаторов Горация,[1] не подозревая, впрочем, что этот вопрос обсуждался также в довольно обширной старой русской «горациане». Со своей стороны отметим, кстати, что в русских филологических исследованиях, посвященных Горацию и его оде, неоднократно упоминался Пушкин с его «Памятником» и что ряд соображений, высказанных о последнем филологами-классиками, остался совершенно неизвестен пушкиноведам.

Текст данной Горациевой оды издавна считался довольно трудным для понимания и объяснения, а некоторые ее строки даже испорченными рукописным преданием еще в очень раннее время. В особенности спорными и неясными всегда считались начальные строки оды (стихи 1—2):

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius.

Любопытно, что видные русские знатоки Горация, толкуя эти стихи, не один раз опирались на Пушкина. Так, например, М. Нетушил писал по поводу приведенных стихов римского поэта: «Наше толкование означенного спорного места у Горация основывается, в сущности, на понимании слова monumentum, вопреки немецким комментаторам, в смысле пушкинского „нерукотворного памятника“, под которым мы понимаем тот памятник, который будет создан в памяти благодарного потомства. При таком толковании не только устанавливается тождество мысли у обоих поэтов — римского и русского, что далеко не безразлично с педагогической точки зрения, но получается гармоническое соотношение мысли и в самой оде Горация, так как начальное monumentum, срединное laude (в 8-й строке) и superbiam в конце стихотворения (строка 14) являются тогда вариациями одного и того же мотива, основного для всей оды. От этого несомненно выигрывает цельность стихотворения... Нам кажется, что поэт Пушкин лучше понял поэта Горация, чем комментаторы-филологи». Обсуждая далее вопрос, имеет ли Гораций в виду в слове «monumentum» три первые книги од (для которых данная ода служила заключением) или творчество вообще, «произведения своего духа», М. Нетушил опирается на текст Пушкина, в словах кото-

---

[1] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI. H. 2, S. 192.

рого о «нерукотворном памятнике» также заключается «прямое и ясное указание на произведения духа поэта. Но только эти произведения не тождественны с „памятником“, — относятся к нему как причина к следствию, так как „памятник“, по мысли обоих поэтов, состоит не в том, что они написали и выпустили в свет произведения своего духа (ведь это же самое делают и плохие сочинители), а в том, что эти произведения обладают такими качествами, которые позволяют их авторам пережить свою физическую смерть».[2]

Г. Зенгер со своей стороны утверждал, что слово «situs» во втором стихе «не поддается удовлетворительному объяснению», что, кроме того, «решительно неуместно здесь упоминание царственно-высоких пирамид», что «весь второй стих разрушает стройность двух первых строф», но что «и Державин и Пушкин сочли себя обязанными восстановить ее в своих подражаниях вульгате». Г. Зенгер примыкал к тем исследователям Горация, которые объявляли весь 2-й стих подложным, и предлагали вовсе исключить его из текста; в стихе же 12-м он принимал в качестве «восполнения» целый искусственный стих, сочиненный немецким комментатором в XIX в. Любопытно, что все эти довольно сложные текстологические операции Г. Зенгер производил также опираясь на «Памятник» Пушкина; о последнем стихотворении он высказал попутное суждение, на которое мы еще будем иметь случай сослаться позже. «Пушкин, — писал Г. Зенгер в своем комментарии к Горацию, — устранил трудность с мастерством истинно великого художника ... Сопоставляя свой „памятник“ с другой национальной славой, тоже лишь символизованной колонною, он создает однородность в терминах сравнения, а предпослав эпитет „нерукотворный“, он искусно наводит читателя на метафорическое понимание дальнейшего „вознесся выше“ („поэтические подвиги качественно выше военных“, как бы Cedant carminibus reges regumque triumphi. Ov. A. I, 15, 33)».[3]

По поводу второго стиха Горациевой оды, вызвавшего долгие споры, высказался также И. Холодняк. Подводя итоги оживленной полемике и критически оценивая различные доводы за исключение или сохранение в оде указанного стиха, он писал: «Выяснилось, что наиболее существенными возражениями против его присутствия в тексте являются два аргумента: 1) непригодность обыкновенных значений situs для данного места и 2) неуместность упоминания египетских пирамид. Остальные доводы, как несерьезные, могут быть смело опущены. Нам думается, что существует одна точка зрения на эту оду, или мало, или вовсе не подчеркиваемая толкователями, при которой: 1) названный

---

[2] М. Нетушил. Еще к Горацию III, 30, 1—2. «Филологическое обозрение», т. VIII, кн. 2, М., 1895, стр. 141—143.

[3] Г. Зенгер. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. Изд. 2-е. Варшава, 1895, стр. 204—209, прим.

стих существенно необходим в тексте стихотворения и 2) situs и пирамиды получают должное объяснение». По мнению И. Холодняка, «„Exegi monumentum“ Горация носит довольно ясно выраженный сепулькральный характер, входя в довольно многочисленный (эпиграфически, а отчасти и литературно) класс поэтических эпитафий автобиографического типа».[4] В другой своей работе И. Холодняк посвятил этому типу метрических надгробий (elogium autobiographicum), довольно распространенному в первые три века римской империи, особую главу;[5] эпитафии, сочиненные от имени умершего, с перечислением или характеристикой его собственных заслуг, иногда с традиционным обращением к прохожему, путнику и т. д., засвидетельствованы как эпиграфикой, на реальных каменных надгробиях,[6] так и в римской литературе. В качестве одного из ранних литературных примеров И. Холодняк называет метрическую эпитафию древнего римского поэта Энния, сохраненную в «Тускуланских беседах» Цицерона (I, 15; начало: Adspicite, o cives, sennis Enni imaginis formam...), которая кончается следующим двустишием:

Nemo me lacrumis decoret nec funere fletu
Faxit. Cur? Volito vivos per ora virum,

т. е. «Да не почтит никто меня своими слезами и да не завершит он моих похорон своим плачем. Почему? Потому, что я жив и порхаю по устам».[7] Впоследствии сходные стихи в стиле эпитафий

[4] И. Холодняк. Еще раз «Regalique situ pyramidum altius». «Журнал Министерства народного просвещения», 1902, № 4, отд. V, стр. 149—152.

[5] И. И. Холодняк. О некоторых типах римских метрических надгробий. СПб., 1899, стр. 51—91 (глава III. Elogium autobiographicum). Автор долгие годы собирал материалы для обобщающего историко-литературного очерка о стихотворном жанре римских эпитафий, но он остался незавершенным (см. некролог И. И. Холодняка, написанный А. И. Малеиным: «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, № 7, отд. V, стр. 67—68).

[6] Ф. А. Петровский. Латинские эпиграфические стихотворения. М., 1962; в этой книге (стр. 56—80) приводится ряд подобных метрических эпитафий (биографического и автобиографического характера) в оригиналах и в русских стихотворных переводах.

[7] О эпитафии Энния и полный ее текст см. в книге И. И. Холодняка (О некоторых типах римских метрических надгробий, стр. 31—32). Те же примеры, начиная с Энния, приводит в своем комментарии более ранний русский исследователь и переводчик оды Горация — Н. Фокков в статье «Ода (Lib. III, Carm. XXX) Кв. Горация» («Журнал Министерства народного просвещения», 1873, № 12, отд. V, стр. 137—138); мы находим у него дополнительное указание, что стихи, сходные с эпитафией Энния, «Вергилий произнес от собственного лица:

Tendanda via est, qua me quoque possim
Tollere humo victorique virum volitare per ora,

т. е. „Следует попытаться [идти] таким путем, чтобы и я мог тоже подняться с земли и в качестве победителя (конечно, разумеется умственное превосходство) жил бы в устах людей“».

автобиографического характера написали о себе Проперций (IV, 1, 35 сл., 57 сл.), Овидий (Metam. XV, 871—879; ср.: Amor. I, 15, 51 и сл.), Марциал (Epigr. I, 1: hic est, quam legis ille. . .).

Таким образом, рассуждает И. Холодняк, Гораций следовал довольно древней и еще живой в его время традиции метрических надгробий: если Энний, «написав свое главное произведение — „Летопись“, составляет себе quasi-эпитафию, с кратким итогом своих заслуг», то и Гораций, «считавший себя лириком, заполнившим большой пробел в римской поэзии, которой, по его мнению, лирики именно и не хватало, написав 3 книги од и, конечно, рассчитывая этим и кончить свою лирическую миссию (не верить его биографу нет никаких оснований), пишет себе также quasi-эпитафию и тоже с перечнем и характеристикой своих вкладов в поэтический обиход Рима».[8] «Exegi monumentum» Горация написано совершенно в «кладбищенском» тоне: с первых же слов оды читателю бросается в глаза «несомненно намеренная амфиболия»,[9] т. е. словесная поэтическая двусмысленность, такого основополагающего для всей оды слова, как «monumentum». Это, во-первых, в широком смысле нечто, «сохраняемое в памяти (passiv.) и напоминающее о чем-нибудь (activ.)», и, во-вторых, памятник надгробный («monumenta» во множественном числе в латинском языке употреблялось для обозначения кладбищ, см.: Petron. 62). При таком объяснении первые два стиха оды Горация означают: я потрудился («exegi») над возведением себе памятника долговечнее и выше обыкновенных металлических и каменных сооружений. На долговечность указывает металл — медь («aere perennius»). Камень, который здесь имеется в виду, «тоже сепулькральный», потому что Горацию «представлялись как единственно достойные стать в параллель с его monumentum только царские камни, т. е. не мавзолеи даже, а именно пирамиды, синоним высоты и прочности (Plin., Historia Naturalis, 36, 16, 1, 3)». «Да за пирамидами ходить и не надобно было так далеко», — прибавляет И. Холодняк, указывая на ту же «Естественную историю» Плиния, где описан «составной из пирамиды памятник, который себе сделал в качестве надгробия царь Этрурии Порсенна»; кроме того, мода на пирамиды проникла в Рим еще при жизни Горация: «он еще мог видеть в Риме Цестиеву пирамиду, воздвигнутую в последние годы его жизни» и, прибавим от себя, существующую еще и по сей день в Риме, рядом с английским кладбищем.

---

[8] И. Холодняк. Еще раз «Regalique situ pyramidum altius», стр. 159.

[9] Под греческим термином «амфиболия», употреблявшимся в стилистике, Кант, как известно, понимал особую форму «двусмысленности» или «двузначности»: возможность придать какому-нибудь предмету различные по своей природе свойства и способность обсуждать их одинаковым образом. Именно это И. Холодняк, очевидно, и имеет в виду, рассуждая об оде Горация и обнаруживая амфиболию не только в слове «monumentum», но и в стихе 2-м (в словах «regalis situs» — «амфиболия между гробницей и заброшенностью») и в стихе 13-м («princeps» рядом с «potens»).

Действительно ли Пушкин догадывался о таком «сепулькральном» смысле оды Горация, какой придают ей комментаторы, и подозревал, что «Exegi monumentum» есть род эпитафии, сочиненной римским поэтом самому себе? Это очень правдоподобно, потому что для Пушкина, как и для его предшественников и современников, латинское, воспринятое русским языком слово «монумент» и синонимическое ему «памятник», были многозначны и означали не только сооружение, воздвигнутое в честь кого-либо или в память о чьих-либо делах, но и надгробие на могиле умершего; в особенности слово «монумент» в XVIII и начале XIX в. сохраняло еще свой «кладбищенский» колорит.[10]

В литературе русского предромантизма того же периода, в полном соответствии с западноевропейской «готической» поэзией ночных размышлений, кладбищ и развалин, возникшей под сильным воздействием Грея и Юнга, слово «памятник» также нередко означало «надгробие» и упоминалось в смысле «монумента», «мавзолея» или «погребальной урны». Одно из первых произведений юноши Жуковского, «Мысли при гробнице», напечатано в той же книжке журнала «Приятное и полезное препровождение времени» (1797), что и статья его учителя М. Н. Баккаревича «Надгробный памятник».[11] Кладбище в ту пору представлялось местом, особенно располагающим к чувствительности и меланхолическим мечтаниям; кладбищенские пейзажи, не столько реальные, сколько стилизованные, с кипарисами, журчащими ручьями и мраморными «памятниками», освещенными луной, были чрезвычайно популярны в литературе; посвященные им стихи и прозаические «прогулки» не сходили со страниц русских журналов последнего десятилетия XVIII в.[12] В это время напечатано было множество русских переводов и переделок, в прозе и в стихах, знаменитой элегии Т. Грея «Сельское кладбище» («Elegy written in a country churchyard», 1750).[13] На пороге нового века Жуковский, поощряемый Карамзиным, дважды перевел эту элегию (в 1801 и 1802 гг.; третий ее перевод, сделанный Жуковским

---

[10] См., например, известие в «Сыне отечества» (1812, ч. II, стр. 224): «Супруга покойного ген.-фельдмаршала кн. Репнина покоилась в особом памятнике в окрестностях Вильны. Наши войска, овладев ныне сим городом, нашли, что монумент кн. Репниной разбит, тело ее выкопано и гроб открыт для похищения перстней». Ср. оду Державина «Монумент милосердию» (1805). Широкой популярностью пользовалось у нас и неоднократно цитировалось изречение Бернарден де Сен-Пьера: «Гробница есть памятник, воздвигнутый на рубеже двух миров». В качестве эпиграфа мы находим это изречение в книге В. В. Соколовского «Одна и две, или Любовь поэта» (ч. IV, М., 1834, стр. 115).

[11] В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, [вып. I]. СПб., 1906, стр. 131—132.

[12] Там же, стр. 137—139, 152—162.

[13] Перечень русских переводов «Сельского кладбища», напечатанных до появления перевода Жуковского, см. в названном исследовании В. И. Резанова (стр. 162—163).

в гекзаметрах, относится уже к 1839 г.) и посвятил ее печатный вариант своему другу Андрею Ивановичу Тургеневу, одному из учредителей Дружеского литературного общества, только что перед тем основанного. Вторая (печатная) редакция «Сельского кладбища» в переводе Жуковского, в которой заметно усилены сентиментально-меланхолические черты, кончается надгробной надписью умершему юноше-поэту и предпосланным ее тексту традиционным обращением к прохожему:

Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброю слезой благословить
и т. д.

Это «надгробие» — из заключительной части элегии — печаталось у нас и отдельно под заглавием «Эпитафия господина Грея самому себе». Неожиданная смерть Андрея Тургенева наполнила новым содержанием эту эпитафию для всех его друзей по литературному обществу и возбудила среди них мысль о памятнике усопшему. «В сей тихой обители воздвигну памятник тебе, незабвенному», — говорил Жуковский, а Мерзляков писал ему (24 августа 1803 г.): «Памятник другу нашему — прекрасная мысль. На что нам ставить ему на могилу? Будем сами могилами живому, вечно живому духу нашего друга. Памятник этот должен быть лучшим украшением нашего кабинета».[14]

В 1803 г. Державин оплакал смерть Н. А. Львова в стихотворении «Память другу». В этом стихотворении он вспоминает о том памятнике, который обещан был ему покойным:

Кто памятник над мной поставит,
Под дубом тот сумрачный свод,
В котором мог меня бы славить,
Играя громами, Эрот? [15]

Подобные памятники, мавзолеи, урны, «кенотафии» были в стиле эпохи и составляли характерные и приметные ее признаки; поэтические «надписи» и «кенотафии»[16] заполняли

---

[14] Приведя это письмо А. Ф. Мерзлякова к Жуковскому по публикации в «Русском архиве» (1871, № 2, стр. 0140—0141), В. И. Резанов (Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II. Пгр., 1916, стр. 595—596) отметил, что слова Жуковского о памятнике «не были простой фразой, а выражали серьезное намерение нашего поэта соорудить нечто вроде мавзолея или саркофага Андрею Тургеневу в собственном кабинете. Для этой цели именно, по-видимому, им и была приобретена та урна, о которой идет речь в письме Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу из Белева от 31 августа 1805 г., — только теперь мысль изменена, и урна предназначена была для надгробного памятника в Петербурге».

[15] Г. Р. Державин, Сочинения ... с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. II, СПб., 1865, стр. 459—463.

[16] В «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (ч. 2, СПб., 1821, стр. 45) дается следующее определение термина «кенотафия»: «Род эпитафии.

книжки журналов и сборники стихотворений, образуя очень популярный жанр, устойчиво державшийся в русской литературе несколько десятилетий.

И. М. Долгорукий в своем «Журнале путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» посвятил целую главу «Мавзолей» описанию имения неподалеку от Пензы, которое ему очень понравилось. «Хозяин любит памятники, — пишет он в этой главе, — жена его также; они оба по временам в разных местах своего сада ставили их друзьям и приятелям. Таким образом увековечиваются если не самые монументы, кои подвержены разрушению, то по крайней мере преданиями из рода в род доходят до самых поздних потомков сведения о тех людях, коих имена по какому-либо случаю обращали на себя внимание современников.[17] Сколько Сатурн рушил пирамид, статуй, ворот торжественных, но спустя несколько столетий история нам говорила: тут был такой-то памятник; он истлел, но причина его еще громка в потомстве».[18] Княгиня Зинаида Волконская, поселившись в Риме, превратила аллеи сада при своей вилле «в настоящую „Божью ниву“, или „Campo santo“, обставив все аллеи по обеим сторонам монументами, собранными из античных пьедесталов, капителей, колонн, архитравов и других частей римского сооружения. Только эти монументы не надгробные, воздвигнутые не на прахе покойников, а, так сказать, поминальные, т. е. в воспоминание о незабвенных особах: о родных и друзьях, а также о лицах, дорогих сердцу в этом оригинальном пантеоне ... Кн. Волконская снабдила все монументы своей виллы надписями, которые сама сочиняла».[19] А. И. Тургенев сообщал, что, побывав на этой вилле, он обещал З. А. Волконской описать все эти «памятники по родным и милым ближним, коими населила она римские развалины», и «собирался сделать из этого статью для журнала Пушкина».[20] В «Современнике» Пушкина эта статья А. И. Тургенева не появилась, но вскоре после гибели поэта в «Аллее сувениров» на вилле Волконской прибавился памятник Пушкину, поставленный неподалеку от памятников Карамзину, Д. В. Веневитинову, Гёте,

---

Разность ее от последней состоит в том, что она пишется для отдаленно умерших или, как должно предполагать, вырезывается на памятниках, в честь их воздвигаемых, или на гробницах пустых, то есть не содержащих в себе тела покойника, но поставленных только для воспоминания». См.: Ив. Дмитриев, Сочинения, ч. II, М., 1803, стр. 106 («Кенотафия»).

[17] Ср.: М. А. Дмитриев. Кн. И. М. Долгорукий и его сочинения. М., 1863, стр. 68—69 (описание «памятника», воздвигнутого Долгоруким в комнате его квартиры в память жены: «монумент стоял на самом том месте, где скончалась княгиня»).

[18] И. М. Долгорукий (1764—1823). Изборник. М., 1919, стр. 151.

[19] Ф. И. Буслаев. Римская вилла кн. З. А. Волконской. Из моих воспоминаний. «Вестник Европы», 1896, кн. I, стр. 25, 28—32.

[20] Архив бр. Тургеневых, т. VI. Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским. СПб., 1921, стр. 124.

В. Скотту.[21] В полном согласии с этой старой традицией в подмосковной Вяземских Остафьево против дома и в парке поставлены были памятники Карамзину, Пушкину, потом Жуковскому и, наконец, самому П. А. Вяземскому.[22]

Слово «памятник» в значении реального надгробия над прахом умершего постоянно употребляли в 30—40-е годы. Повесть Вл. Владиславлева «Бесприютный» (1827), может быть известная Пушкину, начиналась лирическим размышлением на одном из петербургских кладбищ; мы находим здесь строки, лексически близкие к нескольким стихам пушкинского стихотворения: «Памятники и надгробные надписи являют обильный источник размышлению. Посмотри, вот памятник герою. Он украшен арматурою ... Вот памятник временщику. Он порос травою; нет к нему тропинки и давно не раздавалась здесь вечная память! ... Вот могила доброго. Укромный памятник сооружен друзьями. Тропинки идут со всех сторон» и т. д.[23] В стихотворении некоего П. Шрк. «Могила поэта» также говорится:

> Могила свежая была передо мною.
> И думал я: великий человек!
> Чрез два-три дня здесь памятник прекрасный
> Соорудят тебе; признательный наш век
> Хвалу здесь выразит рукою беспристрастной
> и т. д.

Автор задает себе, однако, вопрос, не имел ли врагов покойный поэт «как человек», и ужасается тому, что

> И те придут сюда, и ряд великих дел
> Начнут чернить с улыбкою презренья.
> Они придут бранить и клеветать
> Твой памятник безмолвный и великий.[24]

О реальном надгробном памятнике, говорил, наконец, и Гоголь в своем «Завещании», напечатанном в предсмертной книге «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был

---

[21] Наиболее полное описание «Аллеи сувениров» и снимки с памятников см.: Я. Б. Полонский. Литературный архив и усадьба кн. Зинаиды Волконской в Риме. «Временник Общества друзей русской книги», 1938, кн. IV, Париж, стр. 175—179. Одно из ранних в русской печати описаний этих памятников дал М. П. Погодин в книге «Год в чужих краях, 1839. Дорожный дневник» (ч. 2, М., 1844, стр. 27—28). См. также: М. А. Гаррис [М. А. Каллаш]. Зинаида Волконская и ее время. М., 1926, стр. 110—111.

[22] Н. С. Ашукин. Пушкинские места в Москве и ее окрестностях. М., 1924, стр. 36—38.

[23] Вл. Владиславлев. Повести и рассказы, ч. 1. СПб., 1835, стр. 171.

[24] П. Шрк. Могила поэта. «Маяк», 1843, т. XI, гл. I, Стихотворения, стр. 6—7.

действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе».[25]

«Словарь языка Пушкина» отмечает несколько случаев употребления поэтом слова «памятник» в значении «надгробного сооружения»: в «Евгении Онегине», в «Путешествии в Арзрум» и в «Каменном госте»;[26] в двух случаях из трех указанных эти памятники прямо названы «надгробными». О могиле Дмитрия Ларина, например, говорится («Евгений Онегин», глава вторая, строфа XXXVI):

И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит.

(VI, 47)

В «Путешествии в Арзрум» читаем: «Два, три надгробных памятника стояло при дороге» (VIII, 449). Лишь в «Каменном госте» (сцена I) мы встречаем то же слово в значении надгробия, но без разъясняющего его прилагательного:

Дон Гуан

Так здесь похоронили командора?

Монах

Здесь; памятник жена ему воздвигла
И приезжает каждый день сюда
За упокой души его молиться
И плакать.

(VII, 141—142)

Этот пример, однако, не единственный.[27] Существует одно

---

[25] Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 219. Пародию на эти слова Ф. М. Достоевский вложил в уста Фомы Опискина в своем «Селе Степанчикове»: «О, не ставьте мне монумента!.. В сердцах своих воздвигнете мне монумент». Любопытно, что П. И. Бартенев, публикуя впервые описание автографа пушкинского «Памятника», вспомнил приведенные слова Гоголя и заметил по этому поводу: «В светлые минуты свои Пушкин отличался необыкновенно ясным сознанием своих сил и своего значения. Нет, однако, сомнения, что он никогда бы не решился печатно говорить о памятнике самому себе, как это сделал в оглашенном при жизни духовном завещании своем другой великий наш писатель» (Бумаги Пушкина, вып. 1. М., 1881, стр. 200).

[26] Словарь языка Пушкина, т. III. М., 1959, стр. 270—271.

[27] Для понимания слова «памятник» прежде всего как «надгробия» примерами могут служить следующие цитаты. А. И. Тургенев писал А. И. Нефедовой (Петербург, 30 января 1837 г.) по поводу погребения только что умершего Пушкина, не зная еще, где предадут его земле, — «здесь ли или в псковской деревне»: «Лучше бы здесь ... Деревня может быть продана, и кто позаботится о памятнике незабвенного поэта?» (Пушкин и его современники, вып. VI, СПб., 1908, стр. 57). В некрологической заметке в «Московском наблюдателе» (1837, т. X, стр. 122) о покойном поэте, между прочим, писали: «Для Пушкина настало минувшее; настал печальный вопрос, какое место должен занять его памятник в ряду тех русских гробниц, где

чрезвычайно любопытное для нас четверостишие в лицейском послании Пушкина к Дельвигу (1816), в котором Пушкин употребляет слово «памятник», имея в виду надгробие над собственной могилой; эти стихи не отмечены в «Словаре языка Пушкина», так как они находятся в черновой редакции послания, впоследствии несколько раз переработанного. В данных стихах Пушкин доверительно сообщает своему другу о вражде и зависти, которые обрекают на жертву его дальнейшее поэтическое творчество, и прибавляет:

И тихо проживу в безвестной тишине;
Потомство грозное не вспомнит обо мне,
И гроб несчастного в пустыне мрачной, дикой
(*вар.*: И памятник певца в пустыне мрачной, дикой)
Забвенья порастет ползущей повиликой.

(I, 412, 477—478)

За двадцать лет до создания «Памятника» 1836 г. Пушкин впервые представил себе свой не метафорический, но реальный памятник-надгробие и описал его словами, отзывающимися еще элегией Грея о сельском кладбище в переводе Жуковского. Нам придется ниже еще раз коснуться цитированных стихов из послания Пушкина к Дельвигу, так как, по нашему мнению, связь с ними «Памятника» 1836 г. гораздо важнее и реальнее, чем это может представиться при их сопоставлении с первого взгляда. Отметим здесь предварительно лишь то, что слово «памятник» было для Пушкина действительно многозначным на всем протяжении его творчества и что задолго до создания своих знаменитых двадцати строк 1836 г. он уже неоднократно пользовался тем же словом метафорически в значении «результатов деятельности» исторического лица, в том числе и литературно-творческих. Если в «Полтаве» говорится о Петре I:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе,

(V, 63)

то пять лет спустя, 29 мая 1834 г., Пушкин писал жене по поводу задуманного собственного труда — «Истории» того же героя: «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю материалы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памят-

---

покоятся владетели нашей мысли и слова». Н. Полевой в свою очередь писал о Пушкине «через две недели после смерти его»: «Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении ему надгробного памятника ... И в мраморе или в бронзе станет на могиле Пушкина монумент, свидетель того, что современники умели его ценить ... И тихо задумается странник, зашедший в верхние стены уединенной святогорской обители, где почиет незабвенный прах первого поэта нашей земли» (Н. Полевой. Очерки русской литературы, ч. I. СПб., 1839, стр. 229).

ник» (XV, 154). Эта метафора была распространена у нас еще в начале XIX в. и неоднократно встречалась затем в печати в последующие десятилетия.[28]

Можно напомнить попутно еще целое рассуждение о «Памятнике», включенное в полемическую статью Ю. Венелина в журнале «Галатея» (1829); оно представляет интерес не только развитием своей мысли, в основу которой положена интересующая нас метафора, но и тем, что здесь упомянуты также Пушкин и Гораций. «На всякое сочинение должно смотреть как на памятник, который сооружает себе сочинитель, — пишет Венелин. — Всякий сочинитель сооружает оный по силам и уменью; материалы для сооружения памятников столь же различны, сколь разнообразны и искусства и роды знаний человеческих. Иной творец сооружает себе *гладкий* памятник, как Овидий или Пушкин; иной остроумный — *острый*, иной высокий, величественный, как Омир, Гораций, Платон; иной — *изящный*, как Цицерон, Демосфен, Карамзин и проч. Форм их есть множество. Но касательно твердости: иной, по неумению, сооружает из глины, другой из дерева, иной из железа, *сребра*, *злата* и т. д. Вновь воздвигаемые памятники не могут быть тотчас опровержены; их истребляет

---

[28] И. И. Мартынов в примечаниях к своему переводу трактата Псевдо-Лонгина «О высоком» (СПб., 1803), утверждая, что «одно токмо одобрение потомства может утвердить истинное достоинство сочинения», и называя русских писателей «всех веков», например Ломоносова и Державина, замечал, что и «Карамзин не тщетно трудился над своим памятником» (стр. 103). В надписи к портрету М. И. Кутузова Н. И. Иванчин-Писарев между прочим восклицал:

Ты памятник себе воздвиг не из металлов,

а в большом стихотворении «К Ивану Ивановичу Дмитриеву» говорил о его поэме «Ермак»:

Ты памятник воздвиг забвенному герою

(Н. Иванчин-Писарев, Сочинения и переводы в стихах, М., 1819, стр. 113 и 285). В архаической по замыслу и по исполнению «надписи» А. Коптева «К М. М. Хераскову» читаем:

Царь Кадм, Чесменский бой, Владимир, Россияда,
Вот славный обелиск, вот славный монумент!
А пьедестал его — других поем громада.
Херасков! Торжествуй — тебе дивится свет

(А. Коптев. Стихотворения. СПб., 1834, стр. 95). В том же 1834 г. Белинский в рецензии на альманах «Пантеон дружбы», наполненный посредственными стихами безвестных авторов, иронически восклицал: «Это все имена знаменитые; их авторитет крепок как монумент, воздвигнутый себе Горацием и Державиным» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 147).

только дух времени ... Но кто соорудил себе памятники твердые, прочные, металлические или мраморные, их не легко повредить может и самое время».[29]

10

В бумагах Пушкина среди черновых отрывков и незавершенных замыслов последнего года жизни поэта найден был между прочим «план ненаписанного стихотворения»; так во всяком случае в большом академическом издании назван тот небольшой фрагмент, который имеет французское заглавие «Prologue». Его необходимо воспроизвести полностью:

Prologue

Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m'en distrai<en>t — теперь иду на поклонение в Ц<арское> С<ело> и в Баб<олово>.

Ц<арское> С<ело>! ... (Gray) les jeux du Lycée, nos leçons... Delvig et Kuchel<becker>, la poésie — Баб<олово>.[1]

Н. О. Лернер впервые опубликовал этот «Пролог» еще в 1930 г.[2] с ничем не мотивированной датировкой («конец 20-х годов»), очевидно, объяснявшейся тем, что еще в своей хронологической канве для биографии Пушкина, составленной за несколько десятилетий до публикации отрывка, Лернер относил «Пролог» к «Запискам» Пушкина, «сожженным им в конце 20-х годов».[3]

---

[29] Ю. Венелин. О библиографическом искусстве Телеграфа и учености издателя оного. «Галатея», 1829, ч. IX, № 42, стр. 48—49. Для понимания этой метафоры стоит, может быть, напомнить также о широко известном сопоставлении библиотеки и кладбища, которое дал Н. Полевой в статье «Слава, нас учили, дым» («Новый живописец общества и литературы», 1832, ч. 2, стр. 160). Описав библиотеку в частном доме, Полевой размышлял далее о книгах: «Уравненные переплетами и шкафами, как будто гробами и могилами, все, все стояли предо мною за стеклами, безмолвные, враг подле врага, рязанец подле парижанина, грузинец подле грека, татарин подле чухонца! Суд читателей поражает их неподвижных, молчаливых ... Алфавитный реестр библиотеки показался мне поминальником, библиотека — обширным кладбищем, книги — надгробными камнями, где

Под свежим дерном гробовым
Спит сердце, некогда земным
Смертельным пламенем согрето».

[1] Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, ч. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 477; т. III, ч. 2, М.—Л., 1949, стр. 1069 (варианты чернового автографа). Приводим перевод французских фраз, перемежаемых в автографе с русским текстом: «покойники меня от нее отвлекают... (Грей). Лицейские забавы, наши уроки ... Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия...».

[2] Собрание сочинений Пушкина, изд. «Красной нивы», т. V, М., 1930, стр. 487.

[3] Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910, стр. 451.

Последующие текстологические и графические наблюдения над указанной рукописью, а также экспертиза бумаги, на которой написан приведенный текст (голубоватого цвета с водяным знаком фабрики Гончаровых; на такой же бумаге Пушкин написал беловой текст своего «Памятника»), подтвердили, что возникновение отрывка должно относиться к более позднему времени — к 1835—1836 гг.; к этому времени относит «Пролог» и академическое издание.

Автобиографический смысл «Пролога» не подлежит сомнению, хотя очертания и колорит этого неосуществленного произведения представляются в общем зыбкими и неясными; трудно даже установить с полной определенностью, стихотворному или прозаическому произведению «Пролог» должен был служить вступлением. Тем не менее вдуматься в детали черновика и попытаться истолковать его указания крайне необходимо, в особенности после того как мы знаем теперь вероятное время написания цитированных строк.

Прежде всего у нас возникает вопрос, у чьей могилы был Пушкин («Я посетил твою могилу, но там тесно»)? Несколько лет назад Р.-Д. Кейль предположил, что речь шла здесь о могиле А. А. Дельвига.[4] Совершенно независимо от немецкого исследователя, исходя из других оснований, к такому же выводу пришел Л. Черейский.[5] Это очень правдоподобно. Дельвиг, как известно, умер 14 января 1831 г. и 17 января был похоронен на Волковом кладбище;[6] надо думать, что именно об этом кладбище и идет речь в «Прологе». Существенно, однако, то, что посещение «дорогой могилы» составляло не только начальную, но и опорную тему «Пролога», определяло в то же время основную лирическую окрашенность воспоминаний о днях юности поэта и его лицейских друзьях, о чем речь должна была идти далее. Вспомним в связи с этим стихотворение Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу»; оно тем более интересно для нас, что нам известна точная дата его написания — 14 августа 1836 г.[7] (за неделю до «Памятника»). Вспомним его начальные строки:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,

---

[4] R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamjatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI, H. 2, S. 192.

[5] Л. Черейский. Новое о Пушкине. «Нева», 1963, № 11, стр. 220.

[6] Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею, т. II. СПб., 1912, стр. 355; Вел. кн. Николай Михайлович. Петербургский некрополь, т. II. СПб., 1912, стр. 25—26; А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, ч. I. Л., 1930, стр. 117.

[7] Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.—Л., 1937, стр. 92—93, № 233.

В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом
и т. д.

(III, 431)

Нас поражает в этом тексте не только та же «кладбищенская» тема, что и в начале «Пролога», но даже прямое словесное соответствие в суждении об этом «публичном кладбище», на котором находится «дорогая могила». «Но там тесно», «покойники меня от нее отвлекают», — говорится в «Прологе», может быть, о том самом месте успокоения, которое посетил поэт и описал в своем стихотворении, ужасаясь обилию составляющих его могил, «кое-как стесненных рядком».

Стихотворение основано на противопоставлении двух кладбищ — «стесненного» столичного, расположенного за городской чертой, и сельского, пустынного и поэтического; первое наводит «злое уныние» на поэта, второе, наоборот, манит его своим привольем:

...Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

(III, 431)

Не забудем, что мать поэта, Надежда Осиповна, умерла 29 марта 1836 г. и погребена в святогорской монастырской церкви. Пушкин ездил на похороны в родные края и тогда же присматривал место для могилы себе самому.[8] Лаконизм русско-французских строк черновика «Пролога» не дает нам возможности установить, как предполагалось развить в нем начальный мотив о посещении «дорогой могилы»; тем не менее стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу» и по своей теме, и по своему настроению может представиться нам одним из возможных вариантов начала «Пролога». Недаром в первых строках этого последнего упомянуто имя Томаса Грея, автора уже упоминавшейся выше элегии «Сельское кладбище» (1750), переве-

[8] В некрологе Пушкина, напечатанном в X книжке «Современника» за 1838 г., П. А. Плетнев свидетельствовал: «Пушкин за несколько месяцев до смерти своей лишился матери и сам провожал отсюда ее тело в Святогорский монастырь. Как бы предчувствуя близость кончины своей, он назначил подле могилы ее и себе место, сделавши за него вклад в монастырскую кассу» (П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. 1, СПб., 1885, стр. 385).

денной В. А. Жуковским; эта элегия была хорошо известна лицеистам. Характерно, что имя Томаса Грея в произведениях Пушкина упоминается только дважды и оба раза в его ранних стихах. В первый раз он назван в лицейском послании к сестре, где поэт спрашивает, как идут ее дни и какие книги занимают ее досуг:

Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
В дол веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?

(I, 41)

Второе упоминание Грея — в шутливой записке Пушкина Жуковскому (1814), где этот тогда еще молодой поэт и офицер отождествлен с поэтами, которых он переводил; в этом перечне Грей — несомненно как автор «Сельского кладбища» — стоит на втором месте из четырех:

Штабс-капитану, Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!

(II, 131)

К Грею и «кладбищенской» теме ведет нас также имя итальянского поэта Ипполита Пиндемонте, вспомнившееся Пушкину летом того же 1836 г. («Не дорого ценю я громкие права»). Пушкин озаглавил свое стихотворение «Из Пиндемонти». Известно, что оно не является переводом, но принадлежит самому Пушкину; именем же веронского поэта, малоизвестного в России, Пушкин, вероятно, воспользовался как прикрытием для отвлечения цензурных подозрений от своего стихотворения, которое он, очевидно, готовил к печати (оно известно по двум рукописям). Хотя М. Н. Розанов и пытался установить кое-какие аналогии между произведением Пушкина и стихотворными «Sermoni» Пиндемонте, он все же должен был признать, что «Не дорого ценю я громкие права» — «не текстуальное заимствование и не пассивное подражание», а поэтическая обработка «мотивов и звуков, самостоятельно зародившихся в душе Пушкина и встреченных затем у других поэтов», в первую очередь у Альфреда де Мюссе и Пиндемонте.[9] Б. В. Томашевский со своей стороны указал, что Пушкин знал этого итальянского поэта еще в 1821 г. по книге Сисмонди «О литературах южной Европы» и что именно из этого источника он почерпнул эпиграф для «Кавказского плен-

[9] М. Н. Розанов. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонта». В кн.: Пушкин. Сборник второй. Под ред. Н. Пиксанова. М.—Л., 1930, стр. 136—137. Ср.: A. Bem. Alfred Musset a Puškin. «Časopis pro Moderni Philologii», 1932, XVIII, č. 2, str. 174 (в статье «Rusko-francouske literarni styky. Bibliografické poznamky»).

ника» и усвоил написание его имени (с «i» на конце: Pindemonti). «Для Пушкина, — пишет Томашевский, — поэзия Пиндемонте, очевидно, определялась характеристикой, какую дал этому поэту Сисмонди: „Кавалер Ипполит Пиндемонти из Вероны, вероятно первый среди итальянских поэтов, писавший мечтательные и меланхолические стихи. Потеря друга, болезнь, которую он считал смертельной, показали ему ничтожество жизни. Он порвал связь со всем личным, и сердце его обратилось к наслаждениям природы, сельской жизни и одиночества ... Многие стихотворения Пиндемонти связаны со стихами Грея. Странно слышать, как северный поэт говорит на итальянском языке! Непонятно, как мечтательная душа могла развить свои чувства среди празднеств природы в Италии“» и т. д.[10] Прибавим, что все четыре тома книги Сисмонди в 3-м парижском издании 1829 г. находились в библиотеке Пушкина и дошли до нас.[11] Трудно отделаться от впечатления, что в 1836 г. Пушкин вспомнил Пиндемонте по ассоциации с Т. Греем или потому, что знал, хотя бы по характеристике Сисмонди, о «кладбищенских» стихотворениях итальянского поэта, навеянных «Сельским кладбищем» Грея [12] и «Ночными думами» Юнга.

В пушкинских стихотворениях 1836 г. действительно есть мотивы, родственные Пиндемонте. Стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу» имеет аналогию в поэме Пиндемонте «I Cimiteri» (1806), начатой под прямым воздействием элегии Грея. Противопоставление бессмертия поэзии и искусства менее долговечной памяти о деятельности на военном или политическом поприщах, сделанное Пиндемонте в стихотворении «Истинная заслуга» («Il merito vera»), открывает нам параллель с пушкинским «Памятником». В стихотворении «Женевское озеро» («Lago di Ginevre») Пиндемонте говорит о своем будущем надгробном памятнике среди живописной природы; на этом памятнике, как он надеялся, будут начертаны строки, говорящие о том, что более всего он любил в жизни естественные красоты природы и великие создания человеческого искусства. Это действительно напоминает нам пушкинские стихи «Из Пиндемонти», в которых поэт признается, что хотел бы «для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» и что счастьем для него было бы другое:

> По прихоти своей скитаться здесь и там,
> Дивясь божественным природы красотам
> И пред созданьями искусств и вдохновенья
> Трепеща радостно в восторгах умиленья.

---

[10] Б. Томашевский. Пушкин, книга вторая. М.—Л., 1961, стр. 265.

[11] Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. В сб.: Пушкин и его современники, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 338 (№ 1391).

[12] Olga Micale. Thomas Gray e la sua influenza sulle letteratura italiana. Catania, 1934, pp. 193—196; ср.: A. Torracca. I Sepolcri del Pindemonte. «Nuova Antologia», 1884, 1 ottobre.

Напомним, наконец, что на том же листе бумаги, на лицевой стороне которого написан черновик трех последних строф стихотворения «Памятник», Пушкин сделал карандашную запись — вольный перевод нескольких стихов (стр. 188—195) из X сатиры Ювенала:

Пошли мне долгу жизнь и многие года!
Зевеса вот о чем и всюду и везде привыкли вы
молить, —
Но сколькими бедами
Исполнен долгий век.

(III, 429)

Здесь мы снова находим, хотя и недосказанную, навязчивую мысль о смерти и полную горечи насмешку над долголетием.

Возвратимся к «Прологу». Приведенные параллели позволяют предположить, что «кладбищенская» тема в лирике Пушкина 1836 г., связанная с его мыслями о смерти, была одной из возвращающихся, постоянных тем, окрашивавших в пессимистические тона все его замыслы и свершения того года; «Памятник» был тесно связан с этим кругом мыслей. Но кладбище для Пушкина — вопреки тематической традиции, которой он следовал, — не было ни предметом эстетических любований, ни поводом для нежных, меланхолических чувствований, как у его предшественников, русских преромантиков начала XIX в. — Карамзина или Жуковского.

Для Пушкина кладбище было в ту пору прежде всего дорогой в прошлое, открывавшей и воскрешавшей живую жизнь его юности. Одним из подтверждающих это наблюдение примеров может служить именно «Пролог». В тяжелые для него летние и осенние месяцы 1836 г. Пушкин звал себе на помощь «давно знакомый гений — воспоминание». Представило бы интересную задачу показать, как этот «гений», оживлявший былые годы, счастливое детство и юность поэта, возвращался к нему всякий раз, когда жизненные невзгоды ставили его перед новым рубежом, тяжелым, трудным или загадочным, за которым скрывалась непроглядная мгла. Так было, например, болдинской осенью 1830 г., когда «волею Зевеса» он был заперт карантином в своей глухой нижегородской деревеньке, оторванный от друзей и от невесты, волнуемый мыслями о предстоящей женитьбе.

В ту осень в Болдине Пушкин не раз возвращался в воспоминаниях и к лицейским годам, и к более ранней, долицейской школе; он написал отрывок «В начале жизни школу помню я», перебелил заново главу «Евгения Онегина», открывавшуюся стихами:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал
и т. д.

Тогда же Пушкин вспомнил и Дельвига и посвятил ему стихотворение:

> Мы рождены, мой брат названый,
> Под одинаковой звездой
> и т. д.
>
> (III, 249)

В это же время он создал стихотворение «Безумных лет угасшее веселье», которое с еще большим правом он мог повторить шесть лет спустя:

> Но, как вино, печаль минувших дней
> В моей душе чем старе, тем сильней.[13]
>
> (III, 228)

Автобиографические строки «Пролога» имеют то же происхождение. Тем естественнее предположение, что строка «Я посетил твою могилу — но там тесно...» говорит о посещении Пушкиным могилы Дельвига на Волковом кладбище. «Теперь иду на поклонение в Царское Село и в Баболово», — записал Пушкин далее в своем плане, поставил восклицательный знак против названия своего «лицейского отечества» и для памяти — рядом с зачеркнутым именем Грея — набросал имена друзей в последовательности тех его воспоминаний, которые должны были помочь ему при воссоздании картины лицейских лет.

Основанием для догадки, что в «Прологе» Пушкин упоминает о могиле Дельвига, Л. Черейскому послужило обнаруженное им свидетельство о посещении Пушкиным Лицея в 1835—1836 гг. Это свидетельство принадлежит Н. К. Гирсу (1820—1895), дипломату и министру при Александре III. В своих «Воспоминаниях» Н. К. Гирс посвятил целую главу Царскосельскому лицею, в котором он учился с 1832 г.; кратко упомянув Пушкина, «бывшего в Царском Селе летом 1835 или 1836 года» («Pushkin ... was in Tsarskoe Selo in the Summer of either 1835 or 1836...»), Гирс прибавил: Пушкин, «как старый лицеист, иногда посещал нас (he used to visit us occasionally), и мы всегда приветствовали его с энтузиазмом».[14] Приведя эти слова и напомнив начальные строки пушкинского «Пролога», Л. Черейский заметил: «Пушкин посетил, по нашему мнению, „тесное“ петербургское кладбище, где был похоронен его лицейский друг. Посещение Лицея в 1835—1836 гг. оживило дорогие сердцу поэта воспоминания о счастли-

---

[13] Д. Н. Николич. «В начале жизни школу помню я» А. С. Пушкина. «Ученые записки Алма-Атинского гос. педагогического института», 1958, т. 13, стр. 278—287.

[14] The Education of a Russian Statesman. The Memoirs of N. K. Giers. Edited by Charles and Barbara Jolavitch. Univ. of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1962, p. 75.

вых днях Лицея, о „самом близком ему на свете“ Дельвиге и томящемся в Сибири декабристе Кюхельбекере».[15]

Выше уже была речь о том, что догадка о посещении Пушкиным кладбища, на котором похоронен Дельвиг, высказанная также Р.-Д. Кейлем, представляется очень правдоподобной. Отсюда, однако, не следует, что в словах того же «Пролога» («Теперь иду на поклонение...») отражен единичный и вполне конкретный случай пребывания Пушкина в Царском Селе в 1836 г. «Пролог» нельзя рассматривать как «памятные записки», в которые занесены реальные факты или даты; это скорее воображаемое паломничество к местам, связанным с юностью поэта, и рассказ о них должен был открывать повествование задуманного, может быть даже большого, художественного произведения автобиографического характера. В 30-е годы Пушкин бывал в Царском Селе не раз; напомним приведенное у нас выше свидетельство Александра Карамзина (в его письме к брату Андрею от 31 августа 1836 г.), что Пушкин с женой должны были провести в Царском Селе в конце августа два дня и что лишь случайно поездка эта расстроилась.[16] Что касается Лицея, то и его Пушкин неоднократно посещал в 1830-е годы и всегда встречал здесь восторженный прием воспитанников.[17] Н. К. Гирс говорит не об одном, а о нескольких приездах Пушкина в Лицей в 1835—1836 гг. Я. К. Грот со своей стороны свидетельствовал, что встречи Пушкина с молодыми лицеистами всегда были дружественными и сердечными. Живя в Царском Селе летом 1831 г., Пушкин, по словам Грота, виделся с лицеистами «как с старыми знакомыми»: «на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнатку и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз видели его гуляющим в царскосельском саду, то с женою, то с Жуковским».[18]

Конечно, не все строки «Пролога» поддаются расшифровке. Остается неясным, например, что Пушкин имел в виду, говоря: «...иду на поклонение ... в Баболово», и почему он упоминает Баболово в своем плане даже дважды. В отдаленной пустынной части царскосельского парка близ деревни Баболово находился названный по ее имени дворец, построенный еще Екатериной II в 1784 г.; лицеисты хорошо знали его, как видно из четверостишия Пушкина («На Баболовский дворец») и пояснения к нему в воспоминаниях М. А. Корфа.[19] В 1831 г. Пушкин жил в Цар-

[15] Л. Черейский. Новое о Пушкине, стр. 220.

[16] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, стр. 96—97.

[17] К. Я. Грот. Пушкин в Лицее летом 1831 года. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV, М.—Л., 1962, стр. 401—404.

[18] Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. СПб., 1899, стр. 45.

[19] Там же, стр. 268, 276.

ском Селе на Колпинской улице; оттуда нужно было спуститься по склону холма на «Подкапризную дорогу», соединявшую Екатерининский дворец с баболовскою частью парка, и Пушкин, вероятно, не раз совершал эту прогулку. Неподалеку от баболовской «широкой аллеи» находилось «кладбище со скромной церковью»; [20] не туда ли устремлялся в паломничество Пушкин? Неподалеку от Баболова в недостроенной «китайской деревне» с 1816 г. почти каждый год жил Н. М. Карамзин с семьей; о «чаепитии, устроенном госпожой [М. Х.] Шевич» в Баболове в июне 1836 г. рассказывала в одном из своих писем С. Н. Карамзина.[21] Очевидно, с Баболовым были у Пушкина связаны особые воспоминания: их он и должен был воспроизвести в «Прологе» — после рассказа о Дельвиге и Кюхельбекере и совместных с ними занятиях поэзией.

Следует иметь в виду, что Царское Село в годы учения Пушкина в Лицее имело особый облик, впоследствии быстро изменявшийся. Уже в начале 30-х годов, как это можно заметить из статьи Я. Сабурова, многое, что окружало Пушкина в лицейские годы, теперь не существовало. «Екатерина, — рассказывает он, — кажется, желала собрать в свой сад образчики всех стран света или сад хотела превратить в маленький мир, где бы на каждом шагу встречали ее памятники». В особенности бросались в глаза те части парка, где все дышало античным миром — Грецией и Римом. Я. Сабуров описывает, например, «зеленый луг, посредине которого возвышается прислоненный к соснам мраморный обелиск Кагульский. Немного далее, под мрачной сенью берез и елей, мелькает надгробная урна; и щит, и меч висят праздные, и миртовый венок завял. Направо красивый домик, поддерживаемый кариатидами; прежде в нем играли в мячи, теперь в нем живут. Вблизи, окруженный деревьями, стоит храм Аполлонов: у подножия медленно извивается круглый портик и величественный купол; вокруг тишина таинственная и все дышит пророчеством. Внутреннее великолепие соответствует наружной красоте: множество мраморных бюстов, и пол — мелкий мозаик. Его строил Гваренги. В соседней роще — привезенные Орловым почтенные останки Афин. Мраморные барельефы, резные архитравы, теперь безглавые статуи, может быть, видели пышность Греции, украшали храмы гордого народа и, отслужа времени, свидетельствуют величие скифов или гипербореев и покоятся в приюте роскоши.

[20] Я. Сабуров. Царскосельский сад. «Московский вестник», 1830, ч. I, № XVII—XX, стр. 148.

[21] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов, стр. 63 и 343. И. И. Дмитриев, рассказывая в своих записках о китайских домиках возле Баболова, заметил: «Живущие в домиках имеют позволение давать в ней (каменной ротонде посредине домиков) для приятелей и соседей своих обеды, концерты, балы и ужины» (И. И. Дмитриев, Сочинения, ред. и прим. А. А. Флоридова, т. II, СПб., 1895, стр. 164).

Что могли бы нам рассказать эти камни, когда и безмолвные они волнуют душу!».[22] Я. Сабуров подробно описывает античные пейзажи царскосельского парка, открывающиеся то там, то здесь: «крытый великолепный мост», «цельные портики, стройные ионические колонны», как будто высеченные из мраморной горы «по рисункам Палладия», «пирамида, окруженная липами и березами», на озере — «остров Каллипсы», у входа — «великолепный портик из разноцветных мраморов, совершенно в римском вкусе, похожий на Aveco di Tilo в Риме», обширная поляна, «на которой теперь пасутся стада, а прежде она была усеяна розами и посредине возвышался на 32 столпах мраморный храм» («Не знаю, почему его разрушили», — замечает Сабуров).[23] Все это видели лицеисты во время своих детских игр, своих прогулок по парку; отсюда явствует, что тот условный мир античной красоты, полный откликов из области античной истории, мифологии и искусства, который встречает нас в лицейских стихах Дельвига и Пушкина, не был искусственным созданием школьной практики, но имел также и некое реально-материальное основание. Живя среди античных мраморов, храмов и портиков, в местах, посвященных Аполлону и музам, легко было всецело проникнуться обаянием античной культуры и связать с нею свой повседневный быт.

Эту особенность лицейского воспитания в пушкинские годы хорошо подчеркивает возникшая среди его товарищей и осуществленная ими идея — установить в парке особый памятник, посвященный «гению места» — римскому божеству, не имевшему олицетворенного облика, но требовавшему молчаливого и восторженного поклонения. Лицеисты первого выпуска, перед тем как покинуть Лицей, воздвигли этот памятник (в 1816—1817 гг.), именовавшийся памятником «genio loci». Впоследствии бывшие воспитанники Лицея, посещая Царское Село, всегда ходили взглянуть лишний раз на этот памятник, оставшийся от времен их школьных лет; он просуществовал до начала 40-х годов, после смерти Пушкина превращенный легендой в памятник самому поэту, а затем был разрушен. История того, как на глазах у Пушкина был воздвигнут этот памятник, его судьба впоследствии забылись и были восстановлены лишь несколько десятилетий после его полного исчезновения.

В 1878 г. некто, скрывшийся под инициалами «А. В. Фр.» напечатал в «Русской старине» заметку, в которой просил ответить на следующий вопрос: «В последние годы в обществе довольно живо идет подписка на сооружение памятника великому нашему поэту Пушкину. Поэтому совершенно кстати спросить, кем и когда поставлен был в Царском Селе, в саду бывшего там Лицея, — еще при жизни Пушкина — камень в честь этого поэта. На камне вре-

[22] Я. Сабуров. Царскосельский сад, стр. 148.
[23] Там же, стр. 143—152.

зана была надпись: Genio loci (Гению места). Куда и по чьему распоряжению убран этот камень?».[24] Вскоре последовали и разъяснения на этот вопрос. Оказалось, что в начале 40-х годов из штаба военно-учебных заведений тогдашнему директору Лицея сделан был следующий официальный запрос: «По какому случаю поставлен в Лицейском саду памятник Пушкину и с чьего разрешения?». На это Г. М. Броневский, по воспоминаниям одного из лицеистов тех лет, «имел честь лично объяснить ... в. кн. Михаилу Павловичу, что находящийся в саду Лицея памятник не есть памятник Пушкину, а что возобновлен только старый, существующий с первого выпуска, поставленный ими местному воображаемому гению, как гласит сама надпись: genio loci. Так запрос этот и кончился».[25] Далее мемуарист замечает: «Никогда никакого камня еще при жизни Пушкина в честь этого поэта в саду Лицея поставлено не было, а был устроен еще первым выпуском около церковной ограды дерновый пьедестал, в который была вделана мраморная доска с вырезанными на ней словами: genio loci, т. е. место нашему воображаемому „гению" — покровителю наук, поэзии и искусства, которые в наше время всегда в Лицее процветали. Место это летом украшалось цветами и было предметом особенного нашего почитания и заботливости».[26] Были обнародованы и другие подробности об этом памятнике, например о латинской надписи на нем, о реставрации его в 1840 г. и об особом посвященном ему тогда стихотворении.[27]

---

[24] «Русская старина», 1873, № 8, стр. 244.

[25] И. Р. Фон дер Ховен. Лицейский памятник с надписью «Genius loci». «Русская старина», 1873, № 12, стр. 1000.

[26] Там же, стр. 1001.

[27] Рассказывая об этой плите с надписью «Genio loci», А. Н. Яхонтов (Воспоминания царскосельского лицеиста. «Русская старина», 1888, № 10. стр. 105) отмечает: «Мы думали сначала, что она положена здесь в память Пушкина, но нам объяснили потом, что надпись говорит о безымянном, таинственном гении места, как бы незримо веющем над лицейской оградой и нас окружающем. Когда и кем сделана была эта надпись и положена эта плита, осталось невыясненным». П. И. Бартенев, основывавшийся на рассказах бывших лицеистов, также, по-видимому, считал, что памятник этот был воздвигнут в честь Пушкина. Он писал в статье «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. Гл. 2. Лицей» (отт. из «Московских ведомостей», 1854, №№ 117—119, стр. 66): «Имя Пушкина доселе особенно дорого и любезно всякому лицеисту. Память его свято хранится в Лицее. Около 1835 г. в Малом лицейском саду лицеисты поставили небольшую мраморную пирамиду, на одной стороне которой было написано „Genio loci", а на другой — „Septimus cursus erexit" (т. е. «воздвиг седьмой курс»)». Однако Дм. Кобеко в своей книге «Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 1811—1843» (СПб., 1914, стр. 114) утверждает, что в надписи упоминался первый курс (primus cursus erexit); когда же памятник обветшал, то одиннадцатый курс возобновил его и прибавил к надписи слова: «undecimus (id est cursus) renovavit». Это происходило в 1840 г., что, между прочим, явствует из стихотворения лицеиста В. Р. Зотова, написанного по этому случаю 16 сентября 1840 г. под заглавием «Genio loci» и начинавшегося так:

История этой царскосельской плиты, ставшей предметом легенд и паломничеств, еще раз подчеркивает тот особенный культ памятников и всевозможных символических знаков и построек, который существовал при жизни Пушкина и присущ был не только его современникам, но и ему самому. Поэтическое и художественное сознание людей той поры и самый их быт были тогда полны представлений о монументах, столпах, мавзолеях и кенотафиях, архитектурных и скульптурных сооружениях различных видов и назначений, являвшихся видимым и осязаемым воплощением памяти о человеке или его деяниях, мифологических преданий, а иногда даже просто материальной реализацией какой-либо абстракции или метафоры. Дух античной Греции и Рима воплощал их в камень или бронзу и витал над ними в залах и парках, вызывая литературные ассоциации и поэтические параллели.[28]

Памятник «Genio loci» в Царском Селе, идея которого возникла из какого-нибудь компендиума о римских древностях с описанием народных культов местных божеств в Древнем Риме, получил в сознании лицейских воспитанников особое применение. Памятник этот стал символом и воплощением того сложного комплекса ощущений, связанного с этой местностью, в частности с ее парком, который всегда был свойствен Пушкину и его близким друзьям лицейских лет: в этот комплекс входили воспоминания о лицейской жизни, о «святом братстве», о первых самостоятельных

Была пора! Хранителю Лицея
Курс первый памятник смиренно воздвигал,
И добрый дух, Лицей родной лелея,
Его любил, хранил, благословлял.

Далее, после упоминания о том, что памятник этот «заглох» и «устарел в забвеньи», шли строки:

Пришла пора — чрез десять курсов снова
Тот памятник вид новый получил,
Святой залог прекрасного былого
Одиннадцатый курс возобновил.
Возвысился опять в саду Лицея
Дерн скромный пирамидою простой,
Украсился цветами зеленея,
С решеткою и мраморной доской
и т. д.

(Дм. Кобеко. Императорский Царскосельский лицей, стр. 426—427).

[28] Любопытно, что изображения подобных вещественных символов мы встречаем даже в русских официальных документах той поры. Так, текст диплома на звание члена Общества любителей российской словесности был снабжен двумя гравированными картинками: слева — обветшавший памятник, сложенный из каменных плит в виде узкой пирамиды, справа — очевидно, храм, посвященный Аполлону или музам. Этот печатный диплом (1826 г.) воспроизведен в издании: Общество любителей российской словесности при Московском университете. Исторические записки и материалы за сто лет. М., 1911 (между стр. 2—3).

творческих опытах; все это оживало в памяти подобно мелодии «Прощальной песни» на слова Дельвига при одном упоминании Лицея или Царского Села; в этот комплекс входили также «Лицейские годовщины», свято отмечавшиеся каждый год — 19 октября — до самой смерти Пушкина, полные лиризма и меланхолической грусти мысли о прошедшей молодости. Все это и имел в виду Пушкин в своем «Прологе», говоря, что он «идет на поклонение в Царское Село», и ставя многозначительный, очевидно свидетельствующий об эмоциональной насыщенности воспоминаний поэта, восклицательный знак после этого снова повторенного названия местности.

11

Из всех лицейских сверстников и друзей Пушкина одним из самых близких ему был А. А. Дельвиг. «Дружба их была на редкость тесная, основанная на взаимном понимании и уважении, — справедливо отмечает Б. Л. Модзалевский; — их союз, начавшись с момента вступления в Лицей, был больше, чем дружбой, — был братством».[1] Это было братство во имя искусства и поэзии: «Мой брат по Музе, мой Орест», — писал Дельвиг в послании Пушкину с Украины; «Друг Дельвиг, мой парнасский брат», — обращался Пушкин к Дельвигу (23 марта 1821 г.). 16 ноября 1823 г. Пушкин написал Дельвигу из Одессы: «На днях попались мне твои прелестные сонеты. Прочел их с жадностью, восхищеньем и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей». Очевидно, Пушкин перечел сонет Дельвига «Н. М. Языкову», в котором есть строки, посвященные и Пушкину, и Баратынскому («певцу „Пиров“»):

Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть, и наслажденье,
И первый я его услышал пенье,
И за себя богов благословил.[2]

«Вчера повеяло мне жизнию лицейскою, слава и благодарение за то тебе и моему Пущину!», — восклицал Пушкин в том же письме (16 ноября 1823 г.), откликаясь, очевидно, на описание лицейской годовщины (19 октября 1823 г.), отпразднованной в Петербурге, о чем сообщали ему оба его друга. А два года спустя в стихотворении «19 октября 1825 г.» Пушкин обратил к Дельвигу следующие строки:

---

[1] Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, стр. 125.

[2] А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, под ред. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 157.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел
и т. д.
(II, 26)

Сведения о близкой дружбе обоих поэтов имеются во всех биографиях Пушкина и Дельвига; современники и последующие критики часто комментировали их стихотворные послания друг другу, историю их встреч, их совместных литературных начинаний и т. д. А. П. Керн в своих мемуарах сохранила воспоминание о встрече друзей, состоявшейся в ее присутствии по возвращении Дельвига в Петербург на его маленькой квартире. Это было 7 или 8 октября 1828 г. Пушкин, свидетельствует А. П. Керн, «узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях».[3]

В. П. Гаевский в своих статьях о Дельвиге в «Современнике» 1850-х годов впервые опубликовал многие рукописи его и лицейских его товарищей, записи своих расспросов о нем лицеистов более поздних выпусков, извлек новые данные из мемуаров и писем той поры. Вслед за В. П. Гаевским в этом большом фактическом материале, накопленном к тому времени и затем еще более умноженном, пытались разобраться и многие другие исследователи и Пушкина, и Дельвига. Тем не менее даже в фактической истории их дружбы осталось много неясностей и хронологической путаницы; что же касается их обмена стихотворными посланиями, то они были прокомментированы совершенно недостаточно и нуждаются в пояснениях, сделанных совершенно заново.

Отметим прежде всего существенный для нас факт, что мысль о Дельвиге не покидала Пушкина до конца его жизни. После смерти Дельвига Пушкин долго думал об увековечении его памяти и об устройстве его личных дел. «Вот первая смерть, мною оплаканная, — писал Пушкин П. А. Плетневу 21 января 1831 г. — Никто на свете не был мне ближе Дельвига».[4] О том же свидетельствовал П. А. Вяземский, писавший: «Дельвига знал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постоянная привязанность его. А посмотреть на них: мало было в них общего, за исключением школьного товарищества и

---

[3] А. П. Керн. Воспоминания. Л., 1929, стр. 274.

[4] Приведенные слова Пушкина о Дельвиге П. А. Плетнев впервые опубликовал в «Современнике» в 1838 г., в статье «А. С. Пушкин». См.: П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. 1, СПб., 1885, стр. 382.

любви к поэзии. Пушкин неизменно веровал в глубокое поэтическое чувство Дельвига».[5]

Весь 1831 год Пушкин обдумывал проект обнародования различных материалов для биографии Дельвига, продолжения издания «Северных цветов» как своего рода «поминок» о покойном. В письме Пушкина к П. А. Плетневу из Москвы в Петербург (31 января 1831 г.) есть следующие знаменательные строки: «Баратынский собирается написать жизнь Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли? Я знал его в Лицее — был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит. Я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты и Баратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же втроем жизнь нашего друга, жизнь, богатую не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым и чистым разумом и надеждами» (XIV, 148—149). Замысел этот остался неосуществленным; в письмах Пушкина того же 1831 г. то и дело мелькают различные связанные с этим проектом мысли и подробности. «Если бы ты собрался да написал что-нибудь о Дельвиге! то-то было б хорошо!» (XIV, 189), — писал, например, Пушкин Плетневу из Царского Села летом 1831 г. (11 июля), а через неделю — М. Л. Яковлеву (19 июля): «На днях пересмотрел я у себя письма Дельвига; может быть, со временем это напечатаем»; тут же просил он осведомиться у вдовы покойного друга — С. М. Дельвиг: «Нет ли у ней моих к нему писем? Мы бы их соединили» (XIV, 193—194). Самый этот проект — публикации дружеской переписки — представляется фактом исключительным и почти беспреცендентным для той поры.[6] А поздней осенью того же 1831 г. в стихотворении, написанном для очередной лицейской годовщины («Чем чаще празднует Лицей...»), Пушкин с особой проникновенной грустью вспоминал «шесть упраздненных мест» в товарищеском кругу и писал о любимейшем из своих друзей:

> И, мнится, очередь за мной,
> Зовет меня мой Дельвиг милый,
> Товарищ юности живой,
> Товарищ юности унылой,

---

[5] П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 442.

[6] Отметим, впрочем, что еще в «Северных цветах на 1826 год» сам Дельвиг напечатал отрывок из письма к нему Пушкина о Тавриде и что при жизни Пушкина он перепечатывался несколько раз (Н. Синявский и М. Цявловский. Пушкин в печати 1814—1837. Изд. 2-е. М., 1938, стр. 254, 699, 971а.

Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас утекший гений.

(III, 278)

Шли годы, а скорбь по поводу этой утраты не уменьшалась. В 1834 г. Пушкин написал статью о Дельвиге, которая, впрочем, осталась незавершенной и ненапечатанной при жизни поэта (XI, 273—274). Статья эта, догадывался Б. Л. Модзалевский, описывая ее автограф, «очевидно, имела самостоятельное значение и предназначалась, быть может, для помещения при сборнике стихотворений Дельвига»; «по крайней мере, — замечает тот же исследователь, — рукописи Дельвига носят на себе следы помет Пушкина, — помет редакционного характера, свидетельствуют о работе над ними как редактора».[7] Это издание также не состоялось, но материалы для биографии Дельвига Пушкин продолжал копить; найденные после его смерти среди его рукописей заметки и анекдоты о Дельвиге («Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина», «Дельвиг не любил поэзии мистической», — XII, 159) напечатаны были в восьмом томе «Современника» за 1837 г.

Воспоминания о Дельвиге не оставляли Пушкина нигде. В стихотворении «Художнику», помеченном 25 марта 1836 г., говоря о посещении мастерской ваятеля, Пушкин пишет:

...в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник
и т. д.,

и далее он обращается к скульптору с мыслью о покойном друге:

Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой![8]

(III, 416)

---

[7] Б. Модзалевский. Новинки пушкинского текста по рукописям Пушкинского дома. Сборник Пушкинского дома на 1923 г., Пб., 1922, стр. 8—9 (ср. также «Отрывок из воспоминаний о Дельвиге», — XII, 338, 439).

[8] В. П. Гаевский в своей четвертой статье о Дельвиге («Современник», 1855, т. XLVII, отд. III, стр. 58—59), упоминая это стихотворение Пушкина, высказывал мысль, что скульптором, которого Пушкин имел в виду, являлся профессор Академии художеств С. И. Гальберг; он основывался, в частности, на том, что Гальберг сделал мраморный бюст Дельвига и что заметка об этом была помещена в «Литературной газете» (1831, № 34, стр. 278). Впоследствии Ф. Витберг в заметке «Кому посвящено Пушкиным стихотворение „Художник"» («Новое время», 1899, № 8340, стр. 3) обосновывал другую догадку, что Пушкин адресовал его к Б. И. Орловскому. Однако и доныне неизвестно с документальной точностью, о мастерской какого ваятеля идет речь (ср.: Пушкин об искусстве. Составил Г. М. Кока. Л., 1962, стр. 192—193).

Возможно, что Пушкин вспоминал здесь идиллию Дельвига «Изобретение ваяния». А. Эфрос замечает, что Пушкин любил вместе с Дельвигом посещать мастерские художников «и тот был ему поводырем и пояснителем».[9] Укажем, что у нас сохранился след одной статьи или заметки о Дельвиге, которую Пушкин писал еще позже в том же 1836 г. Этот отрывок найден был на одном из клочков разорванного на мелкие части письма Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г., написанного по-французски. Тщательный анализ отрывка, произведенный Б. В. Казанским, не оставляет сомнений в том, что о Дельвиге Пушкин вспоминал до последних дней своей жизни, — то ли все еще думая об издании биографии своего друга, то ли подбирая рукописные материалы о нем для другого замысла.[10]

Вспомним еще раз черновые наброски плана «Пролога» 1836 г., приведенные выше. Пушкин записывал для памяти: «Лицейские забавы, наши уроки... Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия». Упоминание здесь рядом обоих школьных друзей Пушкина не только в связи с их забавами и учением, но и с занятиями поэзией, кажется очень знаменательным. Не собирался ли Пушкин дать в «Прологе» своего рода вступление в повествование о своей литературной жизни? Или это должна была быть история трех поэтических судеб? Ведь истоки творческих судеб этих трех побратимов-поэтов, включая сюда Пушкина и обоих лицейских его товарищей, — судеб, столь не похожих одна на другую, были едины: лицейская семья, совместные чтения и споры, первые состязания в поэтическом творчестве. Было бы, разумеется, весьма затруднительно, а может быть, и вовсе невозможно, раскрыть полно и подробно, что́ именно Пушкин собирался вспомнить в «Прологе» из своей лицейской жизни и какие эпизоды из истории тогдашнего служения музам, своего и своих друзей, хотел он рассказать в этом автобиографическом произведении. Нет, однако, никакого сомнения в том, что весь «Пролог» посвящен Лицею по преимуществу и что, набрасывая его план, Пушкин переживал заново многое из своих школьных лет.

---

[9] А. Эфрос. Рисунки поэта. М.—Л., 1933, стр. 58.

[10] Б. В. Казанский. Загадочный отрывок Пушкина. «Звенья», М.—Л., 1936, т. VI, стр. 96—100. Ср.: Пушкин, Полное собрание сочинений, справочный том, Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 67. В этом отрывке Пушкин имел в виду привести цитату из письма Дельвига к нему и обрисовать обстановку, в которой это письмо написано. «Любопытно отметить, — пишет Казанский, — что, когда Пушкин написал три странички чернового письма Бенкендорфу в ноябре 1836 года и, перевернув листок, нашел последнюю страничку занятой почти целиком нашим русским отрывком, он подчеркнул его дугой во всю ширину и воспользовался только оставшимся пустым местом, а затем предпочел возвратиться к первой страничке, — уже исписанной, — чтобы дописать письмо на ней». «Очевидно, — догадывается Б. В. Казанский, — он хотел сберечь этот отрывок русского текста».

В 1836 г. воспоминания юности всецело овладели Пушкиным. Он думал о них то и дело по разным поводам. Стихотворение «Полководец» (1835), посвященное Барклаю де Толли и галерее 1812 г. в Зимнем дворце, было напечатано в III томе «Современника» 1836 г. и вызвало известную полемику, на которую Пушкин отвечал «Объяснением», опубликованным в IV томе его журнала, вышедшем в свет в конце ноября или начале декабря того же года.[11] В этом «Объяснении» Пушкин выступал как современник и свидетель двенадцатого года, что и дало Ю. Н. Тынянову основание для предположения, будто бы Пушкин запомнил ту «резкую апологию Барклая» в письме к В. К. Кюхельбекеру его матери, полученном в Лицее в 1812 г., которая была известна многим лицеистам, и именно она и явилась зерном, из которого четверть века спустя выросло стихотворение «Полководец».[12]

Если даже роль этого письма для Пушкина-лицеиста преувеличена, наше утверждение не теряет силы: в 1836 г. Пушкин действительно настойчиво возвращался к различным воспоминаниям своих лицейских лет. В уже цитированном стихотворении «Художнику» есть строка:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.

(III, 416)

В том же году, посылая свою «Историю Пугачева» поэту-партизану Д. В. Давыдову, Пушкин писал певцу-герою, именуя себя «наездником смирного Пегаса»:

Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне
и т. д.

(III, 415)

Это было отчетливое воспоминание о юношеских мечтах Пушкина поступить на военную службу после императорского указа, предоставлявшего лицеистам право по окончании курса определяться прямо в гвардию офицерами; намерения стать военным или даже соединить это поприще с занятиями поэзией оставили следы во многих стихотворениях Пушкина лицейских лет — «К Галичу» (1815 г., «Пускай угрюмый рифмотвор»), «философ-

---

[11] В. А. Мануйлов и Л. Б. Модзалевский. «Полководец» Пушкина. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, М., 1939, стр. 125—164.

[12] Ю. Н. Тынянов. Пушкин и Кюхельбекер. «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 323.

ской оде» «Усы» (1816), «Наездники» (1816), «В. Л. Пушкину» (1817); в последнем говорится даже:

И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?

(II, 29)

Об основании Лицея и «грозе двенадцатого года» снова шла речь в стихотворении, написанном к лицейской годовщине 19 октября 1836 г. — последней, на которой Пушкин присутствовал. В этих стихах («Была пора — наш праздник молодой») Пушкин недаром дал краткую историю России с 1811 г.: в 1836 г. как раз исполнялось 25-летие со дня основания Лицея и лицеисты по инициативе бывшего директора Е. А. Энгельгардта обсуждали его предложение — «не устроить ли по этому случаю обычный праздник каким-нибудь особенным образом?». «У нас было с некоторыми из наших совещание, — писал Пушкину М. Л. Яковлев 9 октября этого года, — и решительно положено: праздновать по прежним примерам одному первому выпуску». Пушкин согласился с этим и писал в свою очередь: «Нечего для 25-летнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея: это было бы худое предзнаменование. Сказано, что и последний лицеист один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить».[13] Мнение Пушкина восторжествовало, и 19 октября в доме у М. Л. Яковлева состоялось собрание лицеистов; первые пункты протокола этого собрания написаны также Пушкиным. В этих пунктах, между прочим, отмечено, что собравшиеся «читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей»,[14] «читали старинные протоколы, песни и прочие бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева», «поминали лицейскую старину». А в последнем, седьмом пункте протокола рукою М. Л. Яковлева отмечено: «Пушкин начал читать стихи на 25-летие Лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу». К этому документальному материалу лицейские мемуаристы добавили следующее известие: «Пушкин, как рассказывают, извинившись перед товарищами в том, что прочтет стихотворение неоконченное, едва

---

[13] Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд 2-е. СПб., 1899, стр. 83.

[14] Трудно сказать, письма Кюхельбекера каких лет читались в тот вечер, несомненно самим Пушкиным; скорее всего — лицейских лет. Не исключено, впрочем, что Пушкин мог огласить также письмо Кюхельбекера из Баргузина от 3 августа 1836 г.; что касается следующего и последнего письма Кюхельбекера, со стихами на лицейскую годовщину, то оно было написано 18 октября 1836 г.

произнес первые строки, как вдруг голос его оборвался, слезы градом покатились из глаз и он бросился на диван».[15]

Вероятно, Пушкин хотел дать друзьям, собравшимся в «Лицея день заветный», в своем стихотворении всю историю четверти века, очевидцами которой они стали:

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари,
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари
и т. д.

(III, 431)

Но его элегия прервалась на воцарении Николая I (последний из сохранившихся стихов остался недописанным):

И над землей сошлися новы тучи
И ураган их...

Зато яркими, свежими и наглядными были оживленные картины всех лицейских лет, от самого основания Лицея, когда

... гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.[16]

(III, 431)

За этим следовала та пора, которую так живо изобразил И. И. Пущин в своих «Записках о Пушкине», рассказывая, как жизнь лицейская сливалась с «политическою эпохою народной жизни русской»: «Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут при их появлении, выходили даже во время

---

[15] Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, стр. 84—86; К. Я. Грот. 1) Пушкинский лицей (1811—1817). СПб., 1911, стр. 349—351 (снимки с протокола); 2) Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XIII, СПб., 1910, стр. 38—59.

[16] Текстуальную связь стихотворения «Была пора» с зашифрованной десятой главой «Евгения Онегина» тонко подметил С. В. Обручев (см. сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 507—508), видевший в стихотворении «своего рода цензурную переработку первых десяти строф десятой главы»; совершенно иначе отнесся к ним Н. Лернер (Пушкин, Собрание сочинений, изд. Брокгауза—Ефрона, т. VI, Пгр., 1916, стр. 497—498), тем не менее также подчеркнувший их родство с лицейскими одами.

классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми».[17] В элегии 1836 г. Пушкин напоминал друзьям тех лет:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались...
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

(III, 431)

Более двадцати лет тому назад в стихах на возвращение Александра I из Парижа (1815) Пушкин тоже вспоминал:

Сыны Бородина, о, кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил
и т. д.

(I, 145)

И об этом возвращении, как об историческом моменте в жизни царскосельских лицеистов, идет речь в той же элегии 1836 г.:

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался
. . . .
Вы помните — как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг
и т. д.

(III, 431)

Стихотворение потому и не было окончено, что история лет, которых нужно было коснуться, казалась слишком близкой и небезопасной для истолкования, но в особенности потому, что слишком яркими, заслонившими все остальное, были в ту пору для Пушкина воспоминания о «лицейском братстве», о начале поприща, о счастливых годах и первых невзгодах юных сердец. А о том, что случилось с бывшими лицеистами при воцарении нового императора, о друзьях самого поэта, им утраченных, об этом не стоило упоминать. «Брат Кюхельбекер», как видно из протокола лицейской годовщины, был помянут чтением писем его к Пушкину; Дельвиг, разумеется, также не был забыт во время чтения старых песен и поминанья лицейской старины. В это время Пушкин сам безусловно перечитывал лицейские стихотворения

---

[17] И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, стр. 52.

Дельвига; какие-то анекдоты и обрывки воспоминаний о нем Пушкин, как мы видели, записывал еще в ноябре.

Отсюда возникает предположение, что и в «Прологе», и в других произведениях Пушкина того же года следует искать еще не замеченных соответствий с его собственными лицейскими стихами и стихами его друзей. Мы полагаем, в частности, что идея «Памятника» возникла у Пушкина в то время, когда он перечитывал свою стихотворную переписку с Дельвигом, думая о самом начале своей литературной деятельности и о своей славе, предсказанной ему его покойным другом. Отсюда возник также весь горацианско-державинский строй «Памятника», его словесные (стилистические и лексические) соответствия одической лирике лицейских друзей-поэтов. Очень возможно, что это же Пушкин имел в виду, записывая в «Прологе» в качестве особой темы занятия поэзией в Лицее — свои, Дельвига и Кюхельбекера.

В осенние месяцы 1836 г., вспоминая свою молодость и различные случаи из лицейской жизни, Пушкин не мог не обновить в памяти несколько эпизодов, связанных с самым началом его литературной деятельности. Ровно за двадцать лет перед тем, в 1816 г., юноша Пушкин, как это было установлено М. А. Цявловским, испытал первую горечь литературной обиды, что и выразил в стихах, обращенных к Дельвигу, преувеличив нанесенное ему оскорбление и сделав из этого для себя неожиданные и неправомерные выводы. Это стихотворное послание Пушкина к Дельвигу («Блажен, кто с юных лет») известно давно, но раскрыть его конкретный смысл и поводы, его вызвавшие, долго не удавалось.

Начало литературной деятельности Пушкина было, как известно, блестящим. Его стихи появились в столичных журналах в то время, когда сам поэт еще сидел на школьной скамье. Первое его стихотворение («К другу-стихотворцу») появилось в печати в июне 1814 г. («Вестник Европы», ч. LXXVI, № 13); в том же году на страницах этого журнала, который тогда временно редактировал В. В. Измайлов, напечатано было еще четыре стихотворения. Но в конце 1814 г. В. В. Измайлов покинул «Вестник Европы» и основал в Москве другой журнал — «Российский музеум, или Журнал европейских новостей», который и выходил под его редакцией в течение всего 1815 г. И Пушкин, и Дельвиг были постоянными сотрудниками «Российского музеума», начиная с январской его книжки; здесь напечатано много стихотворений обоих друзей, в частности знаменитое стихотворение Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», в особенности примечательное тем, что оно было первым стихотворением, напечатанным за его полной подписью: «Александр Пушкин».[18]

---

[18] А. Г. Максимов. «Российский музеум, или Журнал европейских новостей» 1815 года. В сб.: Sertum bibliologicum в честь ... проф. А. И. Малеина, Пб., 1922, стр. 75. Дельвиг и Пушкин навсегда сохранили благодар-

Если в 1815 г. в одном «Российском музеуме» увидели свет 18 стихотворений Пушкина, то в следующем 1816 г. ни в одном из тогдашних изданий не было напечатано ни одного стихотворения поэта. Почему? «Этот факт до сих пор оставался необъяснимым, — замечает М. А. Цявловский, — так как известно, что поэт в этом году написал более тридцати стихотворений, не говоря уже о том, что у него немало оставалось ненапечатанных стихотворений 1814 и 1815 гг.».[19] Отгадку этого непонятного факта М. А. Цявловский нашел в напечатанном незадолго перед тем письме однокурсника Пушкина по Лицею, А. М. Горчакова, к родным от 10 июля 1816 г.; содержащееся в этом письме свидетельство, по мнению М. А. Цявловского, вполне объясняет «причину отсутствия стихотворений Пушкина в печати в этом году».[20]

В письмах А. М. Горчакова к родственнику его А. Н. Пещурову за 1816 г. много лицейских новостей, и прежде всего литературных. А. М. Горчаков всякий раз делится впечатлениями о поэтических опытах своих лицейских товарищей — А. Илличевского, Дельвига и Пушкина. «Так как мы уже заговорили о поэзии, то скажу вам, что ваши знакомцы по журналам, т. е. наши домашние поэты, что-то умолкли, — сообщал А. М. Горчаков А. Н. Пещурову 10 июля; — сам Пушкин заленился; верно, и на него действует погода. Очень часто ходит он к Карамзину, к нему очень хорошо расположен; не худо было бы, если бы там, в Храме вкуса и познаний, он бы почерпнул что-нибудь новое и прекрасное и ознакомил бы на досуге в прекрасных стихах; на нынешнее лето, кажется, надежды мало, да и вообще оно не очень плодородно в Лицее. Все наши поэты дремлют до радостного утра». За этим следует фраза, которую М. А. Цявловский взял за основу своих дальнейших рассуждений: «Пушкина пьесы с три должны быть на этих днях напечатаны в „Вестнике Европы"; он уже давно их отправил. В числе трех — „Гроб Анакреона", который, я думаю, вам понравится».[21]

«Итак, — догадывается М. А. Цявловский, — надо полагать, что еще весной 1816 г. Пушкин послал в редакцию „Вестника Европы" три стихотворения». Он, очевидно, надеялся, что М. Каченовский, вступивший в обязанности редактора журнала, примет во внимание, что уже в 1814 г., во время редакторства В. В. Измайлова, Пушкин печатал свои стихи в «Вестнике Европы». «Не получив

ность к В. В. Измайлову, этому старому литератору-карамзинисту, сумевшему оценить их первые литературные опыты. Этим можно объяснить появление довольно обстоятельной статьи о В. В. Измайлове в «Литературной газете» (1830, т. II, № 66, стр. 242), автором которой был Н. И. П. (т. е. Н. Иванчин-Писарев).

[19] М. А. Цявловский. Пушкин и Каченовский (в 1816 году). В кн.: М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 359.

[20] Там же.

[21] Лицейские письма А. М. Горчакова 1814—1818 гг. «Красный архив», 1936, кн. 6 (79), стр. 191.

никакого сообщения от Каченовского в ответ на посланные ему стихотворения, — пишет М. А. Цявловский далее, — Пушкин, вероятно, спрашивал редактора о причине его молчания, но и на это письмо не получил ответа». В июльском номере «Вестника Европы» за 1816 г. Пушкин должен был прочесть заметку «От редактора», объясняющую это молчание, в которой, в частности, М. Каченовский объявил своим сотрудникам, что, «не имея времени переписываться» «по причине разных обязанностей своих и занятий», он не может отвечать на письма «вопросные, требовательные и даже понудительные» «касательно их пиес, особливо же стихотворений». «Юный поэт понял, — заключает Цявловский, — что его стихи напечатаны не будут. Это была первая литературная обида, причиненная Пушкину. Впервые оскорбленный как поэт, он излил свое горькое чувство в послании, обращенном к ближайшему другу Дельвигу».[22]

Послание Пушкина к Дельвигу 1816 г. («Блажен, кто с юных лет») было мало известно исследователям в том виде, в каком оно непосредственно вылилось из-под пера оскорбленного поэта. До указанной статьи М. А. Цявловского, в которой он привел самую раннюю редакцию этого стихотворения, данная редакция полностью не печаталась;[23] известны были лишь более поздние и довольно многочисленные сокращения и переработки стихотворения, которым Пушкин подвергал его много лет подряд, пока оно не увидело свет в первый раз в 1826 г. в его «Стихотворениях» — ровно десять лет после создания. В последней (четвертой) своей редакции это стихотворение было уже столь сильно переработано и в нем так искусно оказались затушеванными первоначальные поводы к его созданию, что о них мог вспомнить только тот, кто знал его в изначальном виде и к кому оно было обращено — А. А. Дельвиг.

В этом послании Пушкин обращался к своему другу доверительно, с самыми интимными признаниями, которые самолюбивый юноша-поэт скрывал от других. Вступление развивает тему о предназначении поэтов; затем Пушкин обращается непосредственно к своему другу, чтобы противопоставить ему, счастливому певцу, свою горькую участь:

Воспитанный в тиши, не зная грозных бед,
С любовью, дружеством и ленью

[22] М. А. Цявловский. Пушкин и Каченовский (в 1816 году), стр. 360.

[23] В большом академическом издании эта редакция напечатана лишь в виде вариантов (I, 412, 477—478). Стихотворение «К Дельвигу» подверглось первой обработке через несколько месяцев после своего возникновения, так как, вероятно, предназначалось для задуманного в то время сборника стихов. Позднее Пушкин перерабатывал это послание в 1819 и 1825 гг. (I, 246 — вторая редакция; II, 28 — третья редакция, начинающаяся словами «Любовью, дружеством и ленью»).

В уединении ты счастлив, — ты поэт!
Но для меня прошли, увяли наслажденья!

Напомнив другу о счастливом начале и своей поэтической деятельности, о том, что и его «смиренный путь» «в цветах украсила богиня песнопенья», Пушкин, однако, говорит о неожиданно охватившем его сильном чувстве разочарования:

Но всё прошло — и скрылись в темну даль
Свобода, радость, восхищенье
и т. д.
(I, 242)

Далее обиженный поэт прямо говорит о вражде, зависти и клевете, которые настигли его тогда, когда он меньше всего ждал их — «на утре вешних лет». Явно сгущая краски, баловень славы, уже узнавший восторженное признание и самые искренние похвалы, он решает теперь бросить свою литературную деятельность, оставить лиру навсегда и провести жизнь в полной безвестности, не спрашивая одобрений своему творчеству ни у современников, ни у потомков. Конец стихотворения настолько интересен для нас проникающими его элегическими настроениями и связанной с ними системой образов, что его необходимо привести целиком:

Так рано зависти увидеть зрак кровавый
И низкой клеветы во мгле сокрытый яд.
Нет, нет! ни счастием, ни славой
Не буду ослеплен. Пускай они манят
На край погибели любимцев обольщенных.
Исчез души священный жар!
Забвенью сладких песен дар
И голос струн одушевленных!
Во прах и лиру и венец!
Пускай не будут знать, что некогда певец,
Враждою, завистью на жертву обреченный,
Погиб на утре вешних лет,
Как ранний на поляне цвет,
Косой безвременно сраженный.
И тихо проживу в безвестной тишине;
Потомство грозное не вспомнит обо мне,
И гроб несчастного в пустыне мрачной, дикой
Забвенья порастет ползущей повиликой.
(I, 247, 412)

М. А. Цявловский так комментировал приведенные стихи: «В словах о „зраке кровавом зависти“, о „во мгле сокрытом яде низкой клеветы“ можно было видеть лишь обычные в лицейской лирике Пушкина гиперболы сентиментальной поэтики русских и французских элегий того времени. Теперь оказывается, что эти выражения разумели реальный факт отказа Каченовского напечатать стихотворения юного поэта. Три стихотворения Пушкина

не увидят света, и ему уже кажется, что он „погиб на утре вешних лет, как ранний на поляне цвет, косой безвременно сраженный“, что он „проживет в безвестной тишине“ и „потомство грозное не вспомнит“ о нем».[24] М. А. Цявловский, конечно, прав, догадавшись о поводах, вызвавших это послание Пушкина, и о том, что юный поэт в обычной для начала века сентиментальной манере изобразил свои чувства, сильно преувеличив нанесенную ему обиду. Однако, с нашей точки зрения, это был немаловажный для Пушкина эпизод; несмотря на допущенные поэтом преувеличения, он все же высказывал первые и очень искренние сомнения в своей поэтической судьбе. На заключительные строки — о забытом памятнике-надгробии — мы уже ссылались выше в другой связи. Укажем теперь, что, с нашей точки зрения, именно это свое послание к Дельвигу 1816 г. Пушкин обновил в памяти в 1836 г., двадцать лет спустя; из этого именно воспоминания и могла родиться идея «Памятника», с той же обидой на зависть, хвалу и клевету, с тем же горацианским образом памятника-надгробия, но на этот раз с горделивым утверждением своих заслуг и характеристикой всего, что реально сделал поэт за протекшие двадцать лет. Пушкинский «Памятник» должен занять свое место среди «юбилейных» стихотворений 1836 г.

Из ряда стихотворений Пушкина того же 1816 г. явствует, что внезапно овладевшие в то время поэтом сомнения в собственном даровании и разочарование в творческой деятельности были чувствами довольно глубокими, хотя и не очень длительными. В различных вариантах и обрамлениях подобные мысли мелькают во многих произведениях, написанных им в этом году. В стихотворении «Любовь одна — веселье жизни хладной» юный поэт, например, восклицает с огорчением:

К чему мне петь? Под кленом полевым
Оставил я пустынному Зефиру
Уж навсегда покинутую лиру,
И слабый дар как легкий скрылся дым.

(I, 214)

То же настроение отчужденности, отверженности, вызвавшее вынужденное бездействие, запечатлено в стихотворении «Сон»:

Мне страшен свет, проходит век мой темный
В безвестности, заглохшею тропой.

(I, 184)

В «Послании к кн. Горчакову», в стихах 59—62, мы находим признания или, скорее, вопрошания того же рода:

---

[24] М. А. Цявловский. Пушкин и Каченовский (в 1816 году), стр. 362.

Чего мне ждать? В рядах забытый воин,
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастия какой возьму венец?

(II, 114)

В послании «Ш... ву» (т. е. А. А. Шишкову, племяннику адмирала и главы «Беседы любителей русского слова», также начинающему поэту, только пробовавшему свои силы на литературном поприще), опубликованном самим Пушкиным с датой «1816 г.» (в «Стихотворениях», изданных в 1826 г.), снова запечатлены те же чувствования, лишь несколько более конкретизированные, поскольку они обращены к собрату по перу.[25] Пушкин свидетельствует, что он мечтал стать поэтом, тешил себя надеждами о славе, но отрезвление наступило неожиданно:

Не вечно нежиться в приятном ослепленьи:
Докучной истины я поздний вижу свет.

А произошло вот что:

По доброте души я верил в упоеньи
Мечте, шепнувшей: ты поэт,
И, презря мудрые угрозы и советы,
С небрежной ясностью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил

. . . .

Но долго ли меня лелеял Аполлон?
Не долго снились мне мечтанья Муз и Славы:
Уснув меж розами, на тернах я проснулся

и т. д.

(I, 232, 402, 474)

Еще более откровенно, с прямым указанием на истинного виновника своих душевных терзаний, Пушкин говорит о том же в послании «К Жуковскому» («Благослови, поэт!..», — I, 194), написанном осенью 1816 г.; под именем Мевия здесь явно разумеется тот же Каченовский:

Уж Мевий на меня нахмурился ужасно,
И смертный приговор талантам возгремел.
Гонения терпеть ужель и мой удел?

(I, 197)

Но приговор беспощадного критика теперь не принимается всерьез; поэт более не хочет бросить лиру и не считает себя по-

[25] О знакомстве и встречах Пушкина в 1816—1817 гг. с А. А. Шишковым, в это время бывшим офицером Кексгольмского полка, расквартированного в Царском Селе, см.: Вано Шадури. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, стр. 52—53.

бежденным. Молодым задором и уверенностью в своих силах звучат теперь последующие, обращенные к Жуковскому строки:

Что нужды? Смело в даль дорогою прямою,
Ученью руку дав, поддержанный тобою,
Их злобы не страшусь: мне твердый Карамзин,
Мне ты пример. Что крик безумных сих дружин?

(I, 197)

Своего рода кризис миновал, и на поэтическом алтаре вновь засиял ровный и сильный огонь вдохновения. Как совершилось это новое пробуждение творческих сил поэта? У нас есть все основания думать, что в переломе настроений Пушкина в 1816 г. от разочарования к горделивому самоутверждению решающую роль сыграли стихи, обращенные к нему Дельвигом, и те устные дружеские увещания, которыми тот подкреплял свои стихотворные послания. Справедливость своего истолкования вышеприведенного послания Пушкина к Дельвигу, а также причин, вызвавших его написание, М. А. Цявловский подтверждал ссылкой еще на одно стихотворение Дельвига к Пушкину, которое, очевидно, служило ответом на его послание «К Дельвигу».[26]

Послание Дельвига «К Пушкину» впервые напечатано было В. П. Гаевским в рецензии на первый том Сочинений Пушкина в издании П. В. Анненкова.[27] Правильно связав оба послания, которыми обменялись лицейские друзья, Гаевский, однако, еще не мог объяснить поводы, их вызвавшие. Ему казалось даже, что жалобы Пушкина на злобу и клевету «совсем неизъяснимы, да, может быть, и тогда не имели основания»; тем не менее он заметил, что сомнения, тревожившие молодого Пушкина, «определительнее высказаны» и как бы подтверждены в найденном им в бумагах Дельвига послании:

К А. С. Пушкину

Как? Житель гордых Альп, над бурями парящий,
Кто кроет солнца лик развернутым крылом,
Услыша под скалой ехидны свист шипящий,
Раздвинул когти врозь и оставляет гром?

Тебе ль, младой вещун, любимец Аполлона,
На лиру звучную потоком слезы лить,
Дрожать пред завистью и под косою Крона
Склоняся — дар небес в безвестности укрыть?

Нет, Пушкин, рок певцов — бессмертье, не забвенье
и т. д.[28]

---

[26] М. А. Цявловский. Пушкин и Каченовский (в 1816 году), стр. 362.

[27] «Отечественные записки», 1855, кн. 6 (июнь), отд. III, стр. 47—48.

[28] До появления указанной статьи М. А. Цявловского это послание Дельвига лишь предположительно относили к лицейскому периоду, не исключая, впрочем, возможности, что оно относится к концу 1820 г. и вызвано напад-

«Вообще Дельвиг, как доказывают его напечатанные стихотворения, прежде других открыл и оценил дарование Пушкина и предсказал своему другу ожидавшую его славу», — справедливо заметил В. П. Гаевский, публикуя указанное послание «К А. С. Пушкину» и кстати вспоминая также другие поэтические обращения Дельвига к лучшему из его лицейских друзей.[29]

Действительно, приведенное ответное стихотворение Дельвига не было первым, адресованным им Пушкину. Как известно, ему предшествовало другое, также стихотворное послание, еще более замечательное тем, что оно было опубликовано в конце 1815 г. Послание 1816 г. («Как? Житель гордых Альп») осталось в бумагах обоих друзей и увидело свет через много лет после их смерти; предшествующее же послание 1815 г. явилось, как это отметил еще Л. Н. Майков, «первым печатным приветствием Пушкину и вместе с тем предсказанием его великой будущности».[30]

Речь идет об известном стихотворении Дельвига «А. С. Пушкину» («Кто, как лебедь цветущей Авзонии»), впервые напечатанном в том же журнале «Российский музеум» 1815 г., где печатались и Пушкин, и все другие лицейские поэты.[31] Данная в этом стихотворении Дельвига панегирическая характеристика юноши-поэта с его полным именем, начертанная пером школьного друга, могла бы показаться тем более неуместной, что сам Пушкин до тех пор не выступал в печати под своим именем (пользуясь лишь криптограммой или псевдонимом в виде цифрового обозначения). К этому времени лишь одно произведение Пушкина было опубликовано с его именем — получившее известность стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Отсюда, вероятно, и возникла догадка, что Дельвиг сочинил свой панегирик Пушкину «под живым впечатлением блестящего успеха „Воспомина-

---

ками на «Руслана и Людмилу» на страницах «Вестника Европы». «В таком случае, — замечал Б. В. Томашевский, — Армениус — Каченовский» (см.: Дельвиг, Полное собрание стихотворений, под ред. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 470, 519). М. А. Цявловский неопровержимо доказал, что «Армениус» — это действительно А. Каченовский и что послание Дельвига может относиться только к 1816 г. Точная дата возникновения этого стихотворения остается неопределенной. М. А. Цявловский в своей «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» (М., 1951, стр. 104) указывает лишь пределы того длительного периода, в течение которого оно могло быть написано: «октябрь (?) 1816—апрель 1817».

[29] Ранее, в «первой статье» о Дельвиге, В. П. Гаевский также писал: «Дельвиг отвечал Пушкину за его дружбу не только самою горячею привязанностью, но каким-то восторженным удивлением и первый предсказал пятнадцатилетнему поэту ожидавшую его славу» («Современник», 1853, т. XXXVII, отд. III, стр. 81—82).

[30] Пушкин. Полное собрание сочинений, под ред. Л. Н. Майкова, т. I, СПб., 1900, прим. на стр. 107.

[31] «Российский музеум», 1815, ч. III, сентябрь, № 9, стр. 260 (за подписью «Д.»). В этой же книжке журнала стихотворению Дельвига предшествовали стихотворение самого Пушкина «Мечтатель» (подписанное: 1.... 14—17) и стихотворное обращение В. А. Жуковского к П. А. Вяземскому.

ний в Царском Селе", читанных Пушкиным на публичном лицейском экзамене в январе 1815 г. в присутствии Державина».[32] Стихотворение Дельвига и напечатано было в том же «Российском музеуме» 1815 г., где незадолго перед тем появились и пушкинские «Воспоминания в Царском Селе». С. А. Венгеров находил, что «неуклюжее и местами не совсем понятное» стихотворение Дельвига «любопытно, как яркое проявление того восторга, который возбуждал Пушкин с первых шагов своих на литературном поприще. И не столько, конечно, характерно, что его осыпал похвалами однолеток-товарищ, а то, что с прописанием полного имени панегирик был напечатан в первенствующем журнале».[33] Не менее существенно для нас то, что хотя это стихотворение действительно не принадлежит к лучшим произведениям Дельвига, но сам автор им, очевидно, очень дорожил: при его жизни и с его ведома оно было опубликовано три раза — в 1815, 1819 и 1829 гг.[34] Это послание Дельвига настолько важно для последующего изложения, что его необходимо воспроизвести здесь полностью.

П у ш к и н у

Кто, как лебедь цветущей Авзонии,
Осененный и миртом и лаврами,
Майской ночью при хоре порхающих
В сладких грезах отвился от матери:

Тот в советах не мудрствует; на́ стены
Побежденных знамена не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым;

Флот, с несчетным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукраты экватора
Для него кораблями бегущими.

Но с младенчества он обучается
Воспевать красоты поднебесные,
И ланиты его от приветствия
Удивленной толпы горят пламенем.

И Паллада туманное облако
Рассевает от взоров, — и в юности
Он уж видит священную истину
И порок, исподлобья взирающий.

---

[32] Основание для такого предположения Л. Н. Майков усматривал в последних стихах IV строфы («И ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем») и в строфе V (см.: П у ш к и н, Полное собрание сочинений, под ред. Л. Н. Майкова, т. I, стр. 107).

[33] П у ш к и н, Сочинения, изд. Брокгауза—Ефрона, т. I, СПб., 1907, стр. 218.

[34] Через пять лет после опубликования в «Российском музеуме» стихотворение Дельвига перепечатано было в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1819, ч. VIII, № XII, стр. 103—104; на этот раз подпись автора сокращена была до инициала «Д.»); затем оно вошло в издание стихотворений Дельвига 1829 г. (стр. 136—137).

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

При перепечатке этого послания в 1819 г. первоначальное заглавие «Пушкину» — несомненно во избежание недоразумений — было уточнено прибавлением инициалов поэта («К А. С. Пушкину»). Кроме того, здесь появился также и подзаголовок, в «Российском музеуме» отсутствовавший, — «Горацианская ода»; для нас он имеет особое значение, так как дает больше чем только жанровое определение.

Знаменательно, что именно от Пушкина знаем мы о ранних увлечениях Дельвига поэзией Горация. В набросках своей неоконченной статьи о Дельвиге (писавшейся в середине 30-х годов) Пушкин утверждает, что Горация Дельвиг изучил в классе под руководством Н. Ф. Кошанского и что именно подражания Горацию были «первыми его опытами в стихотворстве» (XI, 273).[35] К интересующей нас «Горацианской оде» — «К А. С. Пушкину» давно уже приводились параллели из римского лирика. Еще Вал. Майков пытался усмотреть в ней «весьма вольное и далекое от подлинника подражание известной оде Горация: Integer vitae scelerisque purus (I, 22)».[36] А. Д. Галахов со своей стороны с бо́льшим, по нашему мнению, основанием, указал, что в этом стихотворении Дельвига сказываются «античные образы и метр Горациевой оды: Quem tu Melpomene semel (IV, 3)».[37]

В самом деле, указанная ода Горация построена на той самой

[35] О предпочтении Дельвигом из классических поэтов Горация мы имеем и другое свидетельство — в письме его лицейского однокашника А. Илличевского к А. А. Фуссу от 28 февраля 1816 г. (приведено в кн.: К. Я. Грот. Пушкинский Лицей (1811—1817). СПб., 1911, стр. 63). Хотя Дельвиг не перевел ни одного стихотворения Горация, но отзвуки горацианских мотивов в его поэзии весьма многочисленны и приглушеннее звучат лишь с середины 20-х годов. Следы весьма внимательного чтения Горация явственно различимы как раз в тех стихотворениях Дельвига, которые названы Пушкиным в указанной статье о нем (см. у Пушкина: «Оды: К Диону, К Лилете, Дориде писаны им на пятнадцатом году и напечатаны в собрании его сочинений безо всякой перемены. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял», — XI, 273, 517, 563). Начальные стихи оды «К Диону» (1814) напоминают оду Горация «К Помпею Вару» (впоследствии переведенную Пушкиным) и ряд других его «Carmina»; стихотворение «К Лилете» (1814) заимствует мысли и образы из ряда од Горация (I, 3, 3—4; I, 9, 9—11) и т. д. См.: W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, SS. 166—168.

[36] Сочинения бар. Дельвига с приложением биографического очерка, составленного Вал. В. Майковым, СПб., 1893, стр. 114. «Начало послания Пушкину («Кто, как лебедь цветущей Авзонии») напоминает известную оду Горация («Integer vitae. . .»)», — отмечает также В. С. Рыбинский в статье «Барон А. А. Дельвиг, его жизнь и литературная деятельность» («Филологические записки», 1896, вып. 1, стр. 12).

[37] А. Д. Галахов. Полная русская хрестоматия, ч. III. Изд. 5-е. СПб., 1852, стр. 186.

мысли, которую, как бы вдохновленный ею, защищает и развивает Дельвиг в своем послании к Пушкину, применяясь, конечно, к событиям и обстоятельствам жизни своего времени, но следуя образам и фразеологии того же античного стиля. Есть два пути, ведущие к известности и славе, рассуждает в этой оде Гораций, но один исключает другой: человек, коему музы предназначили поэтическое служение, не станет ни воином, ни победителем на играх; если ему суждено быть любимым поэтом, заслужившим признание подлинных знатоков искусства, то он всегда будет далек от ратных дел и радостей, какие дает полководцу колесница триумфатора. В оригинале эта ода (IV, 3), которую несомненно переводили и толковали лицеисты, начинается так:

Quem tu, Melpomene, semel
Nascentem placido lumine videris,
Illum non labor Isthmius
Clarabit pugilem, non equus impiger

Curru ducet Achaico
Victorem, neque res bellica Deliis
Ornatum foliis ducem,
Quod regum tumidas contuderit minas,

Ostendet Capitolio:
Saed quae Tibur atque fertile praefluunt
Et spissae nemorum comae
Fingent Aeolio carmine nobilem
etc.

В русской литературе эта ода переводилась в начале XIX в., например В. В. Капнистом и А. В. Волковым.[38] Последний перевод, сделанный, по указанию самого переводчика, «размером подлинника», перепечатывался несколько раз в первой четверти XIX в., вызвал восторженный отзыв А. Х. Востокова и поэтому мог быть известен лицеистам:[39]

Мельпомена бессмертная!
В час рожденья кому ты улыбалася,
Тот не славится доблестью,

---

[38] W. Busch. Horaz in Russland, SS. 102, 121.

[39] Перевод А. В. Волкова был напечатан в альманахе Вольного общества любителей словесности, наук и художеств «Свиток муз» (1803, кн. II). А. Х. Востоков писал (24 мая 1802 г.) об этом переводе: «Сия Горациева ода, асклепиадическим размером писанная, переведена весьма удачно ... Я спрошу у всякого любителя поэзии, в каких ямбах можно течь так естественно и плавно, так легко порхать и так игриво звенеть? И нужны ли еще к таким стихам рифмы?» («Журнал Министерства народного просвещения», 1900, № 3, стр. 65). См. также «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах» А. Востокова (ч. II, СПб., 1806, стр. 73), где цитирован этот перевод А. В. Волкова; полностью он перепечатан также в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (ч. I, СПб., 1821, стр. 55) в качестве образца «асклепиадейского» размера. См. сб.: Поэты-радищевцы, под ред. Вл. Орлова, Л., 1935, стр. 318—319, 793.

На Истмийском бою, гордо с ристалища
Не течет победителем,
Ниже громко в Триумф, лавром увенчанный
По блистательным подвигам,
Укротивши царей грозы кичливые,
В Капитолию шествует;
Но при шуме ключей злачного Тибура
В сенолиственных рощицах,
Вдохновенно поет песни Лезбийские

Вторая половина этой оды представляет собою горделивое самоутверждение: Гораций признается, что теперь, когда он удостоился признания и стал любимым поэтом в Риме, его уже «меньше язвит зуб зависти» («Et iam dente minus mordeor invido»); однако не только свой поэтический дар, но и свою известность считает он благостным даром всевластной Мельпомены, которая, если захочет, может даже рыбу превратить в поющего лебедя («quoque piscibus donatura cycni, si libeat, sonum»)! В названном переводе А. В. Волкова эта завершающая часть оды читается так:

Рим державный почтил меня,
В лик священный певцов принял торжественно,
И ехидныя зависти
Уж не столько теперь жало язвит меня.
О, богиня! вливающа
В струны лиры златой песни божественны,
Не властна ль и в безгласных рыб
По желанию вселить глас лебединый ты?
По твоей благосклонности,
Указуясь перстом мимоходящих, я
Песнопевец лирической,
И при жизни еще нравлюсь, всесильная! [40]

---

[40] Поэты-радищевцы, под ред. Вл. Орлова, Л., 1935, стр. 319. Подражанием этой же оде Горация является собственное стихотворение А. В. Волкова «К музам», напечатанное в первой книге «Свитка муз» (1803, кн. I, стр. 73). Поэт уверяет, что его сердцу милы «тениста роща», «злачный луч» и что его не прельщают воинские лавры:

Блистая храбрости лучом,
Пускай в веки поздны
Отворит пламенным мечом
Герой, любимец Марса грозный;
Желая славы гром простерть,
Пусть грады в крах преобращает
И Этны огнь в груди питает,
Колебля сушу, море, твердь.

Подобная деятельность, однако, не по нем; он мечтает о тихой славе другого рода:

Но ваш приверженец — пиит,
Сей славы, музы! не желает,
Огнем чистейшим он горит
И сердце нежных согревает.

(Поэты-радищевцы, стр. 310). В горацианской по теме оде, написанной еще в 1756 г. учеником Ломоносова Н. Поповским, усерднейшим русским

Нетрудно заметить, сколь понятным и близким мог казаться круг этих мыслей и ощущений лицеистам в тот период, когда они готовились к выпуску из Лицея, мечтая о лучшем выборе своего будущего поприща. В особенности злободневными являлись эти мысли для тех лицеистов, которые колебались в выборе пути, не зная, какую деятельность предпочесть прочим, в частности для юноши Пушкина. Мы уже упоминали выше о намерении Пушкина — еще за два года до выхода из Лицея — стать военным и распрощаться с занятиями поэзией. В послании к А. И. Галичу (1815) он прямо предупреждал сверстников, что «близок грозный час», когда он покинет свою келью и скажет:

> Простите, девственные музы,
> Прости, приют младых отрад!
> Надену узкие рейтузы,
> Завью в колечки гордый ус,
> Заблещет пара эполетов,
> И я — питомец важных муз,
> В числе воюющих корнетов!
>
> (I, 121)

Эти перспективы были столь завлекательны, сулили так много неизведанных радостей, а путь, который готовился избрать себе Пушкин, был столь привычным и естественным для дворянских юношей тех лет, что мысли об эполетах и шпорах долго его не покидали. К 1817 г. относят послание его к дядюшке-поэту («В. Л. Пушкин»); здесь обсуждается тот же вопрос о будущем, которое ждет юношу по выходе из Лицея. Но так как Василий Львович, принимавший участие в семейных совещаниях на эти темы, высказывался против военной карьеры племянника, то лицеист-поэт наивно вопрошал дядю, почему же, собственно, нельзя сделаться офицером, оставаясь поэтом? В первой редакции посла-

---

переводчиком Горация в XVIII в., есть сильные стихи, в которых мы находим самостоятельное развитие тех же мыслей, но в типичной просветительской редакции — без всякого налета сентиментального стиля, свойственного Волкову, — и с весьма реалистическими подробностями, внушенными опытом военной эпохи:

> Различны, Меценат! к бессмертию дороги:
> Иной, повергнув тьмы людей себе под ноги,
> Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
> Развалины градов, сквозь дым сожженных сел,
> Отверз себе мечом путь к вечности кровавой
> И с пагубой других достиг бессмертной славы
> и т. д.

(Л. Б. Модзалевский. Ломоносов и его ученик Поповский. В кн.: XVIII век, сб. 3. М.—Л., 1958, стр. 164).

ния (начинавшейся стихом: «Скажи, пернасский мой отец») вопрос ставился прямо:

> Неужто верных муз любовник
> Не может нежный быть певец
> И вместе гвардии полковник?
>
> (I, XVIII, 14)

За этим следовали в качестве иллюстраций и, очевидно, неопровержимых аргументов ссылки на таких поэтов и военных по профессии, какими были «Денис храбрец», лихой рубака и весельчак (т. е. Денис Давыдов), или «русский Буфлер» (т. е. К. Н. Батюшков), или даже «Глинка-офицер» (т. е. автор «Писем русского офицера» — Ф. Н. Глинка). Во второй, написанной заново, более сжатой редакции этого же послания («Что восхитительней, живей»), в которой, однако, намеренно усилены краски и хвала военному быту, Пушкин устранил эти примеры, но не без зависти упомянул «не слишком мудрых усачей, но сердцем истинных гусаров», которые

> ...живут в своих шатрах,
> Вдали забав и нег и граций,
> Как жил бессмертный трус Гораций
> В тибурских сумрачных лесах.
>
> (I, 250, 478)

Имя римского лирика, заместившее в этом стихотворении имена соотечественников Пушкина, появилось здесь не только ради рифмы, заимствованной у того же Батюшкова и потом столько раз повторенной, что она воспринималась в конце концов пародически, как истертый трафарет:[41] Пушкин снабдил имя Горация лапидарным определением,[42] тем самым напоминая, весьма кстати, что Гораций и сам был, хотя и недолгое время, военным трибуном и что он, по его собственному признанию, бежал с поля сражения при Филиппах. Заключительные стихи второй редакции этого послания содержат в себе уже не вопрошания и не систему доказательств, но утверждение, дающее собственное решение зани-

---

[41] См. стихотворение Пушкина «Городок» (1814), где впервые встречается рифма «граций—Гораций», заимствованная из «Пенатов» Батюшкова. В конце этого десятилетия данная рифма получила широкое распространение. См., например, послание Баратынского «К Дельвигу» (1819), начинавшееся стихом «Так, любезный мой Гораций», на которое Дельвиг отвечал посланием «К Евгению» («За то ль, Евгений, я Гораций»), или послание П. А. Вяземского Д. Давыдову — «Наставник счастия, Гораций». В журнале «Благонамеренный» (1822, ч. IX, № 38) появилось пасквильное стихотворение «Союз поэтов», в котором высмеиваются дружеские послания и под прозрачными псевдонимами выведены поэты из круга друзей Пушкина; здесь рифма «Гораций—граций» стала уже объектом пародии.

[42] Об этом определении см.: М. М. Покровский. Пушкин и античность. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. IV—V, М.—Л., 1939, стр. 45, 49—50.

мавшего в то время юношу Пушкина вопроса и противопоставления. По его мнению, поэтов и воинов следует уравнять в правах на признание и славу у современников и потомства:

Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!

(I, 250)

Владевшее некоторое время Пушкиным желание сменить мундир лицеиста на военную форму несомненно было известно Дельвигу лучше других, во всех подробностях, но он явно этому не сочувствовал. Мы имеем об этом одно косвенное свидетельство. В конце апреля—начале мая 1825 г. Дельвиг, прогостивший у Пушкина несколько дней в Михайловском и вместе с ним бывавший в соседнем Тригорском, написал в альбом одной из дочерей П. А. Осиповой, Анне Николаевне Вульф, стихи, которые потом сам же напечатал в «Северных цветах на 1827 год». Это альбомное стихотворение Дельвига начинается следующими строками:

В судьбу я верю с юных лет.
Ее внушениям покорной,
Не выбрал я стези придворной,
Не полюбил я эполет
(Наряда юности задорной),
Но увлечен был мыслью вздорной,
Мне объявившей: ты поэт.[43]

За десять лет перед тем Дельвиг не только думал то же самое, но и горячо убеждал в этом своего друга — Пушкина-лицеиста.

В послании к своему другу «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», основанном на том же самом противопоставлении различных жизненных судеб, государственного или военного поприща поэтическому, Дельвиг горячо и убежденно советовал Пушкину не отклоняться от ранее избранного им пути. Пример Горация у Дельвига был рассчитан на то, чтобы казаться неопровержимым и убеждающим; и все явно горацианское построение послания, и прямое заимствование мыслей, образов, сравнений из его оды (IV, 3) на этот раз должны были служить аргументами очевидной истины, что тот, кто рожден поэтом, кого предназначили к творчеству сами музы, не должен свертывать с этого пути, ведущего к громкой славе.

Приведенные выше сближения и параллели до известной степени проясняют нам кое-какие намеки интересующего нас по-

[43] Дельвиг. В альбом А. Н. В—ф. «Северные цветы на 1827 год», изд. бар. Дельвигом, СПб., 1827, стр. 329.

слания Дельвига; однако они явно недостаточны, если мы хотим как следует понять это действительно «темное» стихотворение. Следует, например, иметь в виду не только то, что Дельвиг пользуется метафорическим языком и мифологическими уподоблениями из ряда Горациевых од, а не из одной лишь упомянутой 3-й оды IV книги, но и то, что Пушкин прежде всего прямо сопоставлен здесь с самим Горацием, хотя имя римского поэта отсутствует и о нем говорится лишь перифрастически. Гораций назван в первом стихе «Лебедем цветущей Авзонии»; так он нередко именовался у западноевропейских поэтов нового времени благодаря той его оде (II, 20), в которой он изобразил свое превращение в лебедя, например у немецкого его переводчика Фосса («Ausonenschwan»); [44] «Авзонией» же, как поэтическим названием Италии (от имени древнейшего населения ее западной области), пользовались в России многие поэты, в том числе многократно и сам Пушкин.[45] Поэтическое уподобление Горация лебедю имело и другое основание: сам Гораций называл любимого им греческого поэта Пиндара «Диркейским лебедем» (по источнику близ Фив). Это уподобление находится в знаменитой оде Горация (IV, 2), обращенной к претору Антонию, который и сам был поэтом и обращался к Горацию с предложением написать оду в стиле Пиндара; ответом на это предложение и явилась 2-я ода

---

[44] E. Stemplinger. Fortleben horazischen Lyrik. Leipzig, 1906, S. 289. Н. Надеждин в статье о русских переводах Горация неоднократно называет римского поэта «Авзонийским певцом» («Московский вестник», 1830, кн. IV, стр. 256, 260, 281).

[45] И. И. Дмитриев пишет А. И. Тургеневу 19 мая 1819 г.: «Как счастлив Батюшков под голубым небом Авзонии!» — и ему же 12 января 1820 г.: «Весело мне слышать, что Батюшков здоров и живет под Авзонским небом» (И. И. Дмитриев, Сочинения, ред. и прим. А. А. Флоридова, т. II, СПб., 1895, стр. 247 и 256). В элегии П. А. Плетнева «Батюшков из Рима» («Сын отечества», 1821, № 8, стр. 35) читаем:

Напрасно по лугам брожу
Авзонии прелестной.

В стихотворении Е. А. Баратынского на отъезд в Италию княгини З. А. Волконской (1829) говорится:

Она спешит на юг прекрасный
Под Авзонийский небосклон.

(Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза. Л., 1951, стр. 241). «Сынов Авзонии счастливой» Пушкин упомянул в «Странствовании Онегина» (строфа XXVII), а также в стихотворении «Кто знает край», где под именем Людмилы воспета графиня М. А. Мусина-Пушкина:

Людмила северной красой,
Всё вместе — томной и живой,
Сынов Авзонии пленяет.

(III, 97)

IV книги Горация, так же как и соседняя с ней, явно отозвавшаяся в послании Дельвига. В заключении этой оды Гораций описывает могучий полет «Диркейского лебедя» — Пиндара, парящего под облаками; себя же, «бедного дарованиями», Гораций уподобляет лишь пчеле, пьющей отрадную влагу в роще Тибура. Эта ода Горация в свою очередь была широко известна в русской литературе в переводах и подражаниях и входила в обязательный круг тех его «Carmina», которые изучались в школах; образы ее, а среди них и «парящий лебедь», мелькают в русской поэзии: и в подражании этой оде В. В. Капниста, озаглавленном «Ломоносов» («Кто Росску Пиндару желает в восторгах пылких подражать»),[46] и в применении к тому же Ломоносову у К. Н. Батюшкова («Наш лебедь величавый» в стихотворении «Мои Пенаты»).[47] Интересно, что в вариантах «Воспоминаний в Царском Селе» (1814) Пушкина тот же образ применен к Державину:

Как древних лет певец, как лебедь стран Еллины.
(I, 356)

Таким образом, смысл первого четверостишия послания Дельвига — сравнение с Горацием молодого поэта, «осененного и миртом и лаврами», рано почувствовавшего свое призвание и уверенного в своей будущей поэтической славе. Правда, в том же начальном четверостишии остаются для нас неясные строки, аллюзии, смысл которых был, конечно, понятен Пушкину, но для нас утрачен (таковы, например, указания на «майскую ночь», — может быть, время рождения, «хор порхающих», «отвился от матери. . .» и т. д.). Возможно, что в этих стихах, помимо сопоставления Пушкина с «лебедем-Горацием», есть какой-то неизвестный для нас реальный подтекст, скорее всего связанный с культом лебедей в Царском Селе в конце XVIII и начале XIX в. Когда Пушкин вспоминал, что Муза стала являться ему «весной, при кликах лебединых»,[48] то он имел в виду не только символических лебедей античной поэзии и русских ей подражаний, но и реальных лебедей царскосельского парка. «Станицу гордую спокойных лебедей», плывущую «средь блещущих зыбей» тихого озера, Пушкин вспоминал и тогда, когда по окончании Лицея он посещал эти места

---

[46] Н. Остолопов в своем «Словаре древней и новой поэзии» (ч. 2, СПб., 1821, стр. 268—271) приводит: 1) латинский подлинник этой оды Горация (по старому счету это 1-я ода IV книги); 2) дословный прозаический ее перевод; 3) подражание В. Капниста.

[47] В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, стр. 124.

[48] Н. Д. Чечулин в статье «О стихотворениях Державина» («Известия отделения русского языка и словесности Российской академии наук» (1919), т. XXIV, кн. 1, Пб., 1922, стр. 103) возводит эту строчку Пушкина к стихотворению Державина «Прогулка в Царском Селе» (1791), в котором упомянуто катанье на лодке по озеру «в прекрасный майский день», «при гласе лебедей».

в поисках следов своего прошлого. Вспомним в связи с этим следующий анекдотический случай, приведенный в печати еще при жизни Пушкина Я. Сабуровым в его статье о царскосельском парке: «Лебеди пользовались у всех народов особенным почтением; им греки и римляне приписывали сверхъестественные свойства. Здешние (царскосельские) не отстали вдохновением от почтенных предков своих: недавно один, завидев на берегу толпу лицейских учеников, отделился с криком и воплем, как будто объятый духом пророчества, от стаи, плывшей по озеру, и трепещущий, безмолвный, пал к ногам Пушкина».[49]

В. В. Каллаш, напомнивший этот рассказ в своей заметке «Пушкин и царскосельский лебедь», не придавал ему никакого значения, кроме разве того обстоятельства, что этим легендарным известием, по его мнению, «могли бы воспользоваться современные наши поэты». Однако он недоумевал, кто имеется в виду под «толпой лицейских учеников» — «бывшие ли лицеисты, навестившие свою alma mater», или же «рассказ относится ко времени пребывания Пушкина в Лицее?».[50] С нашей точки зрения, этот вопрос существен для оценки свидетельства; ответ могут дать биографические сведения и даты об авторе цитируемой статьи — Я. Сабурове. К сожалению, они извлекаются из источников не без затруднений. Хотя в произведениях и письмах Пушкина разных лет имя Сабурова встречается неоднократно, но эти упоминания относятся к разным лицам; это и послужило поводом к путанице, существующей и доныне в большинстве наиболее авторитетных трудов о Пушкине.[51]

---

[49] Я. Сабуров. Царскосельский сад. «Московский вестник», 1830, ч. 5, № XVII—XX, стр. 149—150.

[50] В. В. Каллаш. Заметки о Пушкине. «Русский архив», 1901, т. II, вып. 6, стр. 247.

[51] М. А. Цявловский в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» (I, Л., 1951, стр. 85, 118) ссылается только на одного Сабурова — Якова Васильевича, лейб-гусара, квартировавшего с полком в Царском Селе, знакомого Пушкина, посещавшего его в Лицее. К этому же Сабурову М. А. Цявловский относит также известные стихи Пушкина 1824 г. — «Сабуров, ты оклеветал мои гусарские затеи», упоминание в письме Пушкина к брату 1825 г. (там же, стр. 526, 594) и др. Здесь, однако, спутаны разные лица, носившие ту же фамилию. Историк Лицея Д. Ф. Кобеко в заметке о «Молитве лейб-гусарских офицеров» привел точные сведения о двух лейб-гусарах Сабуровых — родных братьях Якове и Андрее Ивановичах (Пушкин и его современники, вып. XVII, 1913, стр. 9—12). Между тем, по сведениям историка этого полка, в нем одновременно служили четверо Сабуровых, из них два Якова (Яков Васильевич и Яков Иванович), см.: К. Манзей. История лейб-гвардии гусарского полка, ч. III. СПб., 1859, стр. 82—84, 95—96. Отсюда и возникли недоразумения большинства исследователей Пушкина; мы находим неточности о различных Сабуровых и в примечаниях В. И. Саитова к III тому «Остафьевского архива» (СПб., 1899, стр. 446) и к венгеровскому изданию Сочинений Пушкина (т. II, СПб., 1908, стр. 261, 531—532; т. III, СПб., 1909, стр. 554), и даже в публикации «Литературного наследства» (1952, т. 58, стр. 38). См. также заметку «Онегинский Сабуров»

Как установил еще Б. Л. Модзалевский,[52] автором статьи о царскосельском саде в «Московском вестнике» 1830 г. был Яков Иванович Сабуров (1798—1856), служивший в лейб-гвардии гусарском полку в Царском Селе с 10 апреля 1816 г. по 14 октября 1819 г. и хорошо знавший Пушкина в его лицейские годы. Выйдя из полка по домашним обстоятельствам поручиком, Я. И. Сабуров служил в Кишиневе (при Инзове) одновременно с Пушкиным, а затем, во второй половине 20-х годов, в Одессе (при М. С. Воронцове). Современники согласно говорят о его уме и образованности. «Он малый умный, добрый и благородный», — свидетельствовал о нем П. А. Вяземский в письме В. А. Жуковскому,[53] а Б. Н. Чичерин, описывая круг знакомых Н. И. Кравцова, рассказывал о Я. И. Сабурове, что это был человек «весьма неглупый, образованный, все читавший, с разнообразными сведениями, хотя несколько шаткими мыслями и характером», и что он имел знакомства в литературном мире.[54] Я. И. Сабуров и сам изредка печатал свои статьи в журналах: в 1830 г. в «Литературной газете» Дельвига (№ 30, стр. 237—240) он опубликовал статью «Праздник в Величке» (отрывок из дорожных заметок), в том же году в «Московском вестнике» — статью «Земледелие, промышленность и торговля в Бессарабии в 1826 г.», отдельный оттиск которой сохранился в библиотеке Пушкина,[55] присланный ему самим автором, и статью «Царскосельский сад», из которой выше приведены извлечения; в 1835 г. в «Московском наблюдателе» Я. И. Сабуров напечатал статью «Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ».

Все эти литературные работы Я. И. Сабурова были несомненно хорошо известны Пушкину; немыслимо было бы предполагать, что статья «Царскосельский сад» — с анекдотом о лебеде, упоминанием о поэте и цитатой из его «Воспоминаний в Царском Селе» — ускользнула от него, хотя никаких данных о знакомстве с ней в собственных писаниях Пушкина мы не имеем. С другой стороны, едва ли подлежит сомнению, что рассказ о лебеде стал Я. И. Сабурову известен из первоисточника — от лицеистов, в то время, когда он сам жил в Царском Селе вместе с гусарским полком, и, вероятно, вскоре после того, как произошел записанный им случай. Статья Я. И. Сабурова о царскосельском парке представ-

---

в «Пушкинологических этюдах» Н. О. Лернера («Звенья», М., 1935, стр. 94—100), в которой автор пытается разобраться во всей этой путанице. По его мнению, в «Евгении Онегине» говорится об Андрее Ивановиче Сабурове.

[52] Пушкин, Письма, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, М.—Л., 1926, стр. 361.

[53] «Русский архив», 1900, № 2, стр. 193.

[54] Там же, № 4, стр. 514.

[55] Пушкин, Письма, т. I, стр. 361. Б. Л. Модзалевский отметил особо, что при описании этой брошюры в каталоге пушкинской библиотеки (Пушкин и его современники, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 91) он ошибочно назвал ее автором Якова Васильевича, а не Якова Ивановича Сабурова.

ляет собой значительный интерес, так как она дает историческое описание всех достопримечательностей парка, в том виде, в каком наблюдал их юноша Пушкин в последний год своего пребывания в Лицее. Отсюда становится вполне возможным (оговоримся, впрочем, что тут мы вступаем уже в область предположений), что именно этот или сходный анекдот из лицейской жизни Пушкина мог внушить Дельвигу кое-какие образы его послания «Кто, как лебедь цветущей Авзонии».[56]

Достаточно темной и требующей специальных пояснений является вся вторая строфа интересующего нас послания Дельвига. Начало 5-го стиха в тексте «Российского музеума» 1815 г. и в рукописи Дельвига 1819 г. читалось иначе, чем в последующих перепечатках: «в конгрессах не мудрствует» было изменено на «в советах не мудрствует», чем затушевывался слишком прозрачный намек. Первопечатный текст 5-го стиха имел в виду не только Венский конгресс (1814—1815 гг.), но и непосредственно Александра I, как одного из важнейших его участников. Не может быть сомнений и в том, что в первых двух строфах послания, уже в слегка прикровенном, но все же достаточно прозрачном виде, сделано противопоставление двух судеб — поэта и госу-

---

[56] После «Лебедя» Державина (впервые напечатан в 1808 г.) образ «поэта-лебедя» стал очень распространенным в русской поэзии. Второстепенный поэт А. Склабовский, помещая в своих «Опытах в стихах» (Харьков, 1819, стр. 130—135) большое стихотворение на эту тему — «Умирающий лебедь», указывал, что оно является «подражанием Гердеру»; однако Гердер в свою очередь вдохновлялся той же одой Горация, которая оказала воздействие на стихотворение Державина. Тот же образ внушил Д. В. Веневитинову в послании «К Пушкину» (написано в сентябре—октябре 1826 г.) стихи о Гёте, который, как он надеялся, услышит голос русского певца:

И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновленный,
Ответно лебедь запоет, —
И к небу с песнию прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного молчанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

(Д. В. Веневитинов. Стихотворения. Под ред. В. Л. Комаровича. Л., 1940, стр. 56). Через несколько лет П. Г. Ободовский в стихотворении «На кончину Веневитинова» сопоставил с лебедем самого покойного поэта. К 30-м годам относится стихотворение «Лебедь» Ф. И. Тютчева. О «чистом, стройном лебеде поэзии» — Жуковском писал П. А. Вяземский, упоминая «царскосельские предания» о Пушкине — «отроке, но уже поэте» и о том реальном «лебеде екатерининских времен», которому Жуковский посвятил свое предсмертное стихотворение (П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПб., 1882, стр. 147). Кстати, об этом лебеде, которого хорошо знали лицеисты, писал Я. И. Сабуров в упомянутой статье о царскосельском парке: «Еще жив лебедь Екатерины; он до того одичал, что не только людей, даже птиц к себе не подпускает и живет одиноким на маленьком островку» («Московский вестник», 1830, ч. 5, № XVII—XX, стр. 149).

дарственного деятеля, центральное для всего стихотворения в целом. Дельвиг рассуждает о том, что молодому поэту, «осененному миртом и лаврами», т. е. уже добившемуся признания и славы, предстоит в будущем его собственный жребий; он не будет держать речи на конгрессах европейских правителей, как это делал русский государь, одержавший крупные военные победы и закрепивший их своими разглагольствованиями; тот, кто «отвился от матери», т. е. стал самостоятельным певцом, —

Тот в конгрессах не мудрствует, нá стены
Побежденных знамена не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым.

Заметим, впрочем, что совершенно неясно, какой реальный пейзаж — царскосельский или петербургский — Дельвиг имел в виду в приведенных стихах. Скорее всего они могли относиться к Чесменской колонне, воздвигнутой в 1778 г. на царскосельском озере в честь Орлова-Чесменского и украшенной рострами; значение последних разъяснено, и римский образец этой колонны описан в руководстве Эшенбурга, дополненном и изданном Н. Ф. Кошанским в 1816 г.[57] Я. И. Сабуров в цитированной статье так описывает ее, воздвигнутую посреди озера, неподалеку от «острова Калипсы»: «Колонна Чесменская, вся в волнах, на гранитном подножии желтого мрамора, с бронзовыми барельефами, а на вершине орел с распростертыми крыльями».

Шумя вокруг, валы седые
В блестящей пене улеглись, —

цитирует Я. И. Сабуров далее пушкинские «Воспоминания в Царском Селе» (1814), сопровождая эту цитату инициалами поэта «А. П.» и своим скептическим замечанием: «Жаль только, что они никогда не шумели».[58] Если 7-й и 8-й стихи послания Дельвига имеют в виду именно Чесменскую колонну, украшенную рострами, то под «храмом Ареевым», т. е. храмом бога войны Марса,

---

[57] См.: Эшенбург. Ручная книга древней классической словесности ... умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским, т. I. СПб., 1816 (предисловие переводчика помечено «декабря 7, 1816, Царское Село»). На стр. 102 (§ 111), говоря о римских надписях, «исторгнутых из-под развалин древности», автор описывает «надпись на подножии памятника Columnae rostratae, который воздвигнут в честь консулу Дуилию после победы, одержанной им на море, в 494 году от основ. Рима, над Карфагенцами». Описание этой колонны Н. Ф. Кошанский дополнил следующей собственной справкой: «Подобная ростральная колонна воздвигнута Великою Екатериною в Царском Селе, среди воды, в честь Орлову-Чесменскому. Достойны примечания надписи и превосходная на бронзовых досках обронная работа, представляющая три морские сражения с натуры. Сидящий на верху колонны Орел напоминает имя героя, а удивление зрителей — славу и вкус Екатерины».

[58] Я. Сабуров. Царскосельский сад, стр. 148.

Дельвиг мог подразумевать царскосельское Адмиралтейство на берегу озера, где хранились военные трофеи, или же царскосельские казармы. Впрочем, Дельвиг мог писать также и о ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова: в этом случае под «храмом Ареевым» он подразумевал здание, выстроенное Тома де Томоном (позднее — Биржа) против этих колонн. В любом случае смысл указанных стихов не может быть истолкован иначе, как противопоставление военной и поэтической судеб.

Третья строфа заключает в себе намеки на какие-то события из истории русских мореплаваний, реальный смысл которых в настоящее время от нас ускользает; тем не менее очевидно, что в этой строфе продолжается развитие того же представления о жизненной судьбе государственного деятеля — завоевателя чужих территорий, или, точнее, императора Александра I, которое было дано уже в предшествующей строфе, но здесь с еще более очевидным осуждением:

> Флот, исполнен богатством Америки,[59]
> С тяжким золотом, купленным кровию,
> Не взмущает двукраты экватора,
> Для него кораблями бегущими.

О каких кораблях и о каком золоте, «купленном кровию», идет здесь речь, судить можно только предположительно.[60]

---

[59] В печатной редакции 1819 г. этот стих имеет вариант: «Флот с несчетным богатством Америки».

[60] Скорее всего речь идет о кораблях российского флота «Надежде» и «Неве», совершивших кругосветное путешествие в 1803—1806 гг. В начале второго десятилетия появилось как раз несколько книг, из которых можно было почерпнуть сведения о целях и направлениях этих плаваний. В 1809—1812 гг. в С.-Петербурге вышло в свет в трех томах известное описание Крузенштерна («Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах по повелению имп. Александра I на кораблях „Надежде" и „Неве" под начальством капитан-лейтенанта г. Крузенштерна»); вслед за ним появилось и другое описание — Ю. Лисянского («Путешествие вокруг света в 1803—1806 годах по повелению ... Александра Первого на корабле „Неве" под начальством флота капитан-лейтенанта Юрия Лисянского», чч. I, II. СПб., 1812). По словам последнего сочинения, оба корабля отправлены были из Кронштадта по просьбе Российской Американской компании, «управлявшей всеми заведенными в Америке российскими селениями», единственным в то время возможным путем — «из Балтийского моря около мыса Горна или Доброй Надежды к северо-западному берегу Америки» (ч. I, стр. I—II). Можно указать еще на книгу Г. И. Давыдова «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» (чч. I, II. СПб., 1810). Автор этой книги, также имевший отношение к русским кругосветным путешествиям, рассказывает, что русские корабли, возвращавшиеся из Ситхи (в Америке) в Охотск, по представлению даже местных жителей должны были быть «наполнены золотом и великими богатствами»; хотя это представление не соответствовало действительности, оно все же было причиной корыстолюбивых замыслов начальника охотского порта, за это смененного (Г. И. Давыдов. Двукратное путешествие в Америку..., ч. I, стр. XXVII, XXX). Известно также, что русский корвет «Суворов» под начальством М. П. Лазарева пришел в перуанский порт

Последующие строфы послания Дельвига возвращают нас к завидной доле молодого поэта, который с младенческих лет приучается к искусству распознавать красоты природы, отличать «священную истину» от порока и с первых самостоятельных шагов на творческом пути удостоивается одобрения «удивленной толпы». В заключительной строфе Дельвиг прямо называет Пушкина и предрекает ему бессмертие:

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Едва ли может быть сомнение в том, что Пушкин узнал это обращенное к нему стихотворение Дельвига от самого автора, еще до того, как оно увидело свет в «Российском музеуме» 1815 г. Тогда же Пушкин написал ответное послание своему другу; датировано оно им самим ноябрем 1815 г., но свет увидело только после смерти поэта, напечатанное Жуковским в IX томе посмертного издания.[61] В настоящее время известно, что это послание Пушкина к Дельвигу имело четыре редакции (последняя, 1818—1819 гг., не была завершена), сохранившиеся в нескольких автографах и рукописных копиях (одна из них — рукою Дельвига, см.: I, 368); наличие этих редакций позволяет думать, что Пушкин не оставлял намерений увидеть это стихотворение в печати и потому несколько раз принимался за его переделку. С. М. Бонди, пытавшийся разобраться во всех этих редакциях, писал по поводу первоначального текста послания: «Если вспомнить, что к этому времени имя „А. С. Пушкин“ было почти вовсе неизвестно читателям, что он напечатал в журналах всего двадцать стихотворений, из них со своею подписью только одно, то можно себе представить, что панегирик Дельвига должен был произвести довольно смешное впечатление, и самому Пушкину было несколько неловко от этих дружеских похвал. Этими обстоятельствами и вызван „Ответ“ Пушкина (таков рукописный подзаголовок разбираемого стихотворения)».[62] Пушкин действительно принял позу смущенного похвалами поэта, но в его дружеских упреках и опровержениях была немалая доля напускного скептицизма, скрывавшего явное юношеское самоудовлетворение. Отвечая Дельвигу, Пушкин взял совершенно другой тон, чем Дельвиг, пытаясь отделаться от

Кальяо 25 ноября 1815 г. и вернулся в Россию с золотыми вещами древних инков, подаренными Александру I перуанским вице-королем; но «Суворов» вернулся в Кронштадт 15 июля 1816 г., т. е. уже после того, как послание Дельвига напечатано было в «Российском музеуме» (см.: Н. Н. Зубов. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. М., 1954, стр. 158—160).

[61] Пушкин, Собрание сочинений, т. IX, СПб., 1841, стр. 352—354.

[62] С. М. Бонди. Три заметки о Пушкине. Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, М.—Пгр., 1922, стр. 43—44.

горжественных прорицаний своего друга легкой шуткой, остротой или насмешкой над любимцами муз вообще. Называя Дельвига «лукавым духовником невинных муз», Пушкин все время пытается заменить одическую выспренность послания Дельвига житейскими бытовыми признаниями. Если Дельвиг, например, говорит о «лебедином пареньи», о высоком предназначении юного певца, то Пушкин, оправдываясь, утверждает, что он стал поэтом из пустого подражания, случайно, попросту соблазненный на эту деятельность своим «дядюшкой» (или, в позднейшей переделке, Жуковским):

И я главой поник
Пред милою мечтою;
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал.

(I, 142)

И превращение это совершилось не благодаря вмешательству Афины-Паллады или Аполлона, а самым житейским образом; даже творческий акт созидания представлен здесь в сугубо прозаическом виде:

Сначала я шалил,
Шутя стихи кроил,
А там их напечатал, —
И вот теперь я брат
Бесто́лкову пустому,
Тому, сему, другому,
Да я ж и виноват!

(I, 142)

И похож он не на лебедя, парящего под облаками, а скорее на античного Икара, взлеты которого на крыльях, скрепленных воском, кончились гибелью:

Да ты же мне в досаду —
(Что скажет белый свет?)
Стихами до надсаду
(*вар.:* Любви моей в награду)
Жужжишь Икару вслед:
(*вар.:* Кричишь Икару вслед)
«Смотрите, вот поэт!».

(I, 368)

В позднейших редакциях послания Пушкин писал, что он опасается прослыть метроманом Графоном (нарицательное имя, родственное «Бестолкову», поставленное вместо «Рифматова» в раннем беловике), замененным позднее реальным именем французского поэта, антагониста Расина, — Прадона, прославленного насмешками и эпиграммами его современников. В ранней редакции послания наше внимание в особенности обращает на себя имя

Икара, вероятнее всего основанное на тех же одах Горация, которыми вдохновлялся Дельвиг. Во 2-й оде IV книги, явные следы которой мы усмотрели в послании Дельвига, Икар упоминается в первых же двух стихах: Гораций утверждает, что всякий, дерзающий состязаться с Пиндаром, печальной своей долей уподобится Икару, упавшему в море при перелете через Эгейское море; «сын Дедалов» сопоставляется с парящим под облаками лебедем в известной оде (II, 20), которой подражал Державин; упоминается Икар также в одах III, 7, 22 (ср.: I, 3, 34). Еще одним свидетельством того, что Пушкин хорошо знал те оды Горация, которыми вдохновлялся Дельвиг, и что, следовательно, он во всех мелочах понимал обращенное к нему послание «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», могут служить его стихи, обращенные к Батюшкову в том же 1815 г.:

И, с дерзностным Икаром
Страшась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякой при своем.

(I, 115)

В. Брюсов, комментировавший «Ответ» Пушкина Дельвигу, правильно почувствовал в дружеских упреках и самооправданиях юного поэта своего рода кокетство юноши, избалованного успехом: «В первой, начальной редакции стихотворения, — писал В. Брюсов, — Пушкин с преувеличенной скромностью отрицал достоинства своей поэзии, называл себя Икаром и ставил себя как поэта ниже Дельвига. Это, разумеется, не было истинным убеждением будущего автора „Памятника“. Несколько месяцев спустя в стихотворении „Мечтатель“ он признавался с гордостью: „Дана мне лира от богов“, а в послании к Батюшкову: „Поэтом я возрос“. Позднее, составляя программу своих воспоминаний о годах детства и отрочества, Пушкин пометил под 1815 годом: „Мое тщеславие“. Вероятно, почувствовав вскоре ложь взятого тона, Пушкин в том же 1815 году переделал свое послание, вычеркнув стихи, исполненные лицемерной скромностью, и прибавил 14 других (перед последним четверостишием), изменявших основную мысль стихотворения».[63]

Подчеркнем еще одну немаловажную для нас деталь. Стихотворение Дельвига «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», построенное на противопоставлении поэта государственному человеку и на сравнительной характеристике значения их деятельности в сознании последующих поколений, имело немецкий эпиграф, сохранившийся в автографе, находящемся в тетради 1819 г.:

Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.

G⟨oethe⟩

[63] Пушкин, Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. I, СПб., 1907, стр. 217.

Это цитата из элегии Гёте «Евфросина» («Euphrosyne», 1797—1798):

Только лишь Муза дает смерти какую-то жизнь.

Хотя эта элегия, впервые увидевшая свет в «Musenalmanach» Шиллера 1799 г., и не принадлежит к числу особо известных произведений Гёте, но лицейские друзья-поэты знали ее хорошо. Очень ценил эту элегию и надолго запомнил ее В. К. Кюхельбекер. Через несколько лет по окончании Лицея в критической статье, напечатанной в альманахе «Мнемозина», Кюхельбекер отметил: «Элегия Гетева Euphrosyne исполнена высоких лирических красот и местами становится истинно одою».[64] Возможно, что знакомством с этой элегией Дельвиг обязан именно Кюхельбекеру и что благодаря им обоим ее знал также и Пушкин. Какой смысл вкладывали лицейские друзья-поэты в этот эпиграф? Какую мысль подчеркивала или выделяла эта стихотворная строка в послании, которому она была предпослана?

И в первой публикации, и в ранних собраниях стихотворений Гёте элегия «Евфросина» имела подзаголовок, впоследствии иногда опускавшийся, — «Элегия в память молодой, талантливой, преждевременно умершей актрисы в Веймаре, госпожи Беккер, урожденной Нейманн». Как директор Веймарского театра, Гёте весьма ценил эту молодую актрису и очень оплакивал ее раннюю смерть. Евфросина — имя одной из граций в опере, ставившейся в Веймаре; роль Евфросины была последней ролью Христины Нейманн-Беккер, в которой Гёте видел свою любимицу.

Элегия рассказывает о призраке Евфросины, явившемся путнику, в образе которого Гёте изобразил самого себя. Евфросина — Христина произносит большой монолог о жизни и смерти, полный воспоминаний о своей кратковременной артистической деятельности, и заключает его следующей просьбой к путнику-поэту:

〈120〉 Einen Wunsch nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn:
Laß nicht ungerühmt mich den Schatten hinabgehn!
Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.
Den gestaltlos schweben umher in Persephoneia's
Reiche, massenweis', Schatten von Namen getrennt,
Wenn der Dichter aber gerühmt, der Wandelt gestaltet
Einzeln, gesellet dem Chor aller Herzen sich zu.[65]

---

[64] В. К. Кюхельбекер. Разговор с Ф. В. Булгариным. «Мнемозина», ч. III, М., 1824, стр. 160. О той же «Euphrosyne» Кюхельбекер вспомнил в записи своего дневника, сделанной 7 января 1833 г. (Дневник В. К. Кюхельбекера. М., 1929, стр. 87).

[65] Goethe's Sämmtliche Werke, Bd. I. Stuttgart und Tübingen, 1840, S. 259. В новейшем переводе С. Соловьева эти стихи звучат так:

Только желание одно выслушай дружески ты:
Пусть непрославленной я не сойду к теням преисподней!

Высказанная здесь мысль в высшей степени знаменательна; выбранная отсюда Дельвигом (или Кюхельбекером) строка для эпиграфа панегирику Пушкину естественно вплетается в общий контекст стихотворения: поэзия настолько могущественна, что она может дать жизнь и бессмертие даже безликой тени после смерти человека. Эта мысль родственна «Exegi monumentum» Горация и всем русским подражаниям этой оде. Гёте в «Евфросине», отвечая на центральный обсуждаемый им вопрос о том, что́ может обеспечить память о человеке от полного забвения, утверждает: искусство, внушенное музами, поэзия. И напоминанием об этой мысли, сжатой в эпиграфе, лицейские друзья поэта сопровождают свои стихотворные размышления на тему о выборе поприща для своей будущей деятельности.

Еще до того как написано было второе послание Дельвига к Пушкину («Как? Житель гордых Альп»), с дружескими утешениями, полными нежности и преданности, с призывами забыть обиды сурового критика и с увещаниями не отказываться от поэтического творчества, произошло событие, заставившее Дельвига опять взяться за перо, чтобы вновь обратиться к Пушкину со стихотворными строками, полными тревожных раздумий о его будущем, о смерти и бессмертии.

Повод на этот раз был истинно поэтический. 8 июля 1816 г. в своем новгородском поместье умер Г. Р. Державин. Смерть прославленного престарелого русского поэта произвела сильное впечатление и на русских литераторов, и на поэтов-лицеистов, в частности на Дельвига, относившегося к нему с восторгом и благоговением. Уже в первом печатном произведении Дельвига «На взятие Парижа»,[66] есть такие строки о Державине:

О, вдохновенный певец,
Пиндар российский, Державин!
Дай мне парящий восторг!
Дай, и во веки прославлюсь,
И моя громкая лира
Знаема будет везде![67]

Только лишь Муза дает смерти какую-то жизнь.
Ведь безликой толпой парят в Персефонином царстве
Тени тех, что ушли, не оставляя имен.
Если ж кого прославил поэт, он с собственным ликом
Бродит, и он приобщен сонму героев тогда.
Я с ликованьем войду, твоей прославлена песнью,
Взор богини ко мне ласково будет склонен...

(Гёте, Собрание сочинений в 13 томах, т. I, М., 1932, стр. 280).

[66] Опубликовано в «Вестнике Европы» (1814, № 12, июль, стр. 272).

[67] А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, ред. и прим. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 225.

В стихотворении «К поэту-математику» Дельвиг характеризует Державина в перспективе истории мировой поэзии:

Пиндара, Флакка победитель,
Небесных песней похититель,
Державин россов восхищал! [68]

Под свежим впечатлением от этой смерти великого поэта, вызвавшей много откликов в русской печати, Дельвиг написал стихотворение «На смерть Державина», датируемое обычно второй половиной июля 1816 г.[69] Это стихотворение долго оставалось ненапечатанным, хотя было известно в списках и, очевидно, распространялось среди лицеистов. В. П. Гаевский знал по рукописи эту оду, написанную белыми стихами, на его вкус «напыщенную, длинную и неуклюжую»; поэтому он не счел нужным ее опубликовать и отметил лишь, что она «оканчивается обращением к Пушкину, в котором Дельвиг первый предсказал великого поэта», считая его «законным преемником Державина».[70] Впервые это стихотворение Дельвига было опубликовано лишь в 1883 г. Я. К. Гротом в IX томе изданного им Собрания сочинений Державина,[71] и оно долго ускользало от исследователей Пушкина. Много десятилетий спустя М. Л. Гофман вновь напечатал это стихотворение по автографу Дельвига, среди других малоизвестных или вовсе непечатавшихся его стихотворений. Но в отличие от В. П. Гаевского Гофман счел «На смерть Державина» чрезвычайно интересным литературным документом. По его мнению, произведение Дельвига «замечательно и полнотой характеристики всего творчества Державина, всей его поэтики, образов и сюжетов (античная и русская мифология), его пиндарических и горацианских ладов, и еще более чутким предчувствием того, что преемником Державина может быть только „атлет молодой" — 17-летний Пушкин, и по-

---

[68] Там же, стр. 233. Целый трактат Филомафитского «Сравнение Державина с Горацием» опубликован был в «Украинском вестнике» (1816, ч. VIII—IX).

[69] А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, стр. 111—112; М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. Л., 1951, стр. 101. Тогда же, очевидно, еще один лицейский поэт — А. Илличевский написал бледное и невыразительное стихотворение «На кончину Державина». Оно вошло в изданный им десятилетие спустя сборник «Опыты в антологическом роде» (СПб., 1827, стр. 14) без точной даты создания. В романе Н. Греча «Черная женщина» (ч. III, СПб., 1834, стр. 87—89) есть довольно характерная сцена, изображающая, как различно восприняли смерть Державина подлинные ценители русской поэзии и петербургские чиновники, для которых покойный оставался лишь «бывшим министром юстиции и действительным тайным советником».

[70] В. Гаевский. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. «Современник», 1863, № 8, стр. 371.

[71] Г. Р. Державин, Сочинения с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. IX, СПб., 1883, стр. 550. Здесь же неполный список стихотворных откликов на смерть Державина.

ниманием, что во всей русской поэзии нет более крупных имен, чем два имени — Державина и Пушкина».[72] Для оценки и восприятия Державина Дельвигом данное его стихотворение в сопоставлении с другими упоминаниями знаменитого певца в стихотворениях того же Дельвига, собственно говоря, дает не так много нового: Державин, например, и на этот раз сопоставлен с Пиндаром и Горацием («И Пиндар узнал себе равного, Флак — филозо́фа брата»). Гораздо интереснее для нас место, которое отводится в стихотворении Пушкину.

Пушкин упомянут в первом же стихе этой надгробной элегии:

Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин!
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают!

Эти стихи, как лейтмотив похоронного причитания, повторяются в стихотворении трижды, в последний раз как переход к вопрошанию:

Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто, Пушкин!

Имя молодого друга и собрата Дельвигом названо здесь не даром: для Дельвига нет сомнения, что у лиры покойного есть лишь один наследник и преемник на российском Парнасе. Дельвигу это представляется настолько очевидным и бесспорным, что в заключительных строках, где боги и музы призываются беречь и любить юного певца, Пушкин даже больше не называется по имени: и так ясно, что речь идет именно о нем. Пушкин увенчает свежим венком замолкшую лиру, счастливец, избранный Зевсом для поприща славы еще в колыбели:

Молися Каменам! И я за друга молю вас, Камены!
Любите младого певца, охраняйте невинное сердце,
Зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты!
Но и в старости грустной пускай он приятно на лире,
Гремящей сперва, ударяя — уснет с исчезающим звоном![73]

Таким образом, говоря о покойном Державине, Дельвиг все время думал о Пушкине, по аналогии даже предрекая и ему

---

[72] Дельвиг, Неизданные стихотворения под ред. М. Л. Гофмана, Пб., 1922, стр. 135—136. Отметим, однако, что об этом самом стихотворении, но глухо, упомянул еще П. А. Плетнев в некрологе Дельвига, напечатанном в «Литературной газете» 1831 г. Говоря здесь, что «поэтический талант барона Дельвига раскрылся, можно сказать, вдруг и довольно рано», П. А. Плетнев, между прочим, засвидетельствовал: «Заметно только, что муза Горация была первою вдохновительницею молодого поэта. Движения собственного его вкуса более ознаменовались в эту эпоху два раза: при известии о смерти Державина (1816) и при окончании курса учения лицейских его товарищей» (П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. 1, СПб., 1885, стр. 213—214, 575).

[73] А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, ред. и прим. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 253—254.

«грустную», но спокойную и тихую старость, какую провел и «Пиндар российский», не выпускавший лиру из рук до последних дней своей жизни. Хотя элегия Дельвига не увидела света ни при жизни Дельвига, ни при жизни Пушкина, но она получила распространение в рукописных копиях, при этом в первую очередь среди лицеистов, вероятно потому, что связывалась с Пушкиным.[74]

У нас нет документальных данных о том, как к этой элегии и в особенности к сопоставлению Пушкина с Державиным, на что смело рискнул Дельвиг, отнесся сам Пушкин, однако мы можем составить себе об этом достаточно ясное представление, прежде всего на основании того обмена посланиями между обоими друзьями, который продолжался до самого конца 1816 или даже до весны следующего года (1817), перед выпуском. Осенью или зимою 1816 г. Пушкин обратился к Дельвигу с весьма меланхолическими стихами («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою»), уже цитированными выше, служившими ответом, как мы видели, на стихотворение Дельвига «Как? Житель гордых Альп». Дельвиг убеждал, пророчествовал, настаивал на том, что он угадал предназначение своего друга, Пушкин отнекивался, отмалчивался, слабо защищая свое право на поэтическую лень, на временное ослабление своих творческих сил, пытался вместо себя возвеличить Дельвига как поэта, но между тем постепенно перерабатывал свои ответные послания к нему и, устраняя из текста слишком личные мотивы и реальные подробности, готовил их к печати.

Поэзией Державина Пушкин в это время, по всем свидетельствам, восхищался, но не безоговорочно и безотчетно, как Дельвиг.[75] Тем не менее тому юному «тщеславию», в котором признается сам Пушкин, должны были быть приятны сравнение его с Державиным и предвещания великой будущности. И может

---

[74] Характерно, что в лицейской тетради, опубликованной М. О. Гершензоном («Русские пропилеи», 1919, т. 6, М., стр. 65—66), стихотворение Дельвига «На смерть Державина» по ошибке переписчика подписано «Пушкин», как в тексте, так и в оглавлении. Это можно объяснить тем, что переписчик, встретя имя Пушкина 7 раз в тексте этого стихотворения, подписал его затем автоматически. В предисловии к изданию этой рукописи М. О. Гершензон отметил: «Ошибка эта тем более странна, что в самом стихотворении содержится обращение к Пушкину. Но то же стихотворение дважды помещено в сборнике ненапечатанных произведений Пушкина, предназначенных для посмертного издания его сочинений, — сборнике, выправленном рукой Жуковского (В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина. «Русская старина», 1884, № 12, стр. 576)» («Русские пропилеи», 1919, т. 6, стр. 3).

[75] В черновых заметках для биографии Пушкина П. В. Анненкова найдена была запись, сделанная им со слов Я. И. Сабурова, о том, что «Пушкин, восхищавшийся Державиным», получил от Чаадаева указание на «неточность изображения», допущенную Державиным в стихотворении «Путник». См.: Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, стр. 337.

быть, за эти неизменные пророчества (мы знаем три стихотворных послания Дельвига к Пушкину, в которых есть эти предсказания, а они, естественно, сопровождались также и устными беседами о поэтическом призвании), пророчества, в которые юноша Пушкин тайно верил и которые во всяком случае обновляли и укрепляли его поэтические силы, он и прозвал Дельвига «вещим поэтом» или «вещуном Пермесских дев». Слово «вещий» употреблено здесь в том самом значении этого слова — «обладающий даром предвидения», — какое Пушкин употреблял в молодые годы под воздействием «Слова о полку Игореве» (в «Руслане и Людмиле» говорится о «голосе вещего Баяна» и о «вещем Финне»). «Вещуном Пермесских дев», т. е. «муз», (так нередко именовались они на распространенном в Лицее и в русской поэзии тех лет перифрастическом языке, щеголявшем изощренной игрой античными мифологическими названиями),[76] Пушкин назвал Дельвига в стихотворении «19 октября» (1825). «Вещим поэтом» он назван также в пропущенной строфе четвертой главы «Евгения Онегина».[77] Едва ли случайностью можно, наконец,

---

[76] Пермесс — река в античной Греции, текшая с горы Геликон в озеро, которое считалось обиталищем муз и вдохновителем поэтов; оттого и И. И. Дмитриев в стихотворении «К Маше» (1803) утверждал, что он «воспоен Пермесским током» и «от Аполлона быть пророком с издетства право получил», а А. А. Бестужев в стихотворении «К некоторым поэтам» (1819) именовал их «жильцами Пермесской колыбели». Отметим, что «младым вещуном» и сам Дельвиг назвал Пушкина в обращенном к нему стихотворении «Как? Житель гордых Альп. . .» (стих 5-й). Как видно из русского синонимического словаря, пополнявшего толкования, дававшиеся «Словарем Академии Российской», слово «вещун» было обиходным в русской речи пушкинской поры в значении «угадчик, предсказатель, прорицатель». Толкуя синонимы «вещун, гадатель, предсказатель», «Словарь русских синонимов или сословов, составленный редакциею нравственных сочинений» (ч. 1, СПб., 1840, стр. 495—496) указывал: «Ясновидение того, что скрыто, свойственно всем этим лицам. Но вещун (вещий) есть речение самое общее и употребительнейшее: гадатель, предсказатель — содержится к нему, как виды к роду, потому что вещун проразумевает (sic!) тайны настоящего и будущего» и т. д.

[77] В строфе четвертой главы «Евгения Онегина» (не включенной в печатные издания романа, но напечатанной в «Московском вестнике» 1827 г. под заглавием «Женщины. Отрывок из Евгения Онегина») долгое время загадочными являлись следующие строки:

Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темира, Дафна и Лилета,
Как сон, забыты мной давно.

(VI, 592; XIII, 338)

Загадка открылась, когда найдено было эротическое стихотворение Дельвига лицейских лет «Фани. Горацианская ода», из которого явствует, что Пушкин цитировал стихи именно отсюда, а «вещим поэтом» называл их автора. Но здесь это определение имело и особое, более частное применение.

объяснить тот факт, что «вещуном» Дельвига именует и П. А. Плетнев в том письме к Пушкину (от 3 марта 1825 г.), в котором выражалась надежда, что автор «Евгения Онегина» уже обнял Дельвига в селе Михайловском (XIII, 147—148).

Пушкин долго ждал своего друга к себе в деревню. Наконец, Дельвиг все же приехал к нему в двадцатых числах апреля 1825 г. и прогостил в Михайловском у «изгнанника» несколько дней. Пушкин мог сказать Дельвигу то, что он говорил, обращаясь к И. И. Пущину, первому лицейскому другу, еще в январе того же года посетившему «поэта дом опальный» в Михайловском:

> Ты усладил изгнанья день печальный,
> Ты в день его Лицея превратил.
>
> (II, 424)

В известном смысле встреча Пушкина с Дельвигом была даже более радостной, так как это была не только встреча друзей, но и соратников, лицейских друзей-поэтов. Вышеприведенные цитаты позволяют объяснить, почему в 1825 г. Пушкин столь последовательно присоединял к имени Дельвига понравившийся ему эпитет «вещун»: это было воспоминание о годах, совместно прожитых с Дельвигом в Лицее.

В. П. Гаевский рассказывает, что Дельвиг застал Пушкина за приготовлением к изданию своих стихотворений и что, «по свидетельству знавших того и другого, Пушкин советовался в настоящем случае с Дельвигом, дорожа его мнением и вполне доверяя его вкусу. В этих литературных беседах, чтениях и спорах проходило все утро».[78] Друзья перечитывали старые стихи, обсуждали, какие из них заслуживают печати, вспоминали свои давние литературные беседы; известно даже, что Дельвиг увез с собой в Петербург из Михайловского какую-то черновую тетрадь Пушкина с его стихами и вторую главу «Евгения Онегина», переписанную для П. А. Вяземского.[79] Еще важнее было то,

---

Во второй строфе оды «Фани», которую Пушкин имел в виду, Дельвиг писал:

> Темира, Дафна и Лилета
> Давно, как сон, забыты мной,
> И их для памяти поэта
> Хранит лишь стих удачный мой.

Таким образом, слова о «памяти поэта» оказались пророческими и исполнились в действительности (стихотворение «Фани» в первый раз напечатано было по рукописи М. Л. Гофманом в альманахе Пушкинского дома «Радуга» (Пб., 1922, стр. 29—30, 38—40; см. также: Дельвиг, Неизданные стихотворения, стр. 50, 123—124).

[78] «Отечественные записки», 1854, т. XLVII, отд. III, стр. 2; Пушкин, Письма, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, М.—Л., 1926, стр. 432.

[79] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, стр. 594.

что Дельвиг пытался, как мог, утешить «изгнанника», друга, находившегося в беде, «гонимого судьбой», и снова, как в былые годы, возбуждал в нем как бы «усыпленное» в одиночестве вдохновение. Осенью того же года, вспоминая своих лицейских друзей по случаю очередной лицейской годовщины, Пушкин обратился к Дельвигу со словами благодарности за недавний к нему приезд, за дружескую встречу, за бодрость и уверенность в себе, которые придали ему увещания и просьбы друга; здесь снова мелькнуло в памяти многозначительное лицейское прозвание, которое Пушкин дал Дельвигу в ответ на его вдохновенные предсказания:

Когда постиг меня судьбины гнев, —
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун Пермесских дев.
И ты пришел, сын лени вдохновенной,
О, Дельвиг мой! Твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил
и т. д.

(II, 424, 968, 1168)

Эти стихи, написанные от чистого сердца, заключили в своих стесненных поэтических строках целое множество воспоминаний о беседах с другом-поэтом в уединенной деревне на темы о призвании и творческих итогах за годы разлуки с ним, живую признательность ему за слова утешения, сказанные в ту пору, когда он, «для всех чужой», особенно в них нуждался.[80] Не может быть сомнений в том, что Дельвиг и на этот раз сыграл роль, очень близкую к той, которую он взял на себя за десятилетие перед тем — в 1816 г., побуждая Пушкина забыть обиды критики и снова предаться вдохновенному творческому труду. Слова Пушкина, обращенные к Дельвигу: «Твой голос пробудил сердечный жар», означают именно то, что последний восстановил его дремавшие поэтические силы, дал ему новый творческий импульс.

«Дельвиг был для Пушкина тем же, чем для Карамзина — А. А. Петров, для Жуковского — Андрей Ив. Тургенев, для Батюшкова — И. А. Петин», — справедливо заметил в свое время П. И. Бартенев и прибавил: «Любя Дельвига со всем пристрастием горячей дружбы, Пушкин думал видеть в нем те достоин-

---

[80] Поездка к «опальному поэту» в Михайловское не прошла без последствий и для самого Дельвига. Ю. Н. Верховский высказал правдоподобное предположение, что, несмотря на свою кратковременность, она повлекла за собой увольнение Дельвига со службы в Публичной библиотеке в Петербурге (29 мая 1825 г.). См.: Ю. Н. Верховский. Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные. Пб., 1922, стр. 10—11, 39—41.

ства, которые желал самому себе».[81] Этим объяснял П. И. Бартенев для себя те якобы «преувеличенные похвалы», которые Пушкин обращал к Дельвигу. На самом деле и похвалы эти вовсе не были преувеличенными: Дельвига как поэта оценили лишь позднее; но главное было даже не в этом — Дельвиг был для Пушкина не только преданный, доверенный друг-советчик, друг-ценитель, друг-судья, но и нечто большее — друг-предсказатель, пророк, вещун, не раз исцелявший поэта в его молодые годы в минуты воображаемого уныния и реальной скорби от временного ослабления творческой деятельности и благословлявший его на дальнейший путь.

И любопытно, что следующая же строфа цитированного стихотворения «19 октября [1825]», также обращенная к Дельвигу, давала как бы историю их дружбы, их раннего совместного поэтического служения. Пушкин не без основания, как это можно признать после приведенных нами выше наблюдений, именует здесь Дельвига «гордым» певцом, не изменившим своему призванию: оставаться им, верным только музам, не увлекаясь легким успехом и не свертывая с раз избранного пути, Пушкина учил именно Дельвиг. Следует напомнить еще раз эту строфу, хотя она выше уже привлекалась нами для другой цели:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали,
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья, —
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

(II, 424)

Особенно интересно отметить, что среди многих бесед о поэтах и поэзии, о хороших и плохих стихах, как старых, так и новых, которые вели между собою лицейские друзья, отдававшиеся юношеским воспоминаниям на свободе деревенского приволья, шли также споры о Державине. Подтверждение этому мы имеем в чрезвычайно интересном письме Пушкина к Дельвигу, писанном в начале июня 1825 г., через месяц с небольшим после возвращения последнего из Михайловского. Пушкин излагал в этом письме свое «окончательное» мнение о Державине и значении его творчества в истории русской поэзии, так как, очевидно, хотел закончить беседу или, скорее, спор, который он вел с Дельвигом у себя в деревне и который остался незавершенным. На основании энергичных приговоров и весьма острых критических суждений, вы-

[81] П. И. Бартенев. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии, ч. 2. Лицей (отд. оттиск из «Московских ведомостей», 1855, № 117—118, стр. 58).

сказанных Пушкиным в этом известном письме, можно догадаться, что он еще раз отстаивал здесь свою прежнюю позицию по отношению к Державину, с которой Дельвиг не соглашался; вероятно, это был давний спор, возобновленный, но безрезультатный. Пушкин писал Дельвигу: «По твоем отъезде перечел я Державина всего и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка — (вот почему он и ниже Ломоносова) — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо» (XIII, 182) и т. д. Конечно, этот довольно беспощадный приговор не был безоговорочным: несмотря на свою полемическую горячность и задор, усиливший аргументацию, которыми полны строки этого незаконченного спора, Пушкин все же отдавал Державину должное и допускал кое-какие исключения. «Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы», — пишет Пушкин далее в том же письме, но добавляет в скобках: «исключая чего знаешь». К сожалению, трудно дознаться, какие именно безупречные державинские строфы Пушкин мог иметь в виду. Но более чем вероятно, что среди них были и те, каким подражал он и сам в лицейские годы. Хорошо известно, что Пушкин любил свои ранние «державинские» стихи, дорожа ими так же, как и воспоминаниями о школьных годах. Весною того же 1825 г., задумывая издание книжки «Стихотворений» и перечитывая для этой цели свои лицейские опыты, Пушкин запрашивал брата (письмо от 27 марта 1825 г.): «Не напечатать ли в конце Воспоминания в Ц<арском> С<еле> с Notой (sic!), что они писаны мною 14 лет и с выпискою из моих записок (о Державине) ась?» (слова эти зачеркнуты и под ними написано: «нет») (XIII, 159).[82]

---

[82] В примечании к тексту этого стихотворения в Собрании сочинений Пушкина, изданном Гос. издательством художественной литературы (т. I, М., 1959, стр. 555), Т. Г. Цявловская обратила внимание на то, что Пушкин еще в 1819 г. собирался включить его в сборник своих стихотворений и переработал текст, «освободив его от похвал Александру I как спасителю Европы», но в этом виде стихотворение не появилось, так как не состоялось и задуманное издание. В 1825 г. «Воспоминания в Царском Селе» были снова включены в рукопись сборника, но в «Стихотворениях» 1826 г. не появились. «Возможно, — догадывается по этому поводу Т. Г. Цявловская, — цензор обратил внимание на отсутствие строфы, посвященной царю; стихотворение было хорошо известно в первоначальном виде, так как именно в этой первой редакции печаталось в „Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах 1817 и 1823 гг.“» (стр. 555). Это предположение представляется мне неправдоподобным: никакой цензор не мог и не должен был иметь в своей памяти все строфы большого юношеского произведения Пушкина. Из приведенных слов письма Пушкина к брату и из пометы на автографе, которую цитирует Б. Л. Модзалевский в его издании «Писем» Пушкина (т. I, Л., 1926, стр. 126), видно, что у самого поэта были колебания, следует ли включать «Воспоминания в Царском Селе» в сборник в той или иной редакции, и что в конце концов он сам от этого отказался.

Так как эти «Записки» были уничтожены поэтом после восстания декабристов, то нельзя с уверенностью считать, является ли дошедший до нас рассказ Пушкина о Державине (вошедший в его «Table Talk») новой редакцией (1833) уничтоженной страницы или она уцелела в том же виде, в каком существовала в 1829 г. (XII, 158).[83] Суть этого рассказа осталась во всяком случае прежней: Пушкин утверждает, что Державина он видел «только однажды в жизни» — на лицейском экзамене в январе 1815 г., читая в его присутствии свои «Воспоминания в Царском Селе» (нельзя не подчеркнуть, что в этом же отрывке упомянут и Дельвиг — в качестве пламенного поклонника Державина). Эту единственную, но тем более памятную встречу Пушкин не забывал никогда: он говорил о ней в «Послании к Жуковскому» (1817), в начале восьмой главы «Евгения Онегина». В так называемой «Программе автобиографии» Пушкина, написание которой относят к осени 1830 г., также находятся строки, потом зачеркнутые: «Экзамен (Галич), Державин — стихотворство — смерть» (XII, 429). Имя Галича (вписанное сверху и затем также зачеркнутое) появилось здесь недаром; в своем дневнике 1834 г. Пушкин записал о том же А. И. Галиче: «Я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором, ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 г. мои Воспоминания о Царском Селе» (XII, 322). Даже более двадцати лет спустя после этого события Пушкин не мог забыть тех поощрений на избранном им поприще, т. е. независимом поприще поэта, от кого бы они в то время ни исходили и в какой бы форме ни делались: ласковое слово, ободрительный отзыв, восторженное признание с одинаковой свежестью хранились в памяти; крупный поэт, доживавший свои последние годы, благожелательный наставник, лицейский друг вспоминались вместе на общем лицейском фоне, освещаясь в мыслях о них чувством искренней благодарности, полном лиризма.

Спор Пушкина с Дельвигом о значении Державина в истории русской поэзии, состоявшийся в Михайловском и продолжавшийся затем в письмах, также, вероятно, связан был с этими воспоминаниями и с мыслями и беседами о собственных творческих путях друзей-поэтов. Перечитывая в это время «всего» Державина, Пушкин естественно обращал особое внимание на те его стихи, в которых Державин определяет свои гражданские и литературные заслуги.[84] Тем интереснее, что еще пять лет спустя, в своей, цити-

---

[83] Б. Л. Модзалевский (Пушкин, Письма, т. I, стр. 423) считает этот рассказ восстановленным через семь лет после сожжения записок; И. Фейнберг, напротив, относит его к «уцелевшим отрывкам» (И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 2-е. М., 1958, стр. 314—316).

[84] Приблизительно в то же самое время, когда Пушкин в письме к Дельвигу сообщал свое «окончательное» мнение о наследии Державина, он писал также А. А. Бестужеву (конец мая—начало июня 1825 г.): «Кумир Держа-

рованной выше, «Программе автобиографии», Пушкин задумывал рассказать не только о собственном поэтическом творчестве после лицейского экзамена и встречи с Державиным, но и о смерти престарелого поэта (XII, 429), а эта смерть должна была быть памятна Пушкину по многим причинам, и прежде всего потому, что она вызвала у ближайших к нему друзей-поэтов призывы заменить Державина на «российском Парнасе».

Как на смерть Державина откликнулся Дельвиг, мы уже видели выше. Из лицейских поэтов, кроме Илличевского, весьма патетически отозвался на это событие Кюхельбекер, также не раз впоследствии сопоставлявший с Державиным Пушкина. В своем известном стихотворении «Поэты», впервые напечатанном в 1820 г.,[85] Кюхельбекер вспоминал многих «певцов и смелых и священных, пророков истин возвышенных», среди которых назван и «дивный исполин Державин»:

вина (полу)1/4золотой (полу)3/4свинцовой доныне еще не оценен» (XII, 179). Очень возможно, что под «Кумиром» Пушкин подразумевал большое стихотворение Державина «Мой истукан» (1794), начинающееся стихом: «Готов кумир, желанный мною». Здесь идет речь о бюсте Державина, по поводу которого поэт, вопрошая себя:

Но мне какою честью льститься
В бессмертном истукане сем?
Без славных дел, гремящих в мире,
Ничто и царь в своем кумире,

размышляет на тему о различии между славой «доброй и худой», о добродетелях военных и гражданских, о деятельности общественной, о поэтическом творчестве, о том, наконец, чтó из содеянного им заслужит признание потомства:

Постой, пиит, восторга полный!
. . . .
Потомство — грозный судия:
Оно рассматривает лиры;
Услышит глас и твоея,
И пальмы взвесит и перуны,
Кому твои гремели струны,
Увы! легко случиться может,
Поставят и тебя льстецом:
Кого днесь тайно злоба гложет
Тот будет завтра въявь врагом...

(Г. Р. Державин, Сочинения ... с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. I, СПб., 1864, стр. 167—168). Это — своеобразный вариант или предвосхищение «Памятника», написанного в следующем году (1795), неуверенные попытки разобраться в итогах собственной деятельности. Пушкину не могли не запомниться некоторые стихи отсюда; недаром он считал стихотворение «золотым» на одну четверть (если эта оценка не относится ко всему поэтическому наследию Державина в целом; слово «кумир», употребленное Пушкиным вместо заглавия, допускает и такое истолкование).

[85] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 4, стр. 76—78.

Ты пройдешь мглу веков несметных,
В народах будешь жить несчетных —
И твой питомец, славянин
. . . .
Тебя похитит у забвенья!

Стихотворение обращено к Дельвигу (которого Кюхельбекер призывает не обращать внимание на невзгоды и гоненья, потому что «бессмертие равно удел и смелых, вдохновенных дел, и сладостного песнопенья»), но адресуется также к Баратынскому, а заключительные стихи посвящены Пушкину («И ты, наш юный корифей, — певец любви, певец Руслана!»), которого Кюхельбекер заклинает:

Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен!

«О, други», — восклицает поэт в конце своего длинного стихотворения, стараясь убедить всех троих, что им уготован счастливый жребий у потомков, если даже современники будут к ним несправедливы:

Песнь простого чувства
Дойдет до будущих племен, —
Весь век наш будет посвящен
Труду и радостям искусства;
И что ж? Пусть презрит нас толпа:
Она безумна и слепа! [86]

Этот мотив будущего признания, вопреки злосчастной судьбе, стал еще настойчивее звучать в поэзии Кюхельбекера после 14 декабря — в крепостях, в ссылке; он даже создал свой вариант «Памятника», с явственными отголосками той же Горациевой оды — может быть, через посредство державинского ее пересоздания. В этом стихотворении (послании к матери от 15 декабря 1832 г.; оно внесено в его дневник; впервые опубликовано лишь в 1860 г.) мы читаем следующие строки:

И да вещаю ныне с дерзновеньем:
Я верую, я знаю: не умрут
Крылатые души моей созданья.
Так! чувствую: на мне печать избранья,
Пусть свеется с лица земли мой прах,
Не весь истлею я: [87] с очей потомства

---

[86] В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Под ред. Ю. Тынянова. Л., 1939, стр. 42—47.

[87] Это воспоминание о стихе Горация «non omnis moriar...» дано здесь в форме, близкой к знаменитому стиху «Памятника» Державина: «Так, весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить». Обратив внимание на то, что и в переводе А. Востокова этот стих звучит близко к державинскому («Так, весь я не умру — большая часть меня избежит похорон»), В. Н. Орлов с полным основанием отметил, что данный стих стал у нас «ходячим выражением идеи бессмертия поэта» (А. Востоков.

Спадет покров мгновенной слепоты —
И стихнет гул вражды и вероломства,
Умолкнет злоба черной клеветы —
Забудут заблужденья человека;
Но воспомянут чистый глас певца,
И отзовутся на него сердца
И дев и юношей иного века.[88]

В этом стихотворении та же «дерзновенная» мысль о бренности человеческих дел и о бессмертии созданий искусства, которая была присуща также Дельвигу и заимствована ими обоими из Горация и его подражателей. Однако у Кюхельбекера мы находим уже и нечто иное — представление о высоком общественном назначении поэзии и о певце как передовом деятеле гражданственности, глашатае общественно-полезных нравственных истин. Эта мысль сильнее подчеркнута в стихах о Пушкине Кюхельбекера, будущего поэта-декабриста, чем у его друга Дельвига; недаром цитированное выше стихотворение Кюхельбекера «Поэты» вызвало политический донос В. Н. Каразина министру внутренних дел графу В. П. Кочубею,[89] сразу почувствовавшему в нем крамолу, а в журнале «Благонамеренный» (1822) тотчас же появилась (уже упоминавшаяся выше) пародия, принадлежавшая, по-видимому, перу известного охранителя и доносчика Б. М. Федорова. Отсюда, может быть, из этого высокого представления Кюхельбекера о поэте как о пророке и общественном деятеле, который пишет для современников, а оценен будет потомками, проистекало непризнание им в двадцатые годы, или, вернее, отказ от прежнего признания и оценки Горация, что было воспринято современниками как неприличная выходка или чудачество, осужденные и Пушкиным;[90] от-

Стихотворения. Л., 1935, стр. 412). Подчеркнем также, что этот стих несомненно утвердился в памяти Кюхельбекера еще в лицейские годы, в период дружбы с Дельвигом (об их отношениях см.: В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, стр. 334—336). В элегии Кюхельбекера, посвященной Дельвигу и напечатанной в «Сыне отечества» 1817 г., также можно усмотреть воспоминание об этом стихе: «Весь еще я не лишен лучшия части себя — святых, благодатных мечтаний» (В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I, стр. 6). Пиетет к Державину не угас у Кюхельбекера и в сибирские годы. Узнав о смерти Пушкина, он написал весьма прочувственное стихотворение («Тени Пушкина», 1837), в заключении которого, не зная еще о существовании пушкинского «Памятника», утверждал:

Гордись! Никто тебе не равен,
Никто из сверстников певцов:
Не смеркнешь ты во мгле веков, —
Во всех тебе клеврет Державин

(там же, стр. 177).

[88] В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I, стр. 133—134.

[89] «Русская старина», 1899, № 5, стр. 277—279; В. Базанов. Ученая республика. М.—Л., 1964, стр. 141—142.

[90] Во второй части альманаха «Мнемозина» (1824) Кюхельбекер напечатал свою статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической,

сюда же проистекала явная идеализация Кюхельбекером Державина, как поэта гражданских доблестей, которой Пушкин в свои зрелые годы также не мог сочувствовать.

Такую идеализацию, как известно, начал еще К. Ф. Рылеев, напечатавший в 1822 г. в «Сыне отечества» свою думу «Державин». В полном противоречии с существовавшей в те годы традицией Рылеев изобразил в этой думе не реально жившего в Петербурге и умершего под Новгородом поэта и не громоподобного «певца Фелицы», но такого поэта, черты которого рисовались ему в воображаемом образе певца-гражданина, гонителя неправды и борца с общественным злом:

> О, так, нет выше ничего
> Предназначения поэта:
> Святая правда — долг его;
> Предмет — полезным быть для света.

Такой поэт делом обязан оправдать свой сан, быть подвижником и ратоборцем, с презрением взирать на смерть и зажигать доблесть в молодых сердцах... Все это, по мнению Рылеева, относится и к Державину («Таков наш бард Державин был»); поэтому заключительные стихи этой думы имеют откровенно панегирический характер:

> О, как удел певца высок!
> Кто в мире с ним судьбою равен?
> Откажет ли и самый рок
> Тебе в бессмертии, Державин?

в последнее десятилетие», в которой высказаны весьма смелые суждения о многих русских и зарубежных поэтах, в том числе и о Горации. Кюхельбекер считал, что нельзя ставить на одну доску «исполина между исполинами Гомера и ученика его Вергилия, роскошного и громкого Пиндара и прозаического стихотворителя Горация» и т. д. Хотя эпитет «прозаический» дан был Горацию еще в «Эстетике» Бутервека (1808), изучавшейся в Лицее, но приведенное суждение и вся цепь парадоксов Кюхельбекера вызвали негодование многих русских литераторов (см.: Остафьевский архив, т. III. СПб., 1899, стр. 69). Ю. Н. Тынянов (Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 133) приводит отрицательное суждение о Горации П. А. Катенина (1830) и утверждает, что Кюхельбекер и Катенин стремились поколебать авторитет Горация якобы потому, что он был «высок у карамзинистов». Этот вывод не представляется мне ни ясным, ни убедительным. Что касается Пушкина, то к оценке Горация Кюхельбекером в указанной статье он отнесся отрицательно и несколько раз вспоминал ее, набрасывая свои возражения. Особенно интересно, что много лет спустя в заметке, написанной между июнем и августом 1836 г., т. е., вероятно, незадолго до создания «Памятника», Пушкин высказал следующую мысль: «Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выспренней. Есть люди, которые находят и Горация прозаическим (спокойным, умным, рассудительным? Так ли?). Пусть так. Но жаль было бы, если б не существовали прелестные оды, которым подражал и наш Державин» (XII, 93, 378).

Но так как тема бессмертия в поэзии была темой державинской, восходившей к Горацию, то и в думу Рылеева вкраплены стихи из «Памятника» Державина:

> Ты прав, певец, ты будешь жить;
> Ты памятник воздвигнул вечный:
> Его не могут сокрушить
> Ни гром, ни вихорь быстротечный.[91]

«Думы Рылеева и целят, а все невпопад», — писал Пушкин В. А. Жуковскому из Михайловского в апреле 1825 г., т. е. незадолго до того времени, когда он перечел «всего» Державина и сообщал «окончательное» мнение о нем Дельвигу. А. А. Бестужеву Пушкин тогда же напоминал, что «с Державиным умолкнул голос лести» и что ему «покровительствовали три царя».[92] Трудно было бы предположить, что дума Рылеева «Державин» не вызвала особых возражений Пушкина, поскольку она отождествляла Державина-поэта и Державина-человека, а именно о последнем, о его нравственных достоинствах Пушкин составил себе отрицательное мнение, не раз высказывавшееся им друзьям.[93] Тем не менее прочтенная им в этой рылеевской думе цитата из державинского «Памятника», сопровождавшаяся напоминанием первого латинского стиха из оды Горация, лишний раз обновила в его памяти все старые мысли и ощущения, связанные с той же горацианско-державинской идеей бессмертия поэзии, которую он оживленно обсуждал с Дельвигом и Кюхельбекером в их лицейские годы и тогда же претворял в поэтические строки.

В заключение можно сослаться еще на один случай, относящийся уже к тридцатым годам, по-видимому позволивший Пушкину встретиться в поэзии с тем же кругом мыслей, но опять-таки в связи с оценкой наследия Державина провинциальными

---

[91] К. Рылеев, Полное собрание стихотворений, Л., 1934, стр. 171. В примечании к стихам, перефразировавшим державинские строки, Рылеев напомнил начало Горациевой оды, которой Державин подражал в «Памятнике» («Exegi monumentum aere perennius...»). См. об этой оде статью П. П. Филипповича «Рылеев и Державин» в сб. «Декабристы на Украïнi» (Киев, 1926, стр. 124—135).

[92] Все названные письма Пушкина не имеют даты, но они, кроме письма к Жуковскому (относимого к апрелю), относятся к концу мая—началу июня 1825 г. (XIII, 167, 179).

[93] В конце мая—начале июня 1825 г. Пушкин писал из Михайловского А. А. Бестужеву: «С Державиным умолкнул голос лести — а как он льстил?» (XII, 179), и тогда же Дельвигу: «...мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем (не говоря уж о его Министерстве)...» (XII, 182). П. В. Нащокин свидетельствовал: «Поэта Державина Пушкин не любил как человека, точно так, как он не уважал нравственных достоинств в Крылове. Пушкин рассказывал, что знаменитый лирик в пугачевщину сподличал, струсил и предал на жертву одного коменданта крепости, изображенного в „Капитанской дочке“ под именем Миронова. Разумеется, он ставил высоко талант Державина...». См.: Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. Под ред. М. А. Цявловского. М., 1925, стр. 48, 123.

архаистами тех лет. Проезжая через Казань в сентябре 1833 г., Пушкин был в гостях у местной поэтессы А. А. Фукс, откликнувшейся на это событие стихами, ему посвященными, в журнале «Заволжский муравей» (1834).[94] Мимолетной была тогда же встреча Пушкина с Г. Н. Городчаниновым, профессором Казанского университета и председателем Казанского общества любителей отечественной словесности.[95] Старик Городчанинов был большим любителем сочинять стихи, но не имел к тому никаких способностей; почитатель не только Державина и Хераскова, но даже Хвостова, он слагал архаические вирши, которые ничем не выделялись бы и в XVIII в. По рассказу очевидцев, находясь в гостях у К. Ф. и А. А. Фуксов, Пушкин перелистал книжку стихов Городчанинова и отозвался о них весьма пренебрежительно. Одним из удачнейших творений Городчанинова (кстати, читанном также на одном из вечеров у А. А. Фукс) казанские литераторы считали его оду, озаглавленную «Бессмертие пиита (в память Державина)». Этот поэтический анахронизм, как один из зрелых плодов творческих усилий автора, коллега Городчанинова по Казанскому университету, профессор Ф. И. Эрдман, переложил на латинские стихи под заглавием «Poeta immortalis». И подлинник, и перевод Городчанинов воспроизвел в вышедшем в 1836 г. в Казани издании своих трудов — «Сочинения и переводы в стихах». Это длинное и непоэтическое произведение, состоящее из одних общих мест, интересно, однако, именно своей типичностью; оно представляет собой риторическое и многословное рассуждение на тему о бессмертии поэзии и бренности всех остальных человеческих деяний, не исключая даже воздвигнутых в честь и славу последних чудес архитектуры. Современное Пушкину, но написанное в классическом стиле XVIII в., это произведение Городчанинова, хотя и созданное «в память Державина» и по следам его «Памятника», называет также Горация рядом с Омиром и Вергилием. Начинается оно свидетельством, что Время «непритупляемой косой» «все в дольном сокрушает свете»:

И горды Вавилонски стены,
И Ро́досский колосс надменный,
И славный во Ефесе храм
Его печальной стали жертвой
и т. д.

«Все пало под косой Сатурна, — в ужасе восклицает пиит, — и светлый трон и мрачна урна»; лишь одна поэзия осталась нетленной:

Где грозный повелитель мира?
Но Флакка сладостная лира

---

[94] Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910, стр. 287—288.

[95] Н. Лихачев. Григорий Николаевич Городчанинов и его сочинения. Казань, 1886, стр. 13—14.

Звучит из глубины веков.
Пиит, родясь, не умирает
И нам бессмертье доставляет.

Отсюда само собой вытекает и заключение о бессмертии поэтического наследия Державина, коим не перестанут восторгаться читатели отдаленнейших поколений будущего:

Доколь Феб будет озарять
Наук, художеств нас лучами,
Дотоль бессмертными стихами
Державин будет восхищать
Потомства позднего державы
Из века в век, на крыльях славы
и т. д.[96]

Из всех вышеприведенных данных неопровержимо явствует, что традиционная мысль о бессмертии поэтического творчества в образах, популяризированных в России в подражаниях одам Горация как Державина, так и других поэтов и переводчиков XVIII и начала XIX в., стала особенно распространенной в России в применении к самому Державину в связи с оценкой творческого наследия поэта после его смерти. И в 1816 г., и в ближайшие за этим два десятилетия относившиеся к этой идее поэтические формулы, генетически связанные с подражаниями Державина Горацию, и прежде всего с его «Памятником», были еще живыми и применяемыми в русской литературе. Взгляд на Пушкина как на естественного наследника Державина, высказанный впервые Дельвигом, именно после получения известия о кончине Державина, позволял теперь шире применять те же поэтические формулы бессмертия к самому Пушкину. Следует при этом иметь в виду, что сравнения Пушкина с Державиным, делавшиеся как в поэзии, так и в критике, не прекращались в тридцатые годы и в своей большей части были Пушкину хорошо известны. Так, на необходимости сближения этих имен для лучшего исторического понимания роли обоих поэтов в русской литературе постоянно настаивал Н. Полевой. В статье 1831 г. о сочинениях Державина, написанной по случаю выхода в свет четырехтомного собрания его сочинений, Н. Полевой утверждал, что «если бы Державин был более знаком с русскою стариною ... может быть, ему суждено б было начать период истинно национальной поэзии нашей. Теперь — это долг за Пушкиным. При Державине не наставало еще время литературной самобытности».[97] В статье о «Балладах и повестях В. А. Жуковского» (1831) Полевой также мимоходом замечал, что Жуковский не является «гением самобытным, по-

[96] Е. А. Бобров. А. А. Фукс и казанские литераторы 30—40-х годов. «Русская старина», 1904, № 7, стр. 12—14.
[97] Цит. по перепечатке в кн.: Н. Полевой. Очерки русской литературы, ч. I. СПб., 1839, стр. 78.

добно Державину (или надежде будущего — Пушкину)».[98] В статье 1833 г. о «Борисе Годунове» та же параллель представлена Полевым наиболее подробно: «Сколько найдем точек, на коих Державин и Пушкин сходятся совершенно! ... Если Державин был полный представитель русского духа своего времени, то Пушкин доныне был полным представителем духа нашего времени. Успеет ли Пушкин явиться в столь же самобытном развитии созданий, как явился Державин? Пойдет ли он дальше того, на чем Державин остановился?».[99] Даже в более поздней статье 1837 г., писанной через две недели после смерти поэта, Н. Полевой восклицал: «Пушкин был поэт — великий лирический поэт и полный представитель своего современного отечества. Только два таких поэта было у нас доныне — Державин и Пушкин».[100]

Для напечатания в «Северных цветах» Дельвига 1830 г. предназначалась, но была запрещена цензурой статья графа Д. Н. Толстого-Знаменского «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина»; очень вероятно, что эту статью в рукописи знал не только Дельвиг, но и Пушкин.[101] Несколько цитат из этой в свое время необнародованной статьи могут объяснить нам задачи, которые ставил перед собой автор, а также и то, почему она подверглась запрещению. «Поэзия служит отпечатком века, знанием народного духа и чувствований, — утверждает Д. Н. Толстой в начале своей статьи. — Это одно значение не похитили у ней ни сила времени, ни перемены обстоятельств и вкуса людей, ибо она заключается в ее сущности. Поэт есть представитель своего народа и своего века: все современные чувства, все страсти народа, скажу более — даже любимые его привычки должны отразиться в его творениях. Но такое значение певца еще славнее и деятельнее там, где народ весь участвует в делах нации; где каждая выгода, каждое обстоятельство, имеющее влияние на государство, не чуждо каждому гражданину, как непосредственному члену общества, как части того целого, к которому он принадлежит. Так некогда в Греции поэзия была достоянием народным и певцы, беседуя с целою нациею, имели влияние на ее образован-

---

[98] Там же, стр. 99.

[99] Там же, стр. 158—159.

[100] Там же., стр. 225.

[101] Граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский (1806—1884) известен выпущенным им в 1836 г. в Петербурге изданием сочинений Кантемира со вступительной статьей о жизни и трудах сатирика (см.: Д. Д. Языков. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей, вып. IV. СПб., 1888, стр. 93—94). Подлинник названной его статьи «О поэзии...», бывшей одним из его ранних литературных опытов, находится в Пушкинском доме (оп. 16, № 55), откуда мы и заимствуем нижеследующие цитаты (ср.: Временник Пушкинского дома на 1914 год. Пгр., 1914, стр. 13, № 38). Возможно, что Д. Н. Толстой встречался с Пушкиным («Русский архив», 1885, кн. II, стр. 29); о смерти Пушкина он оставил интересное письмо, опубликованное Л. Б. Модзалевским в журнале «Огонек» (1929, № 6, 10 февраля).

ность, на направление ее характера».[102] Создав представление о высоком общественном и даже государственном значении поэзии, автор переходит к характеристике особой роли, которую поэзия играла в истории русского просвещения; он дает сначала обобщенную характеристику Ломоносова, затем переходит к Державину: «После Ломоносова является гений высокий, самобытный, влияние коего отразилось на всей последующей словесности и чье имя в лучезарном сиянии славы перейдет в позднейшее потомство: это державный царь поэтов — Державин»[103] и т. д. Наконец, автор переходит к Пушкину, предваряя свою характеристику рассуждением о том, каким должен быть национальный поэт и почему «общественное мнение не есть для него закон; оно только сообразно с его понятиями, с его ощущениями»; выражением общественного мнения «служат Правительство и Литература, т. е. гражданская и интеллектуальная жизнь народа. Поэт, увенчанный общественным мнением, без сомнения велик, ибо это служит доказательством, что он ответствует сему мнению, ответствует направлению народного духа и идет наравне с веком. Вот право его на любовь народа или, говоря сообразно с обстоятельствами нашими, на любовь публики. Таков А. Пушкин из современных поэтов наших. Напрасно старались бы сорвать с него заслуженный венец: за него и миллион людей признал его представителем своих чувств и мнений. Определить характер поэзии Пушкина было бы тем любопытнее, что посредством сего определился бы и самый характер современной публики, и направление общественного духа» и т. д.[104]

Это были весьма ответственные слова, скрывавшие за собой, быть может, и некоторые намеки, впрочем, прозрачные для современников, например на то, что напрасными были бы поползновения «сорвать с него заслуженный венец». В заключительном абзаце статьи высказывалась уверенность, что только у Пушкина с достаточной силой проявилось «свободное развитие мышления, необходимое условие для образования народного характера». Можно представить себе, с каким интересом читал эту статью Дельвиг, тщетно добивавшийся включения ее в свой альманах. Возможно, что и для Пушкина она была лишним поводом задуматься над этим очередным сопоставлением себя с Державиным.

Над поэзией Державина Пушкин размышлял в течение всей своей жизни.[105] Вероятно, одним из последних отзывов его о Дер-

[102] Дм. Толстой. О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина. См.: Рукописное отделение ИРЛИ (Пушкинского дома), оп. 16, № 55, л. 3.

[103] Там же, л. 4 об.

[104] Там же, л. 6 об. — 7 (рукопись подписана и датирована автором: «7 сентября 1830 г. СПб.»).

[105] Н. М. Данилов. Пушкин о Державине. К столетнему юбилею со дня кончины Г. Р. Державина. Казань, 1916. Этот полезный свод «многочисленных замечаний, отзывов и простых упоминаний о Державине, рассыпанных на всем пространстве пушкинских творений», в настоящее время

жавине были слова, сказанные в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности». Напечатанная в III томе «Современника» 1836 г., статья эта была написана до сентября этого года (XII, 446); здесь говорится: «Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного» (XII, 72). Последние слова этой фразы в особенности знаменательны. Очевидно, незадолго до своей смерти, задумываясь о своей житейской судьбе и об итогах своего творческого труда, Пушкин сознательно возвращался к образам своего предшественника, создателя «Памятника».

12

Мы подошли к конечной цели нашего исследования. Небесполезно теперь заново окинуть взором пройденный путь, вспомнить сделанные выше наблюдения и выводы, чтобы привести их к общему итогу.

История дружбы Пушкина и Дельвига в лицейские годы и их обмена посланиями в 1814—1816 гг. свидетельствует, что Дельвиг по крайней мере трижды в течение этих двух лет произносил стихотворные пророчества о высоком поэтическом призвании и будущей бессмертной славе своего «названого брата» и соратника на литературном поприще. Пушкин принимал эти прорицания со смешанным, противоречивым чувством юношеского самоудовлетворения и подавляемых шуткой действительных опасений относительно справедливости дружеских похвал и предсказаний о его будущем признании. В 1816 г. у Пушкина имелись и реальные поводы для огорчений, как например полученный им отказ печатать его стихи в «Вестнике Европы». Преувеличивая свою обиду и якобы возникшие к нему чувства вражды и зависти со стороны литераторов старшего поколения, самолюбивый юноша уже в том же 1816 г. собирался бросить свои занятия поэзией, не думать о славе, готовясь «прожить в безвестной тишине», и даже представлял в своем воображении забытую будущими поколениями свою уединенную могилу:

> Потомство грозное не вспомнит обо мне,
> И памятник певца в пустыне мрачной, дикой
> Забытый — порастет ползущей повиликой.

Это был первый вариант возникшего в воображении юноши Пушкина памятника с заглохшей к нему тропой — реального над-

---

нуждается в существенном пополнении. Автор не учел, в частности, отзывов Пушкина о Державине, приведенных его современниками, например Гоголем (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, М.—Л., 1952, стр. 229—230).

гробия «безвестного певца», вариант, образно связанный с «Сельским кладбищем» Т. Грея в переводе Жуковского.

Сомнения в собственном даровании, внезапно возникшая неуверенность в своих творческих силах были тем более горькими, что Пушкин сначала глубоко и сильно сознавал свое призвание как поэта. «Его восхищала мысль об этом призвании», — свидетельствовал еще Белинский, хотя и не обладавший достаточными сведениями о лицейском периоде жизни Пушкина. «Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтического бессмертия казалась ему лучшею целью бытия».[1] Об этом он прямо говорит в стихотворении к своему однокашнику А. Илличевскому, также считавшему себя поэтом, но в противоположность Пушкину нисколько не сомневавшемуся в своем даровании. Илличевский отнюдь не оправдал надежд, возлагавшихся на него в Лицее, и должен был в конце концов забросить свои вялые, бессодержательные и бесталанные стихотворческие упражнения. Были, однако, годы, когда Илличевский считался одним из первых лицейских поэтов; именно ему в 1817 г., перед выпуском, Пушкин написал в альбом искреннее признание, полное тайной грусти («В альбом Илличевскому»):

Мой друг, не славный я поэт
. . . .
И песни Музы своенравной,
Забавы резвых, юных лет,
Погибнут смертию забавной,
И нас не тронет здешний свет!

И своему приятелю — более счастливому, как ему казалось, и более уверенному в себе — Пушкин доверительно сообщал о своей заветной мечте, как он думал тогда — неосуществимой:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

(I, 258)

Несмотря на изредка посещавшие его сомнения, Пушкин даже в ранних стихах весьма ревниво оберегал свое право идти непроторенным, самостоятельным путем, действуя вопреки увещаниям сверстников или советам более опытных старших друзей-поэтов (см., например, его послание «Батюшкову»). Это было не столько упрямство, сколько ясное сознание своей правоты: представление Пушкина о том, каким должен быть поэт, начало слагаться в его сознании очень рано; поэтому правы были те критики, которые усматривали известные аналогии между его лицейскими стихами

[1] Сочинения Пушкина, изд. имп. Академии наук, под ред. Л. Н. Майкова, т. I, СПб., 1899, стр. 272.

на тему о поэте и поэтическом творчестве и поздней его лирикой, включая «Памятник».[2]

С другой стороны, мы должны признать огромное значение, которое имели для Пушкина стихотворные послания Дельвига. Дельвиг не только первый предсказал Пушкину бессмертную славу, но и постоянно укреплял его в мысли, что ему суждено быть поэтом, заклиная в то же время не избирать никакого другого поприща. Проанализированные выше послания Дельвига показывают, что он неизменно ободрял Пушкина, в особенности тогда, когда юноша-поэт вступал в полосу разочарований и грозил вовсе перестать думать о своей поэтической лире. Дельвиг настойчиво, с не убывавшей силой убеждения доказывал Пушкину, к какой деятельности его призвали музы, и, опираясь на оды Горация (в особенности на 3-ю оду IV книги), разъяснял ему, что хотя существуют разные пути к славе, но они взаимно исключают друг друга. Дельвиг боялся, как бы Пушкин не избрал воинское поприще, к чему действительно имелись вполне реальные основания. Обращенное к Пушкину стихотворение «Кто, как лебедь цветущей Авзонии» построено на противопоставлении судеб, путей жизни «двух Александров» — поэта и царя; это послание нельзя понять иначе, несмотря на густо зашифровывающие эту мысль метафоры и мифологические уподобления, придающие ему горацианский колорит. Написанное в ответственный период жизни лицейских друзей, когда перед ними поставлен был вопрос о выборе поприща, о том, кем станут они по выходе из школы, это стихотворение Дельвига красноречиво убеждало Пушкина — в понятных для него поэтических формулах — в необходимости оставаться только поэтом, не вступать на государственную службу, заботиться о своем редком поэтическом даровании, не увлекаясь ничем другим.

Нет сомнения, что этот круг мыслей почерпнут был Дельвигом не только из 3-й оды IV книги Горация, но что те же аргументы он усматривал и в других одах, в частности в интересующей нас 30-й оде III книги римского поэта. Толкование их Пушкиным совпадало с дельвиговским, вероятно традиционным в школах того времени.

---

[2] Еще В. Стоюнин в своей монографии о Пушкине (Исторические сочинения, т. II. СПб., 1881, стр. 39) по поводу его послания «Батюшкову» заметил: «Интересно видеть, как в фантазии Пушкина еще в первых его опытах складывался образ самого поэта, который впоследствии выразился в таком художественном совершенстве». Л. Поливанов в своем издании Сочинений Пушкина утверждал, что это стихотворение «представляет один из тех первоначальных набросков, в которых Пушкин пытался определить свой поэтический дар и которые связываются с позднейшими стихотворениями того же содержания, каковы „Муза“ (1821) и, наконец, „Памятник“» (Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики, изд. Льва Поливанова, т. I, М., 1887, стр. 27).

Конечно, мысль о важной, даже исключительной роли, какую поэт играет в исторической жизни любого народа, заимствованная Дельвигом из античной литературы, и прежде всего из Горация, не была новой в то время, когда Дельвиг создавал свои стихотворные послания к Пушкину. Рост значения литературы в русской общественной жизни, сопровождавшийся декларациями об этом самих писателей, легко проследить по памятникам литературы, в частности поэзии, всего XVIII в. Ломоносов, первый переводчик на русский язык «Exegi monumentum» Горация, помимо этой оды целым рядом других примеров подтверждал высоту того пьедестала, на который он ставил поэзию в иерархии творческих деяний человека. В «Разговоре с Анакреоном» и во многих других своих произведениях, например в «Предисловии о пользе книг церковных в Российском языке», Ломоносов доказывал, что «без искусных писателей», «затмится слава всего народа», что поэт один удерживает ее в исторической памяти. В данном «Предисловии» Ломоносов, ссылаясь именно на Горация, приводил в подтверждение следующие стихи из его оды (IV, 9) в собственном переводе:

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас,
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас.[3]

Далее Ломоносов писал: «Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев, которых люблением и покровительством одобрены были превозносить их купно с отечеством. Последовавшие поздние потомки, великою древностию и расстоянием мест отдаленные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их современные одноземцы ... Возможно ли внимать Горациевой лире, не склоняясь духом к Меценату, равно как бы он нынешним наукам был покровитель?».[4] В своей «Риторике» (§ 109) Ломоносов приводит также фрагмент из речи Цицерона «За Архия стихотворца» (Pro Archia), в которой снова утверждается великое значение поэта в общественной и государственной жизни: «Стихотворцы от натуры силою ума бодры и аки бы некоторым божественным духом вдохновенны бывают ... И так почитайте вы, су-

---

[3] «Предисловие о пользе книг церковных...» опубликовано было в первой книге «Собрания разных сочинений в стихах и прозе ... Михайла Ломоносова» (М., 1757). Цит. по изданию: Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 591. Ср.: И. М. Нахов. Ломоносов и античность. В кн.: Вопросы классической филологии, I. Изд. Московского университета, М., 1965, стр. 29.

[4] Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова, т. 7, стр. 592.

дии, вы, люди учтивейшие, имя стихотворца свято, которого никогда и варвары не озлобляли. Камни и пустыни гласу их ответствуют, свирепые звери часто пением склоняются и удержаны бывают, то нам ли, наученным добрым нравам, не почувствовать гласа стихотворцев?».[5]

Ближайшие ученики и соратники Ломоносова, ссылаясь на пример Горация или подражая ему в русских стихах, в свою очередь утверждали, что нет ничего выше призвания поэта, в особенности тогда, когда он действует во славу своего народа. Мысли о просветительской миссии поэта, а также сопоставление ее с пагубными путями, ведущими к бессмертию, снова навеянные Горацием, но примененные к обстоятельствам своего времени, мы находим у Н. Поповского в 50-х годах XVIII в. Он много переводил из Горация, и его переводы благодаря переизданию (1801) были еще живыми и читаемыми в начале XIX в. Н. Поповский писал, например:

Различны, Меценат! к бессмертию дороги:
Иной, повергнув тьмы людей себе под ноги,
Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
Развалины градов, сквозь дым сожженных сел,
Отверз себе мечом путь к вечности кровавой
И с пагубой других достиг бессмертной славы.
. . . .
Другой, подняв верхи ужасных пирамид
Превыше туч, где ветр и буря не шумит,
Потомству по себе мнит память тем оставить,
И имя чудными громадами прославить
и т. д.[6]

Привлекательной задачей было бы проследить, как развивалось представление о поэте и его общественной роли в русской литературе XVIII—начала XIX в., в период между классицизмом и романтизмом. Развитие такого представления было параллельным в различных европейских литературах, например в английской и немецкой: противопоставляемый сначала, в соответствии с классическими образцами, триумфаторам на любом другом поле человеческой деятельности, образ поэта постепенно осложнялся сперва библейским представлением о пророке, прорицателе и провидце, а затем и возрожденными кельтскими преданиями о бардах, распространенными оссианизмом.[7] Мы не можем здесь иллюстри-

---

[5] Там же, стр. 178.

[6] Л. Б. Модзалевский. Ломоносов и его ученик Поповский. В кн.: XVIII век, сб. 3. М.—Л., 1958, стр. 164.

[7] K. Frank. Anschauung von Wesen und Beruf des Dichters im Zeitalter der englischen Klassizismus. Erlangen, 1930; P. Meissner. Der Gedanke der dichterischen Sendung in der englischer Literaturkritik. «Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur und Geistesgeschichte», Bd. XIV, 1936, SS. 31—59; K. Bamberger. Die Figur des Propheten in der englischen Literatur (von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang den 18 Jahrhunderts). Eine Typologische Untersuchung. Würzburg, [1934—1935].

ровать этот процесс дальнейшими примерами. Скажем лишь, что представление об исключительном значении поэта в жизни общества и о бессмертии, ожидающем его творения, было чрезвычайно распространенным в эпоху и Карамзина, и И. И. Дмитриева. Выше уже приводились, хотя и в другой связи (см. стр. 99), цитаты, свидетельствующие об этом, из таких произведений Карамзина, как его «Поэзия» (1787); добавим указание на его стихотворение «Дарования» (1796), хорошо известное Пушкину, в котором, в частности, говорится:

А вы, питомцы муз священных,
В своих творениях нетленных,
Вкушайте вечности залог!

Правда, в представлении Карамзина — как видно из того же стихотворения — образ поэта уже несколько изменился, снизился: поэт становится прежде всего утешителем нежных сердец, пробудителем сентиментальных чувств любви и дружбы («Прекрасно жить в веках позднейших и быть любовью душ нежнейших»). По его мнению, вражда к поэту «невежды и глупца» должна быть скорее радостной для него, чем гибельной:

Везде, во всех странах вы чтимы,
Душами добрыми любимы.
Блеск вашей славы умножает.[8]
Вражда невежды и глупца

Близкий к Карамзину И. И. Дмитриев, кстати также оставивший след в истории русской поэзии как переводчик Горация, в своем подражании его 16-й оде II книги признавался, что фортуна и природа, давшие ему «таланта искру к песнопенью», внушили ему также

...равнодушие к сужденью
Толпы зоилов и глупцов.[9]

Уже было отмечено, что указанные строчки из «Подражания Горацию» И. И. Дмитриева находят себе близкую параллель в заключительных стихах пушкинского «Памятника».[10] К Гора-

[8] Карамзин, Сочинения, т. I, Стихотворения, Пгр., 1917, стр. 211.

[9] И. И. Дмитриев, Сочинения, ред. и прим. А. А. Флоридова, т. I, СПб., 1895, стр. 249—250. Под заглавием «Подражание Горацию» стихотворение печаталось в 1806, 1814 и 1821 гг.

[10] W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, S. 148. Напомним, что последний стих «Памятника» («И не оспоривай глупца») обычно сопоставляют со строкой из «Альбома Онегина», которую Пушкин объявляет мыслью «Корана» («Чти правду и не спорь с глупцом»). Ср. стихотворение В. Кюхельбекера «Поэты» (1820):

О Дельвиг, Дельвиг, что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту где и что отрада
Среди злодеев и глупцов?

(В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Л., 1939, стр. 42).

цию же восходит у Дмитриева мысль о превосходстве поэта среди современников и об ожидающем его бессмертии, хотя, как мы видели, на рубеже XVIII—XIX вв. эта мысль становилась уже общим местом. В 1798 г. в «Аонидах» Дмитриев поучал:

> Герой, вельможа, судия!
> Не презирайте днесь певцами,

потому что

> Падут надменны пирамиды
> С размаху Кроновой руки;
> Сотрутся обелисков виды,
> Исчезнут Ксерксовы полки
> И царства, ими покоренны;
> Но дарования нетленны! [11]

Вопрос о традиции в русской поэзии, к которой примыкает пушкинский «Памятник», можно считать достаточно проясненным.

Более отчетливо можно представить себе теперь, особенно после обнародования переписки Карамзиных и некоторых других документов (см. выше, стр. 104), то угнетенное состояние духа, в котором Пушкин находился с конца лета 1836 г., в частности в те дни, когда он набрасывал строфы своего стихотворения. И литературные, и домашние дела поэта находились в полном беспорядке. Отзывы современных ему литераторов о его новейших трудах свидетельствовали, что былая слава поэта находится на ущербе; «колеблемый треножник» готов был и вовсе быть низвергнутым во прах; зоилы и завистники — журналисты не только не понимали его творений, но и распространяли о нем клевету, пуская, например, в оборот литературных салонов и светских гостиных сравнение поэта с «угасшим светилом»; материальные его дела были близки к полному краху; тревоги и подозрения пришли в его собственную семью.

Едва ли мы погрешим против истины, если предположим, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг» мыслилось поэтом как предсмертное, как своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины, потому что и самое слово «памятник» вызывало прежде всего представление о надгробии. «Кладбищенская» тема в лирике Пушкина последнего года его жизни была темой навязчивой, постоянно возвращавшейся в его сознание; подводя итог своей литературной деятельности, он тем охотнее вспоминал и о ее начале, о первых своих поэтических опытах и об оценке их ближайшими друзьями лицейских лет. Как изменилась жизнь за прошедшие четверть века! Сколь многое стало иным и в отношении к нему самому!

На основании представленных выше данных мы предполагаем, что замысел «Памятника» вызван мыслью Пушкина о самом близ-

[11] И. И. Дмитриев, Сочинения. . ., т. I, стр. 200.

ком и бескорыстнейшем из его друзей — А. А. Дельвиге. Именно Дельвиг первым предсказал ему бессмертную славу, именно он был утешителем юного поэта во всех его истинных и воображаемых несчастиях, неустанным и верным защитником от критики, провозвестником его будущей блистательной поэтической судьбы. Больше того: Дельвиг уберег Пушкина от увлечений другими путями жизни, которые открывались перед обоими юношами при выходе из Лицея, заклиная его не пренебрегать своим поэтическим даром, считать себя поэтом по преимуществу.

О Дельвиге Пушкин думал до последних дней своей жизни, он надеялся издать свою переписку с ним, записывал воспоминания о покойном друге, перечитывал его стихи, в том числе и обращенные к нему послания; может быть, его могилу посетил поэт, прежде чем начал набрасывать план автобиографического произведения («Prologue»), в котором немаловажную роль должны были играть воспоминания о лицейских друзьях-поэтах — Дельвиге и Кюхельбекере, об их общих увлечениях поэзией, перемежаемых играми и школьными занятиями. О Дельвиге Пушкин думал даже после создания «Памятника», как о человеке, рожденном с ним «под одной звездой», как о доверенном друге, от которого он никогда ничего не скрывал. В стихотворении 1831 г., вспоминая ушедших друзей, Пушкин писал:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой.

(III, 278)

Теперь, пятилетие спустя, Пушкин мог с еще большим основанием думать то же самое. Кому, как не Дельвигу, раскрывал он свои литературные планы? С кем, как не с Дельвигом, делился он своими удачами? К кому, как не к тени покойного друга, могла быть обращена теперь его исповедь?

Гордое самоутверждение, которое встречаем мы в «Памятнике», настолько не соответствует лирической настроенности всех окружающих его стихотворений Пушкина той же поры, что его трудно было бы объяснить иначе. Только с мыслью о все понимавшем и оправдывавшем друге Пушкин и мог набрасывать строфы о своих заслугах на том поприще, которое они избрали оба. Только ему он осмелился бы сказать, что противопоставляет свою славу славе царя, деяния которого увековечены особой, недавно воздвигнутой колонной. Ведь по существу «Памятник» был ответом на призывы Дельвига, обращенные к Пушкину в его стихотворении «Кто, как лебедь цветущей Авзонии», напечатанном в «Российском музеуме» 1815 г. и также, как мы видели, основанном на противопоставлении судеб «двух Александров» — поэта и царя. Предчувствуя кончину,

прощаясь с жизнью и творческой деятельностью, Пушкин, вспоминая Дельвига и мысленно прощаясь с ним, как бы перед ним, живым, утверждал, что пророчества друга сбудутся непременно, вопреки злонамеренным невеждам и глупцам, которые губят поэта так, как погубили за пять лет перед тем его лучшего друга и брата «по музе и судьбам».

Только настойчивой мыслью о Дельвиге и лицейских годах и можно объяснить, наконец, горацианско-державинские черты «Памятника» Пушкина, вступающие в явное стилистическое противоречие с другими его стихотворениями того же 1836 г. Пушкин возвращается к Горацию и Державину, двум любимым поэтам Дельвига лицейских лет; их имена и строй их поэзии чаще всего ощущаются в лицейских посланиях Дельвига к Пушкину. На тот же лад настроена лира Пушкина и в исследуемом нами его стихотворении.

В «Памятнике» Пушкина не только фразеологические сочетания, но каждое отдельное слово влечет за собой целый круг ассоциаций и образов, теснейшим образом связанных с той стилистической традицией, которая была привычной для поэтов-лицеистов. Даже метрика стихотворения свидетельствует о том же: строфа «Памятника» впервые, но единственный раз была применена Пушкиным в его лицейском стихотворении 1815 г. («Наполеон на Эльбе», последнее четверостишие). Отражения в пушкинском «Памятнике» произведений Горация и Державина в исторически сложившейся и ставшей традиционной форме автопризнаний о собственных поэтических заслугах давно уже объяснены текстологическими параллелями и специальными комментариями сравнительного характера, восходящими к Белинскому. В итоге указанных сопоставлений выяснилось, что Пушкин дал в своем «Памятнике» своеобразную, «глубоко реалистическую трансформацию горацианского стиля»;[12] державинский образец привел Пушкина в данном случае не столько к внешней и поверхностной формальной стилизации, сколько к удивительному по мастерству и глубоко интимному по существу воспроизведению той стилистической сферы, в пределах которой он вращался в своих писаниях юных лет. Хотя в пушкинском «Памятнике» многое ведет прежде всего к Державину, но его поэзия лицейской поры являлась не единственным объектом притяжения поэта. Одним из сознательно избранных прототипов стилистики Пушкина в «Памятнике» являлась также поэзия Карамзина, к которой Пушкин тяготел в равной мере в те же юные годы, а частично и поэзия Жуковского. Стихи 7—8 второй строфы «Памятника» —

> И славен буду я, доколь в подлунном мире
> Жив будет хоть один пиит —

---

[12] В. Виноградов. Язык Пушкина. М., 1941, стр. 512.

представляются карамзинскими по всем своим компонентам, начиная от относительного наречия «доколь», весьма характерного для этого поэта.[13] Карамзин же, по-видимому, является изобретателем выражения «подлунный» (мир). В стихотворном цикле Карамзина, озаглавленном «Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста» (1796), говорится:

Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек;
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек
и т. д.[14]

Еще Н. С. Тихонравов указал, что «Опытная Соломонова мудрость» Карамзина есть просто перевод «Précis de l'Ecclésiaste» (1759) Вольтера, но что Карамзин, переводя Вольтера и даже сохраняя размер подлинника, кое-что переделал в нем на свой лад.[15] То же произведение Вольтера ранее переведено у нас было М. М. Херасковым: «Почерпнутые мысли из Экклезиаста» (1765). Любопытно, что у Хераскова, как и у Вольтера, говорится о «подсолнечном», а не о «подлунном» мире:

В подсолнечной премены нет,
И был и будет тот же свет.[16]

---

[13] См., например, в известном стихотворении Карамзина «Поэзия» (1787):

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейших благом будет;

и далее:

Доколе я дышу, дотоле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться

(Н. М. Карамзин, Сочинения, т. I, Стихотворения, Пгр., 1917, стр. 13).

[14] Н. М. Карамзин, Сочинения, т. I, Стихотворения, стр. 180, 444. Слово «подлунный» встречается у Карамзина и ранее (там же, стр. 25, 103, 105, 201). В стихотворении «Господину Д** на болезнь его» (1789) говорится: «В стране подлунной все томится»; в «Послании к А. А. Плещееву» (1794) читаем:

Престанем льстить себя мечтою,
Искать блаженства под луною!
. . . .
Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет.

В стихотворении «Деревня» (1796) также говорится о «всех подлунных существах». Н. Чечулин в статье «О стихотворениях Карамзина» («Старина и новизна», 1917, кн. 22, Пгр., стр. 94), цитируя строчку из его перевода вольтеровского перевода Экклезиаста «Ничто не ново под луною», замечает, что «хотя, пожалуй, не легко выразить эту мысль другими словами, но все же можно отметить, что авторство тут принадлежит Карамзину».

[15] Н. С. Тихонравов, Сочинения, т. III, ч. 2, М., 1898, стр. 341.

[16] М. Херасков, Творения, вновь исправленные и дополненные, ч. VII. М., 1807, стр. 4. У Вольтера: «Rien de nouveau sous le soleil».

Только о «подсолнечной» земле или вселенной говорили также более ранние русские поэты, например А. П. Сумароков.[17]

Цитируя фразу Карамзина «суета всего подлунного» из его повести «Сьерра-Морена», П. Бранг заметил, что замена Карамзиным словосочетания «подсолнечный свет» или «подсолнечная» (см. его «Илью Муромца») субстантивированным прилагательным «подлунное» (царство), «подлунный» (мир), может служить показателем «растущего интереса к ночным сторонам бытия».[18] Слово «подлунный» благодаря Карамзину становится модным в России в эпоху предромантизма и затем входит в обиходную русскую речь. А. Д. Григорьева, говоря о словах и сочетаниях русского языка, связанных в поэзии конца XVIII—начала XIX в. со словами «солнце» и «луна», в свою очередь отмечает, что слово «подсолнечная» зафиксировано в первом издании «Словаря Академии Российской» (с примером из Ломоносова: «Доколе Россы не престанут греметь в подсолнечной концы»), тогда как поэтическое употребление слов «подлунная» и «подлунный» (мир) «было явлением относительно новым».[19]

Таким образом, прилагательное «подлунный», редкое у Пушкина, в особенности в сочетании с архаическим начертанием слова «поэт» («пиит»), заставляет нас вспомнить характерные образцы русской поэзии конца XVIII—начала XIX в., где оно было привычным и часто встречающимся. По свидетельству «Словаря языка Пушкина», слово «подлунный» поэт употребил дважды в конце своей жизни; [20] правда, к тому же кругу пред-

---

[17] См. у Сумарокова («Прибежище добродетели», ч. II):

> Когда подсолнечна была почти пуста,
> Благословенные природою места,
> Вы были и тогда народом населенны,

или:

> В тебе великая подсолнечна нова

(А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе... собраны и изд. Н. Новиковым, ч. IV, М., 1781). И. И. Дмитриев, у которого мы также встречаем слово «подлунный» («пожелаем ему погостить еще в подлунном мире» — в письме 1832 г.), вспоминает в своих записках об одном из лучших, по его мнению, стихотворений В. Петрова к жене, где есть такие стихи:

> ....ты вечно для меня
> Одна в подсолнечной красавица, Прелеста

(И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1895, стр. 41, 314).

[18] Peter Brang. Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung. 1770—1811. Wiesbaden, 1960, S. 165.

[19] А. Д. Григорьева. Поэтическая фразеология конца XVIII—начала XIX в. В сб.: Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху, М., 1964, стр. 63—64.

[20] Словарь языка Пушкина, т. 3. М., 1959, стр. 432.

ставлений следует отнести стих из его ранней «философской оды» «Усы» (1816):

> Гусар! Все тленно под луною;
> Как волны следом за волною
> Проходят царства и века.
>
> (I, 178) [21]

Затем слово встречается в «Анджело» и в «Памятнике», — оба раза в скептически-пессимистическом значении библейского изречения. В «Анджело» (V, 119—120) «согбенный старостью» монах «доказывал страдальцу молодому» Клавдио,

> Что смерть и бытие равны одно другому,
> Что здесь и там одна бессмертная душа,
> И что подлунный мир не стоит ни гроша.

Это слово, с которым у Пушкина соединялся целый комплекс представлений о тщете и суете, он встречал у Карамзина, Жуковского [22] и многих других поэтов начала века. Отметим еще, что в «Памятнике» сознательно употреблены даже некоторые архаические конструкции (например, в стихе: «душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит»), также восходящие к стилистической практике карамзинистов начала XIX в.[23]

---

[21] Отметим кстати, что М. В. Юзефович, рассказывая о своей встрече с Пушкиным в 1829 г., упоминает о подаренном поэтом беловом автографе «Кавказского пленника», в котором в стихах:

> Свобода! он одной тебя
> Еще искал в пустынном мире, —

вместо «в пустынном» (стих 84) будто бы стояло «в подлунном» («Русский архив», 1880, т. 1, № 3, стр. 440). Однако указанная Юзефовичем рукопись затерялась, а в дошедших до нас автографических текстах поэмы этот вариант отсутствует (IV, 95, 298, 354).

[22] Пушкин хорошо знал стихотворение Жуковского (1822—1824):

> Я музу юную бывало
> Встречал в подлунной стороне

(В. А. Жуковский. Стихотворения. Под ред. Н. В. Измайлова. Л., 1956, стр. 255). Отдельные строчки этого стихотворения Пушкин помнил наизусть и употреблял как устойчивые поэтические формулы, как и всегда в подобных случаях сраставшиеся с представлением об их авторе. Например, заключительную строчку этого стихотворения («Былое сбудется опять») Пушкин процитировал в письме к П. А. Плетневу (от 12—14 апреля 1831 г.), а стих, взятый отсюда же («О, гений чистой красоты»), сознательно или бессознательно вставлен Пушкиным в его стихотворение «К А. П. Керн» (1825). Ср.: В. В. Виноградов. Язык Пушкина, стр. 379.

[23] В. Д. Левин. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в. М., 1964, стр. 206.

Сто лет тому назад хулители и подражатели Пушкина, плохо знавшие его жизнь и мало представлявшие себе обстоятельства, которые вели его к неминуемой гибели, читая «Памятник», обвинили поэта в тщеславии, которому он будто бы «готов был жертвовать всем», в самообольщении и «неосновательных самовосхвалениях». Даже Гоголь, один из первых читателей этого стихотворения, искренне преданный поэту, находил, что Пушкин «был слишком горд и независимостью своих мнений, и своим личным достоинством», потому что «никто не сказал так о себе, как он» в своем «Памятнике», в словах, которые «отозвались бы самохвальством», если бы самая жизнь поэта не была для них подкреплением.[24] Между тем другие его современники, например П. А. Плетнев, не раз подчеркивали, что Пушкин был скуп на самопризнания, молчалив, когда их ждали от него, и даже застенчив; рассказывая о своей встрече с поэтом, А. Н. Муравьев также утверждал, что Пушкин «хотя и чувствовал всю высоту своего гения, но был чрезвычайно скромен в его заявлении».[25] Известно было, что в минуту тягостного разочарования Пушкин провозглашал:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья,
Блажен, кто молча был поэт
и т. д.

И, вероятно, находились люди, воспринимавшие эту декларацию как высокомерное обособление и пренебрежение окружающим. Но Пушкин не был мизантропом. Понадобилось более столетия, чтобы мы могли провести мостик от этих стихов к гордым самоутверждающим строкам его «Памятника», представить себе, почему могло быть создано это стихотворение и как следует его понимать. Теперь нам все это кажется вполне объяснимым, и в строках, которые когда-то для невнимательных и нечутких читателей отзывались самохвальством и непомерной гордостью, мы явственно различаем ныне сквозящую в них предсмертную тоску и безысходную скорбь поэта накануне его гибели. Советский поэт Николай Доризо в своем стихотворении «Пушкин» подвел недавно справедливый итог изучению и переосмыслению «Памятника». Цитируя строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», Н. Доризо спрашивал себя:

Как мог при жизни
Он сказать такое?

---

[24] Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, М.—Л., 1952, стр. 255 и 259.

[25] П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. III, СПб., 1885, стр. 240—243, 741—743; А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, стр. 11.

А он сказал
Такое о себе —
В блаженный час
Счастливого покоя,
А может быть,
в застольной похвальбе?

И не была ли эта уверенность в себе самодовольством от читательских похвал?

Нет!
Эти строки
С дерзостью крамольной,
Как перед казнью узник,
Он писал!
В предчувствии
Кровавой речки Черной,
Печален и тревожно одинок —
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Так мог сказать
И мученик
И бог! [26]

[26] Николай Доризо. Пушкин. «Литературная газета», 1965, № 138, 20 ноября.

Приложение I

Автографы «Памятника»

Ниже мы воспроизводим два известных в настоящее время автографа стихотворения Пушкина: 1) перебеленный текст основной общеизвестной редакции с вариантами; 2) черновой автограф трех последних строф. Оба автографа находятся ныне в Рукописном отделении Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде (шифры: 846 и 239). Ради удобства пользования приводимым описанием их и для сверки с их транскрипцией приложены факсимиле автографов.

Текстологическая история обеих рукописей довольно запутана. Чтение отдельных слов (в особенности зачеркнутых) вызывает споры; неясности остаются и при попытках определить последовательные этапы работы поэта над рукописями; весь процесс их создания воспроизводится лишь приблизительно.

Как указывалось выше, в основном тексте настоящей работы, стихотворение «Я памятник себе воздвиг» впервые опубликовано было в IX томе (1841) первого посмертного издания сочинений Пушкина под заглавием «Памятник» (в рукописи отсутствующим), на стр. 121—122. Из цензурных соображений В. А. Жуковский внес несколько изменений в ясно читавшиеся в подлинной рукописи строки Пушкина. Так, 3-й и 4-й стихи напечатаны в этом издании (курсивом выделены поправки и изменения, внесенные в текст Жуковским) в следующем виде:

‹3› Вознесся выше он главою непокорной
‹4› *Наполеонова* столпа.

Четвертая строфа напечатана так:

‹13› И долго буду тем *народу я любезен,*
‹14› Что чувства добрые я лирой пробуждал,
‹15› *Что прелестью живой стихов я был полезен*
‹16› И милость к падшим призывал.

В редакции Жуковского стихи 13-й и 14-й попали и на постамент памятника Пушкину в Москве, торжественно открытого 6 июня 1880 г., а также распространялись на литографированных портретах Пушкина, изготовленных к пушкинским дням.[1] Решение о замене на постаменте искаженного двустишия подлинным четверостишием Пушкина принято было только

---

[1] См., например, портрет Пушкина (большого формата), литографированный и изданный Пашковым в 1880 г. в Москве: В. И. Межов. Puschkiniana. СПб., 1886, стр. 251, № 3719.

в 1937 г. по случаю 100-летия со дня гибели поэта.[2] Небольшие поправки сделаны были и в последующих стихах. Стих 18-й напечатан был в таком виде:

Обиды не *страшись*, не *требуй и* венца.

Стих 20-й:

И не *оспаривай* глупца.

Во всех комментированных изданиях сочинений Пушкина и во многих других источниках с давних пор обычно указывается, что подлинный рукописный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг» стал известен лишь с 1881 г., когда его напечатал П. И. Бартенев в «Русском архиве» и затем перепечатал в отдельном издании публикаций текстов Пушкина из этого журнала.[3]

Это утверждение неточно. Первое краткое известие о недавно обнаруженной рукописи этого стихотворения сообщено было тем же П. И. Бартеневым годом ранее, в том же «Русском архиве»; при этом Бартенев привел всю четвертую строфу «Памятника» в черновой редакции. Это известие, однако, не обратило на себя внимания. Из комментаторов Пушкина на публикацию Бартенева сослался лишь П. А. Ефремов в 1905 г., но он сделал это в такой неясной форме, которая почти исключала возможность проверки сообщенного им известия. Указывая, что цитата из текста стихотворения с исправлениями В. А. Жуковского была «отлита на памятнике Пушкину в Москве», П. А. Ефремов заметил: «Уже после постановки памятника стихотворение было напечатано в „Русском архиве" (1881, кн. 1), но г. Бартенев без всяких указаний напечатал 4-ю строфу не по исправленному, а по черновому тексту и только впоследствии приложил автографический снимок, по которому и пришлось вновь перепечатать стихотворение в издании 1880 г., откуда оно перешло со всеми поправками в издание 1882 г.».[4] Неясность и стилистическая небрежность этой справки бросается в глаза: как можно было в издании 1880 г. (которое редактировал сам Ефремов) печатать текст стихотворения по «Русскому архиву» следующего 1881 г., сверяя текст с факсимиле автографа, изготовленным еще позже? Примечание, которым П. А. Ефремов снабдил «Памятник» в своем издании 1880 г., несколько проясняет допущенную им неточность, но не вполне; он пишет по поводу стиха, переделанного Жуковским: «Бартенев в своей речи по поводу открытия памятника Пушкину этого стиха не указал, но зато привел по подлинной рукописи 4-ю строфу, которая оказывается несравненно выше переделки, до сих пор печатавшейся».[5] Таким образом, очевидно, что речь шла не о публикациях Бартенева в «Русском архиве» 1881 г., но о его речи, произнесенной в 1880 г. и напечатанной в том же году.

Прежде чем привести относящуюся к «Памятнику» цитату из этой речи П. И. Бартенева, напомним, что в 70-е годы основная масса рукописей Пуш-

---

[2] В хроникальной заметке в газ. «Правда» (М., 1937, № 8, 9 января) «Реставрация исторических памятников» указано, что по решению Всесоюзного Пушкинского (юбилейного) комитета «искаженный текст стихотворения, написанный на пьедестале памятника, заменяется подлинным». Некоторые подробности о технике замены на памятнике двустишия четверостишием сообщены также в заметке «Подлинная надпись на пьедестале» в газ. «Вечерняя Москва» (1937, № 6, 8 января).

[3] К. П. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет. 1837—1937. М., 1937, стр. 26 (№ 99); Е. И. Рыскин. Библиография текстов. М., 1953, стр. 8—10, 12.

[4] А. С. Пушкин, Сочинения, под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, СПб., 1905, стр. 375.

[5] А. С. Пушкин, Сочинения, изд. 3-е, испр. и дополн., под ред. П. А. Ефремова, изд. книгопродавца Я. А. Исакова, т. III, СПб., 1880, стр. 455.

кина, в частности его тетради, находились у старшего сына поэта А. А. Пушкина, который владел ими более двадцати лет (вероятно, со второй половины 50-х годов), «никому из редакторов и биографов их не показывая», как справедливо отметил М. А. Цявловский. «Только в 1880 г. тетради поэта были доставлены А. А. Пушкиным на выставку, устроенную Обществом любителей российской словесности в Румянцевском музее».[6] Близкое участие в устройстве этой выставки приняли Бартенев и тогдашний хранитель отделения рукописей Румянцевского музея А. Е. Викторов. Оба они в конце концов убедили А. А. Пушкина передать драгоценные рукописи его отца в государственное книгохранилище. Бартенев, по его собственному сообщению, ездил за этими рукописями в г. Козлов Тамбовской губернии; тогда же он «приобрел у наследников Пушкина право напечатать то, что найдет в них нового, и по окончании своей работы, вместе с покойным А. Е. Викторовым, ходатайствовал, чтобы эти рукописи сделались для всех доступными».[7] В пушкинские дни 1880 г. Общество любителей российской словесности устроило два публичных заседания по поводу открытия памятника Пушкину в Москве (7 и 8 июня). На втором из них среди других ораторов выступил также с небольшим словом П. И. Бартенев. Это было заседание, на котором, вслед за выступлением Н. А. Чаева, произнес свою знаменитую речь Ф. М. Достоевский, имевший неслыханный успех. Именно это обстоятельство и явилось, вероятно, причиной того, что краткая и носившая официозный характер речь Бартенева не обратила на себя никакого внимания. В издании Ф. Булгакова «Венок на памятник Пушкину» при описании второго торжественного пушкинского заседания Общества любителей российской словесности 8 июня о речи Бартенева сказано только: «П. И. Бартенев говорил об отношении Пушкина к имп. Николаю Павловичу».[8] Вскоре эта речь была напечатана в «Русском архиве» за тот же год.[9]

По-видимому, немногие читатели заметили в этой речи слова, относящиеся к стихотворению «Я памятник себе воздвиг». Между тем они свидетельствуют, что П. И. Бартенев уже в это время знал подлинную рукопись стихотворения, списал из нее разночтения с общеизвестным текстом и отметил также ее авторскую дату. «Вообще, — говорил Бартенев, — главною струною в душе Пушкина всегда и до конца было чувство свободы, живая потребность независимости личной, народной и государственной, и к концу жизни своей (21 августа 1836 года), так сказать обозревая пройденное поприще, он мог сказать про себя в подлинном наброске стихотворения „Памятник“:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милосердие воспел».[10]

---

[6] М. А. Цявловский. Судьба рукописного наследия Пушкина. В кн.: М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 273, 333.

[7] «Русский архив», 1884, кн. 2, стр. 474.

[8] Ф. Б[улгаков]. Венок на памятник Пушкину. Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции. . . СПб., 1880, стр. 63. В разделе той же книги «Речи и чтения», где воспроизведены все речи, читанные на обоих заседаниях Общества любителей российской словесности, речь П. Бартенева также отсутствует. Странно, что она не названа даже в протоколе этого заседания (343-го публичного заседания Общества), опубликованном в «Приложении» к книге «Общество любителей российской словесности при Московском университете. Историческая записка и материалы за сто лет» (М., 1911, стр. 142—143).

[9] «Русский архив», 1880, кн. 2, стр. 485—487. В заглавии этой статьи допущена ошибка в дате: «Речи в заседании Общества любителей российской словесности 7-го (!) июня 1880 г.».

[10] «Русский архив», 1880, кн. 2, стр. 486.

Именно это место в речи Бартенева, как указано выше, П. А. Ефремов и имел в виду.

Пользуясь разрешением на публикацию новых материалов из тетрадей Пушкина, Бартенев начал печатать их в своем журнале (начиная с 3-й книги 1880 г.). Вскоре особая статья была им посвящена рукописи «Памятника»; описание ее сопровождалось «снимком подлинника».[11] В том же 1881 г. ряд опубликованных Бартеневым пушкинских материалов воспроизведен был им в особой книжке; статья о «Памятнике» вошла сюда без перемен и также сопровождалась факсимиле.[12]

Наличие хорошо выполненного литографическим способом воспроизведения автографа стихотворения фактически сделало доступным его изучение; тем не менее публикация и истолкование его вариантов подвигались чрезвычайно медленно. Е. И. Рыскин в своей брошюре «Библиография текстов», перечисляя эти попытки, почему-то выделил «публикацию 1887 г.», о которой писал: «В этом году П. О. Морозов опубликовал в редактировавшемся им издании сочинений Пушкина вариант, исключительно важный для изучения творчества Пушкина. Вместо строки

Что в мой жестокий век восславил я свободу

Пушкин первоначально написал:

Что вслед Радищеву восславил я свободу.

«Этот вариант интересен тем, что показывает, как высоко ценил Пушкин Радищева, ставя себе в заслугу продолжение радищевских традиций в литературе».[13] Это наблюдение, однако, ошибочно, так как указанная строка в составе всей строфы была напечатана уже на пять лет раньше — в 1882 г. — тем же П. А. Ефремовым в его издании сочинений Пушкина этого года.

«Четвертая строфа была написана первоначально так, — писал в этом издании Ефремов:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

«Потом Пушкин поправил последние три стиха таким образом, как напечатано у нас в тексте, но прежде они печатались с поправкой Жуковского».[14] В целях восстановления справедливости стоит к этому добавить, что, в сущности, обо всем этом, хотя и в более туманной форме, сказал П. И. Бартенев еще в 1881 г., писавший в своей упомянутой выше статье: «Читатели обратят внимание на четвертую строфу стихотворения „Памятник". Любопытно, что сначала Пушкину пришел в голову Радищев, которым он перед тем занимался,

---

[11] О стихотворении Пушкина «Памятник». «Русский архив», 1881, кн. 1, стр. 233—237.

[12] Бумаги Пушкина, вып. 1. М., 1881, стр. 200—204 (А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его сочинения). Статья Бартенева (в сокращении) под заглавием «Подлинный текст стихотворения „Памятник"» напечатана также в газ. «Страна» в № 3 за 1881 г.; в следующем номере той же газеты появилось «Письмо в редакцию» П. О. Морозова, обращавшего внимание на разночтения в тексте «Памятника», напечатанном П. А. Ефремовым и П. И. Бартеневым (см. выше, стр. 41—42).

[13] Е. И. Рыскин. Библиография текстов. М., 1953, стр. 9.

[14] Сочинения А. С. Пушкина, изд. осьмое, исправленное и дополненное, под ред. П. А. Ефремова, т. III, М., 1882, стр. 471.

обрабатывая статью о нем для своего „Современника“. Пушкин зачеркнул это имя, но видно, что свое мнение о Радищеве он долго менял и не знал, как отнестись к нему окончательно».[15] В издании же Сочинений Пушкина 1887 г. редактор П. О. Морозов воспроизвел всю опубликованную Ефремовым в 1882 г. строфу, не добавив к ней никаких собственных пояснений.[16]

Благодаря заботам хранителя рукописного отделения Румянцевского музея А. Е. Викторова и с разрешения жертвователя А. А. Пушкина рукописи поэта с осени 1882 г. стали доступны для общего пользования. А. Е. Викторов дал тетрадям Пушкина те инвентарные номера, под которыми они были известны долгое время (до своего поступления в Пушкинский дом), и составил их краткую опись; эта опись уже после смерти Викторова (1883 г.) была вновь просмотрена Д. П. Лебедевым и опубликована в «Отчете Московского публичного Румянцевского музея за 1879—1882 гг.» (М., 1884). Тогда же к более подробному и тщательному описанию этих рукописей приступил В. Е. Якушкин, опубликовавший его в «Русской старине» за 1884 г. В предисловии к этой работе В. Е. Якушкин очень резко отозвался о «монополии» на пушкинские рукописи П. И. Бартенева и о приемах его публикаций пушкинских текстов.[17] Но в своем описании тетради (по инвентарю Румянцевского музея № 2384), в которой на л. 57 об. находится перебеленный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг», В. Е. Якушкин ограничился ссылкой на издание его Бартеневым, допустив при этом ошибку в дате его появления в печати. Указав на то, что половина указанной тетради занята черновиком статьи о Радищеве и что из этой тетради Бартенев привел только «разговор с англичанином», Якушкин от собственного описания автографического текста «Памятника», однако, отказался. Мы находим у него лишь следующую справку: «57_2. Памятник. Факсимиле этой страницы приложено к „Русскому архиву“ 1880 г. (sic! надо: 1881 г., — *М. А.*) и к отдельному изданию г. Бартенева — А. С. Пушкин, 1. 57_1 — ненаписанная страница».[18]

На этом, в сущности, изучение интересующей нас рукописи остановилось надолго. Факсимиле ее, которое неоднократно заменяло исследователям подлинник, воспроизводилось множество раз, в особенности в юбилейные пушкинские годы.[19] Подробное описание этой рукописи опубликовал впоследствии М. Л. Гофман в статье «Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг.»,[20] но некоторые из предложенных им поправок к тексту и чтений

---

[15] Бумаги Пушкина, вып. 1, стр. 202.

[16] Сочинения Пушкина, изд. Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым под ред. П. О. Морозова, т. II, СПб., 1887, стр. 190.

[17] В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. «Русская старина», 1884, № 2, стр. 417—418. Реплику П. И. Бартенева см.: «Русский архив», 1884, кн. 2, стр. 473—474.

[18] В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина... «Русская старина», 1884, № 12, стр. 528.

[19] См., например: Сочинения Пушкина, ред. С. А. Венгерова, т. IV, СПб., 1910, стр. 47; Пушкин, Полное собрание сочинений в 6 томах, т. 2, ГИХЛ, М., 1931, между стр. 208—209; Б. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. М.—Л., 1937, стр. 186—187; Э. Ф. Голлербах. Пушкин в портретах и иллюстрациях. М.—Л., 1937, стр. 94; Даты жизни и творчества А. С. Пушкина. Альбом. М., 1937, стр. 271; А. С. Пушкин. 1837—1937. Сб. статей. Учпедгиз, М., 1937, стр. 189 (в уменьшенном виде); «Вестник Академии наук», 1937, № 2—3, фронтиспис; Пушкин в портретах и иллюстрациях. Л., 1951, стр. 269, и т. д. Так как большинство этих воспроизведений делалось не с подлинника и даже не с фотоснимков оригинала, а с предшествующих иллюстраций, выполненных в типографии, они нередко испорчены ретушью и не могут поэтому быть надежным источником при изучении автографа.

[20] М. Л. Гофман. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг. В сб.: Пушкин и его современники, вып. XXXIII—XXXV, Пб., 1922, стр. 411—414.

Автограф стихотворения «Я памятник себе воздвиг». Пушкинский дом.

первоначальных вариантов не были приняты исследователями. П. Н. Сакулин. также напечатавший «точный текст автографа», который изучался им «и по рукописи, и по факсимиле», заметил, что новейшие издатели сочинений Пушкина «(не исключая С. А. Венгерова и В. Я. Брюсова) допускают кое-какие неточности при воспроизведении текста» и что с чтением М. Л. Гофмана «не во всем можно согласиться».[21] Еще раз по подлиннику стихотворение прочел и напечатал (со сводом вариантов) в своей публикации чернового текста последних трех строф по другой рукописи Д. П. Якубович.[22] Вслед затем оно было опубликовано в академическом Полном собрании сочинений Пушкина.[23] Все прочие многочисленные издания сочинений Пушкина, в которых стихотворение воспроизводилось, самостоятельного текстологического значения не имели.

Ниже воспроизводится полный текст стихотворения по перебеленному списку с поправками (Рукописный отдел ИРЛИ, № 846, л. 57 об., по красночернильной пагинации — л. 59 об.) со сводом вариантов. При составлении их в основу положена транскрипция, данная в академическом издании, но также приняты во внимание и все более ранние публикации, названные выше. Транскрипция дается по новой орфографии и с принятой в настоящее время пунктуацией.

Exegi monumentum

‹1› Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

‹5› Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
‹10› И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук Славян, и Фин, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей Калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
‹15› Что в мой жестокой век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
‹20› И не оспоривай глупца.

1836
авг‹уста› 21
Кам‹енный› остр‹ов›

В тексте латинского эпиграфа (вписанного позднее) допущена ошибка, которую мы в транскрипции не воспроизводим: написано «Exigi» вместо «Exegi».

---

[21] П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. В кн.: Пушкин. Сборник первый. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 49—50.

[22] Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 3, М.—Л., 1937, стр. 4—5.

[23] Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III$_1$, Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 424; т. III$_2$, 1949, стр. 1034—1035.

Черновой автограф трех последних строф стихотворения «Я памятник себе воздвиг». Пушкинский дом.

⟨3⟩ *Начато:* О ⟨?⟩ и ⟨?⟩
⟨5⟩ Нет, весь я не умру — душа в бессмертной лире
⟨6⟩ Меня переживет и тленья убежит —
⟨9⟩ слух пройдет об мне по всей Руси великой
(перестановка обозначена сверху цифрами 2 и 1)
⟨12⟩ Тунгуз и сын степей Калмык.
⟨14—16⟩ Что звуки новые для песен я обрел
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел
⟨14⟩ Что звуки новые для песен [на ⟨?⟩] я обрел
⟨17⟩ Призванью своему, о муза, будь послушна
⟨18⟩ Обиды не страшись, не требуя венца;
⟨19⟩ Хвалы и клевету приемли [приемля — *описка?*] равнодушно.

По поводу двух последних стихов (19 и 20) М. Л. Гофман сделал следующее замечание: «Вся последняя строфа в целом до сих пор печатается неисправно вследствие ошибок в чтении предпоследнего стиха. Достаточно внимательно вглядеться в рукопись Пушкина, чтобы убедиться в том, что в рукописи стоит „приемля“, а не „приемли“. Эта ошибка чтения значительно меняет синтаксическое и художественное строение строфы. Предлагаем сравнить два строя строфы — принятого:

Веленью божию, о Муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца —

и подлинно пушкинскую:

Веленью божию, о Муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемля равнодушно,
И не оспоривай глупца».[24]

«Поправка касается лишь одной буквы (в стихе 19-м: «приемля» вместо «приемли», — *М. А.*), — возразил М. Л. Гофману Е. И. Боричевский, — но совершенно меняет синтаксическое построение и тон строфы. При обычном чтении соотношение частей более гармонично, стих движется плавно и величественно. При поправке Гофмана заключительный стих звучит подчеркнуто резко. Более соответствующим стилю „Памятника“ кажется прежнее чтение».[25] Поправка, предложенная М. Л. Гофманом, в обиход не вошла. В этой же публикации М. Л. Гофман — на этот раз с полным основанием — отметил, что последний стих следует читать: «И не оспоривай глупца» (как его печатал П. О. Морозов), и писал в заключение: «Мы остановились на исправлении текста одной строфы, потому что эта строфа принадлежит к пьесе, в которой существенно важна каждая малейшая деталь: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный“ должен печататься совершенно безукоризненно».[26]

---

[24] М. Л. Гофман. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг., стр. 414.

[25] Е. И. Боричевский. «Памятник» Пушкина. Опыт истолкования. «Труды Белорусского гос. университета», 1925, т. VI—VII, стр. 49.

[26] М. Л. Гофман. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг., стр. 414. Что касается формы «не оспоривай» (вместо более употребительного ныне «оспаривай»), то грамматисты и лексикографы давно уже подчеркнули, что в старом русском языке было немного начальных образований на «-ывать», «-ивать» с корневым гласным «а» вместо «о»; в настоящее время «произошло расширение этой категории за счет глаголов, сохранивших о» (С. П. Обнор-

Среди рукописей Пушкина, хранящихся в Пушкинском доме, находится (№ 239) полулист синеватой бумаги с водяным знаком «[18]34», поступивший сюда из собрания Л. Н. Майкова. На одной стороне его записан черновой текст последних трех строф стихотворения «Я памятник себе воздвиг»; на обороте — черновик начала перевода из X сатиры Ювенала («Пошли мне долгу жизнь и многие года») с жандармской красной цифрой 50 посредине листа.

Несмотря на то что В. И. Срезневский кратко описал этот автограф еще в 1906 г.,[27] он был впервые исследован и опубликован Д. П. Якубовичем лишь в 1937 г. в статье «Черновой автограф последних трех строф „Памятника"»[28] (приложено факсимиле). Интерес представляет сделанная в этой статье попытка вдуматься в творческие изменения, которые претерпели под рукою поэта строфы III и IV (названные Якубовичем «формулой национальной славы» и «формулой заслуг»), хотя последовательность вписания или зачеркивания отдельных слов в процессе создания этих строф определяется только предположительно. Так, Д. П. Якубович отметил по поводу выражения «всяк сущий в ней язык»: «Традиция надписей на памятниках упоминала маленькие народы обыкновенно лишь для вящего прославления их покорителей. У Пушкина впервые в высоком жанре оды названы по именам, отнюдь не как „местные краски", а как народы равные, рядом с „гордым внуком славян" и „фин, и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык" ... Вместо „Руси великой" он думал сказать проще:

> Слух обо мне дойдет во все концы России,
> Узнает всяк живущий в ней язык...

«И конкретизируя эту мысль, рядом с „фином" и „могущим" внуком славян, Пушкин в черновике написал:

> И фин, и внук славян, грузинец ныне дикой
> Тунгуз жестокий и калмык —

и позже видоизменил:

> Могущий внук славян и фин, грузинец ныне дикой,
> Черкес, киргизец и калмык».

ский. Культура русского языка. М., 1948, стр. 28—29; П. Я. Черных. Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник». «Русский язык в школе», 1949, кн. 3, стр. 34). В большом обобщающем академическом труде «Грамматика русского языка» (т. I, М., 1960, стр. 438) также констатируется: «Образование несовершенного вида с *а* от исходных глаголов с корневым ударяемым *о* в течение XIX и XX вв. все более укрепляется, что создает варианты форм с корневыми *о* и *а*». Первым примером, подкрепляющим это наблюдение, служит здесь (стр. 439) указанный стих из пушкинского «Памятника». Характерно также, что в «Словаре языка Пушкина» (т. III, М., 1959, стр. 161) на десять примеров употребления глагола «оспоривать» приходится лишь один случай употребления его с ударяемым «а» (в прозаической полемической заметке 1835 г.).

[27] В. И. Срезневский. Пушкинская коллекция, принесенная в дар Библиотеке Академии наук А. А. Майковой. В сб.: Пушкин и его современники, вып. IV, СПб., 1906, стр. 19 (№ 79). Ср.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.—Л., 1937, стр. 93, № 239.

[28] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника». В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 3—8. Предварительную, частичную публикацию см.: «Литературный Ленинград», 1936, № 52 (197); первоначально, неполностью, опубликовано: «Известия ЦИК», 1937, № 3, 4 января.

«Четвертая строфа (формула заслуг), — отмечает Д. П. Якубович далее, — обрабатывалась, как обнаруживает черновик, также с особой тщательностью, так как в ней отчеканивалось самое важное — то, за что поэт будет „любезен народу“». Последовательность возникновения в творческом сознании поэта различных вариантов стихов 13—15 пытался восстановить еще С. А. Венгеров. Д. П. Якубович приводит их в таком порядке:

Что в русском языке музыку я обрел
Что звуки новые обрел я в языке
Что звуки новые для песен я обрел.

Как и Венгеров, он отмечает, что Пушкин «в первом же черновике» «взамен эстетической формулы дал формулу гражданскую, насыщенную конкретным содержанием:

Вослед Радищеву восславил я свободу».

«Кажется, — пишет здесь же Якубович, — первоначально Пушкин думал сказать: „Во след Радищеву воспел и я свободу“». Как показывает сверка с подлинником, эта догадка возможна, но недоказуема; следующее же предположение того же исследователя кажется нам еще менее удачным и, естественно, столь же недоказуемым. «Следующий четырехстопный стих Пушкин начал было так:

И про

Едва ли здесь не имелось в виду продолжение:

И просвещение воспел», —

догадывается Д. П. Якубович, считая в то же время «замечательным» даже то, что «Пушкин остановился на полуслове». Прежде чем принимать на веру эту напрасную догадку, следовало бы, конечно, определить, как Пушкин понимал это слово в 1836 г., поскольку объем и значение понятия «просвещение» претерпели в его употреблении весьма значительную эволюцию; кроме того, едва ли бы оно могло стоять в указанном стихе — как недостаточно конкретное и расплывчатое — без дополнительных определений.[29]

Между тем В. Б. Шкловский принял эту догадку без оговорок и опубликовал данный искусственно восполненный стих в качестве одного из якобы существующих вариантов чернового автографа стихотворения.[30] Более важным для понимания всей строфы было стоявшее в стихе 18-м и написанное без сокращения многозначительное слово «изгнание», скрывавшее сложный ас-

---

[29] На многозначность слова «просвещение» в эпоху Пушкина давно обратили внимание его биографы. Так, еще В. Стоюнин (Исторические сочинения, ч. II. Пушкин. СПб., 1881, стр. 298—299) отметил — правда, по другому поводу: «Употребляя слово „просвещение“, Пушкин, конечно, не предполагал, что у царедворцев с ним соединяется совсем другое понятие: не просвещение ума и сердца, не нравственный подъем человека, а что-то другое, с чем можно соединять эпитеты: неопытный, безнравственный, бесполезный».

[30] Анализируя последовательные этапы создания «Памятника» и в соответствии с ними «изменение и обострение» того «спора», который поэт вел с современниками, Виктор Шкловский в книге «Заметки о прозе русских классиков» (изд. 2-е, М., 1955, стр. 23) в качестве «двух вариантов» строфы, в которой Пушкин обосновывал свое право на славу, между прочим приводит параллельно следующие строки:

И милость к падшим призывал (И милосердие воспел)	Вослед Радищеву восславил я свободу И просвещение воспел.

социативный ход мысли поэта. На это уже обратил внимание И. Л. Фейнберг, писавший: «В черновике „Памятника“, в том месте, где поэт потом, обращаясь к музе, сказал:

Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно...,

сначала было: „Изгнания не страшись“ ... Дело шло уже к роковой дуэли, Пушкину снова грозило изгнание, и поэт не страшился его. Этот вариант „Памятника“, обнародованный лишь в наше время, заслуживает глубокого внимания, так же как прославленный стих, в котором великий поэт сказал, что он восславил свободу „вослед Радищеву“. Ведь и этот стих тоже является вариантом, оставшимся в рукописи поэта».[31]

Приводим возможное чтение этого черновика (стихи 9—20) в соответствии с транскрипцией, данной в академическом издании (III2, стр. 1034):

⟨9⟩ Слух обо мне [пройдет] по всей Руси великой
⟨10⟩ И назовет меня всяк сущий в ней язык —
⟨11⟩ И [внук Славян], и Фин и ныне полу⟨?⟩дикой
[Тунгуз] [Киргизец] и Калмык —
⟨13⟩ И долго буду тем любезен я народу
⟨14⟩ Что звуки новые для песен я обрел
⟨15⟩ Что в след Радищеву восславил я свободу
⟨16⟩ [И про ⟨?⟩]
⟨17⟩ Призванью своему о Муза, — будь послушна
⟨18⟩ Обиды не страшась, не требуя венца
⟨19⟩ Толпы хвалы [и брань] приемли равнодушно
⟨20⟩ И не оспоривай глупца

Приводим варианты:

⟨9⟩ Слух обо мне [пройдет] дойдет во всей концы России
⟨10⟩ *а.* Узнает живущий в ней язык
б. Узнает всяк живущий в ней язык —
⟨11⟩ *Начато*: *а.* И [гор⟨?⟩⟨дый⟩] зор⟨?⟩⟨кой⟩⟨?⟩
б. И Фин, и внук Славян,
в. И гордый внук Славян, и Фин,
г. Могущий внук Славян, и Фин и
д. И и Фин, [Грузинец], Кир[гизец]
е. И и Фин, Грузинец, ныне дикой
Черкес и
⟨12⟩ Тунгуз жестокой и Калмык —
⟨13⟩ *Начато: а.* И тем *б.* И буду тем
⟨14⟩ *Начато*: *а.* Что по ⟨?⟩ ⟨...⟩
б. Что в русском языке музыку я обрел
в. Что звуки новые обрел я в языке
(*При окончательном исправлении форма* обрел я *осталась без изменения*)

---

[31] И. Л. Фейнберг. О новых страницах Пушкина. (К выходу академического издания сочинений поэта). «Вестник Академии наук СССР», 1950, кн. 4, стр. 65. Ряд тонких наблюдений над языковыми особенностями пушкинского «Памятника» представил Богдан Терзич в статье «Језик и стил Пушкиновог „Споменика“» (журн. «Живи језици. Часопис за стране езике и književnosti», 1964, кн. VI, бр. 1—4, стр. 5—15), кстати напомнивший также интересные пояснения к стихотворению, сделанные Рад. Кошутичем (Руски примери, I, Текстови, изд 3-е, Београд, 1926).

<15> *Начато: а.* Вослед *б.* Что в след Радищеву восп<ел> <?>
<16> *а.* О Муза, — приемля равнодушно
Хвалу и
<17> *б. Начато*: О Муза, — приим<и> <?> [32]
в. Святому жребию о Муза будь послушна
<18> Изгнанья не страшась, не требуя венца
<19> *а.* Хвалу и брань [глупца] толпы приемли равнодушно
б. Хвалу то<лпы> приемли равнодушно
в. Хвалы и брань толпы приемли равнодушно
Начато: Не внемля.

Приложение II

Русские переводы оды Горация «Exegi monumentum»

На нижеследующих страницах воспроизведены все известные нам русские стихотворные переводы оды Горация (III, 30), а также некоторые подражания ей, возникшие как до, так и после пушкинского «Памятника». Все эти произведения, как это уже несколько раз отмечалось выше (в основном тексте настоящей книги), могут представить интересные данные для различных сопоставлений, в том числе стилистического характера, а также для истории создания текста стихотворения Пушкина, для истолкования его или изучения того воздействия, которое оказало оно на русскую поэзию. О желательности сравнительного изучения всех русских переводов указанной оды Горация исследователи Пушкина писали не один раз. Так, Д. П. Якубович полагал, что «смысл „Памятника“ Пушкина в целом может быть уяснен до конца только раскрытием пушкинского отношения к сюжету, лучшие осуществления которого великими мастерами-предшественниками на разных исторических этапах Пушкин прекрасно знал. Только на этом фоне может быть понято великое своеобразие, приданное Пушкиным древней теме, новая ступень, на которую он тему поднял, сделав ее близкой к нашей эпохе».[1] В. В. Виноградов, говоря о «трансформации горацианского стиля» в пушкинском «Памятнике», справедливо заметил: «Острота пушкинского стихотворения, представляющего одновременно исповедь, самооценку, манифест и завещание великого поэта, углубляется тем, что Горациева ода, за которой следовал Пушкин, имела длинную вековую традицию подражаний. Смысл пушкинского „Памятника“ может быть уяснен до конца лишь на фоне всей этой отвергаемой и преобразуемой русским гением традиции».[2]

Со времени В. Г. Белинского, еще в 1841 г. заметившего, что, «подобно Державину, Пушкин переделал „Памятник“ Горация в применении к себе»,[3] стихотворение «Я памятник себе воздвиг» чаще всего сравнивалось с одой Горация и подражанием ей Державина. Но Пушкину несомненно были известны и многие другие ее переводы: Ломоносова, В. В. Капниста,

---

[32] Первоначально Д. П. Якубович читал: [прими] <мой>.

[1] Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина. В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., 1941, стр. 159.

[2] В. Виноградов. Язык Пушкина. М., 1941, стр. 512.

[3] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 268.

А. Х. Востокова, С. А. Тучкова. Все эти переводы то вспоминались в критической литературе, посвященной Горацию или Пушкину, то забывались вновь; в хронологии их возникновения или появления в печати существуют некоторые неясности; послепушкинские русские переводы указанной оды Горация известны еще менее и характеризованы неполно, вне связи с установившейся русской традицией в ее истолковании. Добавим, что разыскание всех этих переводов и перепевов из Горация представляет известные трудности, так как они рассеяны по многим, нередко малодоступным изданиям и еще не были собраны или перечислены полностью.[4]

В 1830 г. В. И. Орлов (1792—1860), по профессии военный врач, издал отдельной книгой свой «Опыт перевода Горациевых од». В предисловии к этой книге В. Орлов писал: «Все просвещенные государства имеют по нескольку переводов Горация, из которых первоначальные, естественно, слабее последующих. И так моему опыту, как почти первоначальному, читатели, конечно, простят некоторые отступления, неточности и другие недостатки».[5] Это издание, где опубликовано 38 од (среди них, однако, перевод «Exegi monumentum» отсутствует), вызвало рецензию А. А. Дельвига, в которой дается ретроспективный обзор русских переводов с конца XVIII в. Рецензия Дельвига напечатана им без подписи в «Литературной газете» и представляет

[4] Наиболее полный, но все же не исчерпывающий список их дает книга: Wolfgang Busch. Horaz in Russland. Studien und Materialien. München, 1964, S. 271 (Forum Slavicum, hrsg. von D. Tschižewskij, Bd. 2). Тот же автор издал небольшую хрестоматию текстов Горация в русских переводах с краткими пояснениями на немецком языке: Russische Horaz-Übersetzungen, hrsg. von W. Busch. Wiesbaden, 1964 (Heidelberger Slavische Texte, H. 9, 51 S.). Оде «Exegi monumentum» отведены здесь стр. 42—44 (воспроизведены лишь стихотворения А. Х. Востокова, А. С. Пушкина, Н. Ф. Фоккова и В. Я. Брюсова; из них пушкинский «Памятник», разумеется, не может быть отнесен к переводам). О том, как недостаточно были известны у нас все существующие русские переводы указанной оды, могут дать представление несколько наудачу выбранных примеров. П. Ф. Порфиров в своем издании «Од» Горация, говоря о своих предшественниках, привел полностью перевод Ломоносова, напомнил о подражаниях Державина и Пушкина и прибавил: «В русской литературе существуют, кроме того, два прекрасных перевода, а именно Капниста и, в позднейшее время, Фета» (Лирические стихотворения Горация. Изд. 2-е. СПб., 1902, стр. 11—13, 90). «Перевод знаменитого „Памятника“ на русский язык сделан, как известно, пятью крупнейшими русскими поэтами (переводы Ломоносова, Фета и Брюсова, подражания Державина и Пушкина)», — замечает Б. Горнунг (Юбилейное издание Горация. «Книга и пролетарская революция», 1936, кн. 5, стр. 113—116). В книге «Избранная лирика» Горация (1936) А. П. Семенов-Тян-Шанский (см. о нем ниже) сообщил наиболее подробный перечень русских переводов «Памятника» Горация и стихотворений, им навеянных; здесь же он воспроизвел переводы Ломоносова, Фета, Никольского и Брюсова, а также «подражания» Державина и Пушкина (стр. 174—177); перечень этот, однако, неполон, а дата перевода Брюсова ошибочна. «„Памятник“ Горация был переведен на русский язык многими поэтами, из которых Пушкину могли быть известны только произведения Ломоносова и Державина, так как остальные многочисленные переводы и вариации горацианской темы появились уже после смерти Пушкина», — ошибочно утверждает в свою очередь В. Ванслов (В. Ванслов. А. С. Пушкин о «золотом веке» римской литературы. «Ученые записки Калининского гос. педагогического института», 1963, т. 36, стр. 22—23); приводимый им ниже перечень также неполон и несвободен от неточностей: перевод В. Брюсова опубликован в 1913 г., а не в 1918 г., перевод П. Семенова-Тян-Шанского — в 1916 г., а не в 1936 г. Все эти примеры лишний раз оправдывают нижеследующую новую подборку стихотворных переводов указанной оды Горация.

[5] В. И. Орлов. Опыт перевода Горациевых од. СПб., 1830, стр. 1.

для нас тем больший интерес, что по ней можно судить также о знакомстве Пушкина с русскими переводами од Горация; вероятно, Пушкин знал все те переводы, лаконическую характеристику которых дал в своей статье Дельвиг. «Многие лирические поэты наши подражали Горацию, некоторые переводили его, — писал Дельвиг. — Державин и Капнист лучше всех постигли философическую поэзию певца Августа и Мецената. Они заставили его русским преподавать свои легкие правила жить и наслаждаться жизнью так же хорошо, как прежде преподавал их римлянам. Словом, они брали только основу од его и писали прекрасные, оригинальные стихотворения. И. И. Дмитриев и В. А. Жуковский более их держались подлинника и подарили нас двумя-тремя его одами, ознаменованными преимущественно печатью их гения. Поповский и Тучков издали по переводу почти все лирические стихотворения Горация. Волков, Востоков, Мерзляков, Милонов, Филимонов, Вердеревской и другие в разные времена и с разными успехами печатали свои переводы из Горация в повременных русских изданиях. Три первые ближе держались к оригиналу: несколько од их еще долго останутся у нас образчиками верных и хороших переводов; прочие, выдавая мысли своего поэта, не заботились об удержании образа, в котором они у него одушевлялись. Таков и объявляемый нами перевод. Мы видим талант поэтический в опытах г-на Орлова, но, читая его хорошие, гладкие стихи, не получаем ясного понятия о Горации. Желательно было бы иметь или подобный том собственных произведений г-на Орлова, или перевод Горация, столь возможно близкий, при чтении которого забывали бы о переводчике».[6]

Как видно из цитированной рецензии А. А. Дельвига, в конце XVIII и первой четверти XIX в. Горация переводили у нас много и охотно;[7] не уменьшилось количество переводов из Горация, а также книг и статей о нем и в более позднее время. На пороге следующего века И. Ф. Анненский, выдающийся поэт и тонкий знаток классических языков и литератур, заметил об этих многочисленных переводах: «Древний лирик вообще мало поддается переводам; от добросовестного перевода чаще всего пахнет пылью ... Но при этом эллины нам все же ближе римлян ... Но из римских лириков менее всего поддается переводу на русский язык, несомненно, Гораций, и особенно его оды».[8] Несмотря на такое пессимистическое заключение, которое

---

[6] «Литературная газета», 1830, т. I, № 26, стр. 210. С этой статьей интересно сравнить справку о русских переводчиках Горация, приведенную в книге: Ручная книга древней словесности... собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским, т. I. СПб., 1816, стр. 419—421 (о Горации), стр. 421—422 (о его русских переводчиках).

[7] Множество переводов из Горация находится в русских журналах этого времени, хрестоматиях, например в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов» (СПб., 1815—1817), «Новом собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (СПб., 1824) и др. Новые переводы из Горация читали чуть ли не в каждом заседании Общества любителей российской словесности с самого его основания до 30-х годов. См.: Общество любителей российской словесности при Московском университете. Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911, приложение, стр. 62, 64, 66, 72, 73, 78—82, 87, 88 и др. Путеводителями по этой литературе, кроме изданий, названных выше, могут служить следующие справочники: Д. И. Нагуевский. Библиография по истории римской литературы в России с 1709 по 1889 г. Казань, 1889, стр. 22—24; А. Н. Неустроев. Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому разысканию о них. СПб., 1898, стр. 151; А. И. Воронков. Древняя Греция и древний Рим. Библиографический указатель изданий, вышедших в СССР (1895—1955). М., 1961, стр. 180—184.

[8] И. Ф. Анненский. Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфирова (отд. оттиск из Отчета о XV присуждении пушкинских премий, СПб., 1904, стр. 3).

Анненский пытался обосновать, оды Горация продолжали у нас появляться в новых переводах, авторы которых добивались все более полного и близкого воспроизведения оригинала. В общей сложности мы насчитали и воспроизводим 14 переводов оды «Exegi monŭmentum» (не считая повторных опытов и вариантов, принадлежащих тем же переводчикам).

Мы сознательно не ввели в нижеследующую маленькую антологию лишь несколько текстов, имеющих прямую связь с интересующей нас одой Горация. Таково, например, стихотворение К. Н. Батюшкова (условно называемое «Подражанием Горацию»), поскольку оно в большей степени может служить материалом для медико-психологических экспериментов, чем для истории русской поэзии. Это стихотворение было написано Батюшковым уже во время его душевной болезни. Первую его запись мы находим в письме поэта к А. Г. Гревенс от 8 июня 1826 г.; здесь же Батюшков сделал и прозаический перевод этого стихотворения на французский язык.[9] Впервые оно опубликовано в статье «Стихи, заметки и письма К. Н. Батюшкова в сумасшествии», сопровождаемой следующим замечанием издателя: «Приведенных образчиков вполне достаточно, чтобы судить о том беспросветном сумраке, в котором находился мозг некогда столь талантливого и просвещенного русского поэта. Мгла эта заволакивала его душевные силы тридцать три года, вплоть до самой кончины».[10] Остается непонятным, почему исследователь русских переводов из Горация В. Буш усмотрел в этом бессвязном наборе слов «пародический характер» и решил, что стихотворение создано безумным поэтом в минуту просветления.[11] Не зная о времени его написания (1826 г.), В. Буш высказал также совершенно напрасное предположение, что стихотворение Батюшкова «возникло, вероятно, помимо знакомства автора с пушкинским „Памятником“».[12] На самом деле более половины составляющих его строк представляют собой воспроизведение или, лучше сказать, искажение не «Exegi monumentum» Горация, но державинского «Памятника». Эту оду Батюшков хорошо знал и еще 25 сентября 1816 г. в одном из писем к Н. И. Гнедичу пародировал оттуда один стих («Я истину ослам с улыбкой говорил»).[13] Тем не менее представляется поразительным, что, впервые записав свою переделку державинской оды в 1826 г., Батюшков буквально повторил ее четверть века спустя — в 1852 г., «по просьбе своей племянницы на голубом золотообрезном листочке».[14]

Ранее В. Буша батюшковскому тексту целую страницу своего исследования о пушкинском «Памятнике» посвятил В. Ледницкий. По его мнению, текст Батюшкова представляет любопытное сочетание мотивов, заимствованных из Горация и Державина, с собственными оппозиционными (!) настроениями поэта; в этом типическом образчике творчества психически ненормального человека В. Ледницкий ошибочно усмотрел даже «близкое к пушкинскому противопоставление поэта и царя».[15] В совершенной бесполезности допущений такого рода легко убедиться, ознакомившись с текстом этого «Подражания Горацию», как оно именуется во всех публикациях:

---

[9] К. Н. Батюшков. Полное собрание стихотворений, ред. Н. В. Фридмана, М.—Л., 1964, стр. 323. Автограф этого письма находится в ИРЛИ (Пушкинский дом) в Ленинграде.

[10] «Русская старина», 1883, № 9, стр. 551.

[11] W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, S. 35.

[12] Там же, стр. 165—166.

[13] К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 401.

[14] К. Н. Батюшков, Полное собрание стихотворений, ред. Н. В. Фридмана, стр. 323.

[15] W. Lednicki. Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkewicz. The Hague, 1956, pp. 109—110 (ранее: «Harvard Slavic Studies», vol. II. Cambridge, Mace, 1954, p. 263).

Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш, и добрый, и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон),
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить;
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить;
Царицы царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты, моя сестрица,
А Кесарь мой — святой косарь.

Не включено в нижеследующую подборку также небольшое стихотворение А. Мицкевича «Exegi munimentum (sic!) aere perennius... Z Horacijusza», имеющееся в нескольких русских переводах, хотя это произведение действительно травестирует интересующую нас горациевскую оду. Однако эта своеобразная самооценка Мицкевича написана им в Париже 12 марта 1833 г., т. е. уже после его отъезда из России, и до Пушкина, вероятно, не дошла: последнее собрание сочинений Мицкевича, в четырех томах, присланное Пушкину С. Соболевским (Paryż—Genewa, 1828—1832),[16] вышло в свет ранее, чем было написано это подражание «Z Horacijusza».[17] Мицкевич в свою очередь едва ли знал пушкинский «Памятник». Никаких данных об этом мы не имеем.

---

[16] Пушкин и его современники, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 288—289 (№ 1167).

[17] Adam Mickiewicz. Dzieła, t. I. Warszawa, 1955, str. 379. Это пародическое стихотворение названо автором в рукописи «Exegi munimentum» (вместо monumentum, от munire — «укрепление», «защита», «прикрытие»); печаталось оно под заглавием «Wiersze natchnione wizyta Fran. Grzymały» («Стихи по поводу посещения Францишка Гжималы»). Начинается оно следующими стихами:

Swieci się pomnik moj, nad szklany Pulaw dach
Przetrwa Kósciuszki grób i Paców w Wilnie gmach,
Ni go łotr Würtemberg bombami mocen zbić
Ani zwinia Austryjak niemecką sztuką zryć
и т. д.

В переводе В. Цвилева:

Блестит мой памятник над замками господ
И прах Костюшки он в веках переживет;
Его ни Вюртемберг не поразит ядром,
Ни подлый австриак не обречет на слом
и т. д.

(Адам Мицкевич, Собрание сочинений под ред. М. Ф. Рыльского, М. Живова, Б. А. Турганова, т. I, М., 1948, стр. 197). Первым русским переводчиком этого стихотворения был Д. Минаев («Ни с чем мой памятник по блеску не сравнится», 1881), последним — С. Кирсанов («Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом», 1955). См.: Адам Мицкевич в русской печати 1825—1955. Библиографические материалы. М.—Л., 1957, стр. 78, 91, 515.

Следует упомянуть, кстати, еще о нескольких «Памятниках», возникших в славянских литературах во второй половине XIX в. и находящихся в той или иной связи с пушкинским. Одно из таких стихотворений — исповедей и самопризнаний в конце 90-х годов написал выдающийся словацкий поэт П. Гвездослав-Орсаг (1849—1921). Оно обратило на себя внимание словацкого ученого и критика Иозефа Шкультеты, напечатавшего статью «Ода Горация Exegi monumentum у Державина, Пушкина и Гвездослава», в которой полностью приведены тексты латинского, трех русских и двух словацких «Памятников».[18] Подобно своим русским и словацким предшественникам, Гвездослав на основе оды Горация создал стихотворение на ту же тему о будущей судьбе своего поэтического наследия; однако стихотворение полно горьких мыслей и мрачных зловещих предсказаний, поскольку ко времени его создания грядущая доля словацкого народа представлялась поэту тяжелой, безрадостной. Он считал, что и его надгробный памятник заглохнет так же, как завяли нерасцветшие надежды:

Moj pomnik hrobovy iste nepotrva
Nad kov: nie, ani len tej hlini pevnotou
. . . .
Nemoz aj byt ináč. Ved' moje nadeje
Ač bujne, nedošly k rozkvetu, zaškrely;
Klesnul vystreleny šip d'aleko ciela;
. . . .
Nuz somrem cele, ach!

Правда, предчувствия поэта не оправдались, а его просьба к Мельпомене о сожалении — в заключительном стихе — приобрела в конце концов обратный смысл, т. е. такой же, как и у Горация: Гвездославу удалось дожить до народного величания его национальным поэтом словаков.[19] Очень вероятно, что обращение Гвездослава к оде Горация как к теме для самостоятельной разработки было подсказано ему русской литературой, и в частности Пушкиным, переводами которого он был занят в это же время.[20] Пушкинское

[18] J‹ozef› Š‹kultety›. Horacová oda «Exegi monumentum» u Derzavina, Puškina a Hviezdoslava. «Slovensky Pohl'ady. Časopis zabavno-poučny», Ročn. XVII, 1897, str. 706—709. Мы находим здесь латинский текст оды Горация, ее первый перевод на словацкий язык, выполненный современником Пушкина Яном Голлым (Holly, ум. в 1849 г.), затем «подражания» Державина, Пушкина и Гвездослава; при этом И. Шкультеты допустил досадную оплошность, опубликовав рядом с «подражанием» Державина также якобы им же сделанный перевод «Exegi monumentum» — «Воздвиг я памятник вечнее меди прочной» (стр. 706). На самом деле это перевод А. А. Фета, в первой редакции 1856 г. Ошибку Шкультеты повторил и В. А. Францев в 1856 г. в книге «Державин у славян. Из истории русско-славянских взаимоотношений в XIX ст.» (Прага, 1924, стр. 46—47).

[19] Л. С. Кишкин. Патриотическая лирика Гвездослава. В кн.: Литература славянских народов, вып. 5. М., 1960, стр. 124—153.

[20] Rudo Brtáň. Puškin v slovenskej literatúre. Turc. sv. Martin, 1947 (Studie Matice Slovenskej, svazok 2). Автор указывает на ряд стихотворений Гурбана Ваянского, например «Exegi», «Otcovi», «Ruskym spevcom», которые навеяны пушкинским «Памятником» или заимствуют из него стихи для эпиграфов (стр. 56—57); особая глава этого исследования посвящена «Гвездославу и Пушкину» (стр. 77—81). См. также в русском, очень кратком варианте этой работы: Р. Бртань. Пушкин в Словакии. «Славяне», 1949, № 3, стр. 48. См. еще антологию, составленную Пл. Кулаковским: Стихотворения Пушкина в славянских переводах. Юбилейный сборник. Варшава, 1899; здесь (на стр. 18—19) воспроизведены переводы пушкинского «Памятника» на словацкий (Л. Подъяворинская) и польский язык (Ю. Солтык-Романьский, 1888).

стихотворение «Я памятник себе воздвиг» вызвало подражания и отзвуки у других словацких поэтов, как например Гурбана Ваянского, и к концу XIX в. пользовалось известностью во всем славянском мире.

1. Квинт Гораций Флакк

Ниже приводится для удобства сравнения с русскими переводами латинский оригинал 30-й оды III книги Горация, в том тексте, в каком эта ода была известна и Пушкину, и его предшественникам по различным учебным изданиям конца XVIII и начала XIX в. Полностью латинский оригинал этой оды напечатан, например, в книге Николая Остолопова «Словарь древней и новой поэзии» (ч. 2, СПб., 1821, стр. 390—391). Лицейский однокашник Пушкина М. А. Корф утверждал, что «Пушкин впоследствии читал по крайней мере Овидия и Горация в подлиннике» (Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899, стр. 248). Какая-то книга «Квинта Горация Флакка», может быть даже рукописная, находилась среди книг, которыми пользовался Пушкин из библиотеки Полотняного завода в 1830 или в 1834 г. (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. III, Л., 1937, стр. 359, 369). Знал Пушкин также оды Горация в латинском подлиннике, изданные Ф. Булгариным, но в этом издании интересующая нас ода III, 30 отсутствовала, как и третья и четвертая книги в целом (см.: Избранные оды Горация, с комментариями, изданные Ф. Булгариным. СПб., 1821, 240 стр.; всего 20 од из I книги и 12 из II книги). Расчет Булгарина заключался в том, что его издание станет учебным пособием и принесет ему хорошие барыши; однако замысел этот не оправдался и книга получила недобрую славу. Еще в «Сыне отечества» (1821, ч. 71, № XXXII, стр. 287—288) Булгарин поместил объявление рекламного характера о своем будущем издании, где между прочим писал: «В труде моем руководствовался я изданием польским, весьма почитаемым знатоками древних языков» и т. д. Все издание предполагалось в двух частях, однако в свет вышла только первая. В предисловии «От издателя» Булгарин писал: «Предлагаю любителям древней словесности избранные оды Горация, при издании коих я следовал Брауншвейгскому изданию Кеппена, принятому во всех изданиях просвещенной Европы ... Что же касается до истолкования текста, то вся слава принадлежит Ванденбургу и Мичерлиху, отличнейшим в наше время филологам, и Иосифу Ежевскому, объяснившему Горациевы оды на польском языке: мне принадлежат только труд и желание быть полезным» (стр. 1). Историю этой книги рассказал Н. И. Греч. Он утверждает, что «Булгарин вздумал издать оды Горация с комментариями Ежевского и других критиков, но сам знал по-латыни очень плохо ... Ежевский и некоторые другие лингвисты жаловались на заимствование их примечаний, но Булгарин оправдался тем, что упомянул об этих заимствованиях в предисловии. В то время втерся он к Магницкому и Руничу и старался при их помощи ввести эту книгу в училища, но обещания их ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгарин решился пожертвовать ее в пользу училищ» (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. СПб., 1886, стр. 449). Ловкая проделка Булгарина была хорошо известна в литературных кругах. В «Московском телеграфе» (1826, ч. XII, отд. II) в защиту И. Ежевского, друга Мицкевича, выступил Н. Полевой, обвинивший Булгарина в плагиате; над тем же иронизировал Н. И. Надеждин в «Телескопе» (1831, ч. IV, № 16, стр. 155). В 1831 г. Пушкин писал в своей полемической статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов»: «...доказано, что Фаддей Венедиктович (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-латыни; но ужели сему незнанию обязан он своей бессмертной славою?» (XI, 204). Еще в 1846 г. в запрещенной цензурой статье Белинский упоминал «Избранные оды» Горация, «которые с чужими примечаниями, без всякого намека на заимствование, издал г. Булгарин»

(В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 616, 632).

Так как булгаринское издание являлось довольно редким, о нем зачастую сообщались неверные сведения. Ю. Н. Тынянов, например, ошибочно писал о «переводах Булгарина из Горация» (в сб.: Пушкин в мировой литературе, Л., 1926, стр. 392; Ю. Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 198).

Приводимый нами ниже латинский текст оды Горация дается в том окончательном виде, в каком он публиковался в течение последнего столетия.

CARM. III, 30

1 Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis

5 Annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar, multaque pars mei
Vitabit Libitinam: usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium

Scandet cum tacita virgine pontifex.
10 Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
Et qua pauper aquae Daunus agrestium
Regnavit populorum, ex humili potens

Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos. Sume superbiam
15 Quaesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam.

2. М. В. Ломоносов

Первым русским переводом интересующей нас оды Горация, вероятно, был перевод Ломоносова, сделанный им в конце 40-х годов и опубликованный в его «Кратком руководстве к красноречию», первое издание которого вышло в свет в Петербурге в 1748 г. Эта книга, при жизни Ломоносова переиздававшаяся не менее трех раз, оставалась популярной в течение всего XVIII в. Перевод 30-й оды Горация включен Ломоносовым в первую книгу «Краткого руководства» («...в которой содержится риторика, показующая общие правила общего красноречия, то есть оратории и поэзии», § 268) и служит здесь примером «неполного силлогизма, или энтимемы», в которой «полагается одна посылка, потом присовокупляется причина», а «все заключается следствием». В соответствии с этим служебным назначением перевода он в «Риторике» разбит на три части. «Расположение» оды Горация, по словам Ломоносова, «состоит в следующей энтимеме: Я поставил знак бессмертный своей славы затем, что первый сочинял в Италии оды, какие писал Алцей Еольский, стихотворец, того ради должна моя муза себя лавровым венком увенчать». Печатая свой перевод, Ломоносов снабдил каждую из трех частей оды особым заглавием: «Посылка» (стихи 1—8), «Причина» (стихи 9—14) и «Следствие» (стихи 15—16).

В статье «Ранние русские переводчики Горация» («Известия Академии наук СССР», Отделение общественных наук, 1935, № 10, стр. 1049) П. Н. Берков обратил внимание на «автобиографический смысл этого перевода»: «Ломоносов, как и Гораций, вменял себе в заслугу, что ему „беззнатный род“ препятствием не был, чтоб внесть на свою родину новое, до того неизвестное стихосложение». Особенности метра данного латинского подлин-

ника Ломоносова не интересовали или он еще не считал возможным усвоение такого метра русским языком (хотя и открыл русский гекзаметр): ода переведена им четырехстопным ямбом. Первые опыты передачи 1-й асклепиадовой строфы при переводе той же оды Горация сделаны были лишь полвека спустя А. Х. Востоковым. Сопоставление этого перевода Ломоносова с латинским оригиналом и характеристика некоторых отступлений от него даны в комментариях к новому академическому Полному собранию сочинений Ломоносова, где ода «Я знак бессмертия себе воздвигнул» напечатана дважды с вариантами по рукописям и после сверки с корректурой, правленной самим переводчиком (М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 7, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 314—315, 931; т. 8, 1959, стр. 184); эти варианты мы здесь не воспроизводим по их малозначительности для нашей цели. Более подробные сличения перевода Ломоносова с подлинником приводятся в статье Р.-Д. Кейля (R.-D. Keil. Zur Deutung von Puškins «Pamiatnik». «Die Welt der Slaven», 1961, Jhg. VI, H. 2, S. 184) и в монографии Буша (W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, SS. 54—56). Об отношении Ломоносова к Горацию см. также: И. М. Нахов. Ломоносов и античность. В кн.: Вопросы классической филологии, I. Изд. Моск. унив., 1965, стр. 16—19.

1 Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.

5 Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.

Где быстрыми шумит струями Авфид,
10 Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатной род препятством не был,

Чтоб внесть в Италию стихи Еольски
И перьвому звенеть Алцейской лирой.
15 Взгордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу Дельфийским лавром.

3. Г. Р. Державин

Стихотворение Державина «Памятник» впервые появилось в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» в 1795 г. (ч. 7, стр. 147) под заглавием «К Музе. Подражание Горацию», а затем вошло в изданные им самим собрания его сочинений 1798 и 1808 гг.; в обоих изданиях именно этой одой кончается том (см.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. I, СПб., 1864, стр. 785—788). Стихотворение Державина трудно назвать в точном смысле переводом оды Горация — это скорее вольное подражание или переделка последней. И. И. Мартынов в своем издании трактата Псевдо-Лонгина «О высоком», в большом примечании к главе XIII, где идет речь о «соревновании и подражании», говорит следующее: «Вместо всех правил подражания, которые читать можно во всякой риторике, приведем в пример подражание Г. Державина Горациевой оде: „Exegi monumentum aere perennius"...». Процитировав далее полностью две первых строфы, кончая стихом 8-м

Доколь славянов род вселенна будет чтить,

И. И. Мартынов замечает: «До сего места это можно назвать самым близким и удачным переводом, включая применение, сделанное г. Державиным к себе, как к российянину, в слове: славянов. Но следующие куплеты суть щастливое российского Горация латинскому подражание» (см.: [И. И. Мартынов]. О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина. Перевод с греческого с примечаниями переводчика. СПб., 1803, стр. 95—97).

Последующая критика высоко оценивала это стихотворение Державина, несмотря на допущенные им отклонения от оригинала. Когда П. Васильев в статье, опубликованной в журнале «Благонамеренный» (1821, ч. XIV, стр. 259—263) под заглавием «Замечания на перевод XV Горациевой оды, напечатанной в 42 № „Сына отечества“ 1820 года», высказал мнение, что «шестистопные ямбы неприличны лирической поэзии, особливо оде, выражающей чувство восторженного поэта», издатель журнала поместил здесь же следующую свою реплику: «Сомнительно! — Две исполненные настоящего пиитического восторга оды: Петрова на разбитие и сожжение турецкого флота и Державина „Памятник“ — нисколько, кажется, не теряют от того, что написаны шестистопными ямбическими стихами». Подробное сличение латинского подлинника с подражанием Державина в связи с общей характеристикой его знакомства с произведениями римского поэта см. в статье: А. Л. Пинчук. Гораций в творчестве Г. Р. Державина. «Ученые записки Томского гос. университета», 1955, № 24, стр. 71—86. Я. К. Грот, комментируя «Памятник» в изданных им Сочинениях Державина, приводит несколько критических отзывов о стихотворении, которое с ранних пор сопоставлялось не только с одой Горация, но и с «Памятником» Пушкина. «Любопытно, говорит Галахов, сличить три стихотворения: Горация, Державина и Пушкина, чтобы видеть, что́ именно каждый поэт признавал в своей деятельности заслуживающим бессмертия. Прибавим, что Пушкин подражал уже не Горацию, а прямо Державину». Далее приведены замечания Белинского, полагавшего, что «Державин выразил мысль Горация в такой оригинальной форме, так хорошо применил ее к себе, что часть этой мысли так же принадлежит ему, как и Горацию». Вслед за сравнением трех «Памятников» — Горация, Державина и Пушкина, сделанным Белинским, Я. К. Грот приводит также аналогичное сравнение, принадлежащее Н. Г. Чернышевскому в «Очерках гоголевского периода» (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. I, стр. 788; ср.: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, М., 1947, стр. 137). См. также: Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, стр. 113—114; А. Западов. Мастерство Державина. М., 1958, стр. 252—255.

ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух про́йдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И, презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твое зарей бессмертия венчай.

1795.

4. В. В. Капнист

Автор комедии «Ябеда», лирический поэт Василий Васильевич Капнист (1757—1823) получил от современников титул «русского Горация» прежде всего за то, что он действительно был почитателем и весьма усердным переводчиком римского поэта. Над переводами его од Капнист трудился с небольшими перерывами в течение двух последних десятилетий своей жизни, но завершить их для издания отдельной книгой не успел. Уже в книге «Лирические сочинения Василия Капниста» (СПб., 1806) были напечатаны его переводы двух од Горация («Памятник» и «Призвание Венеры») и шестнадцать подражаний другим одам; все они были выполнены между 1801 и 1805 гг. Снова за переводы од Горация Капнист принялся в 10-е и 20-е годы. В бумагах его сохранился проект предисловия к задуманному изданию, в котором Капнист между прочим писал: «Не зная латинского языка, должен был я угадывать красоты знаменитого подлинника из чужеземных, большею частью весьма неверных переводов. С величайшим трудом, с неутомимой прилежностью, руководствуясь наставлениями знающих латинский язык приятелей моих, принужден был я переводить почти слово в слово оды Горация и потом перелагать оные в стихи» (см.: А. А. Веселовский. Капнист и Гораций. Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII— начале XIX в. «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», 1910, т. XV, кн. 1, стр. 211). Книга «Од» Горация, над которой трудился Капнист, должна была состоять из 1) стихотворного перевода, 2) прозаического перевода и 3) примечаний к ним. Многое из этого сохранилось, но напечатано более столетия спустя. Прозаические переводы (среди которых есть и перевод «Exegi monumentum») не опубликованы в новейшем Собрании сочинений Капниста (т. II, М.—Л., 1960, стр. 554) на том основании, что, как видно из признания переводчика, он руководствовался на первой стадии перевода «наставлениями... приятелей» и поэтому указанные «подстрочники» едва ли принадлежат ему самому. Правда, не зная латинского языка, Капнист изучал французские и немецкие переводы Горация (Баттё, Битобе, Фосса и др.). Существенным оказался для Капниста совет Г. Р. Державина в письме к нему (5 сентября 1815 г.), как нужно работать переводчику: «Мне кажется, напрасно и тщетно прилагать усилия переводить в точности Горация и прилагать для вернейшего соображения подлинник в печати с переводом. Видим из иностранных, например из Фосса, каков его перевод: когда он прилагал усилие сохранить и меру и род стихов, и мысли автора, вышло не что иное, как изуродованное творение, а всего лучше, держася издали плана и мысли, подражать только духу творца, приноравливая чувства свои к нему. Вот вам мой совет, дабы труд ваш не пропал напрасно, ибо поэзию на другой язык с такою же красотою переслать не можно, а особливо Горация» (В. В. Капнист, Избранные сочинения, ред. Б. И. Коплан, Л., 1941, стр. XIV).

Как видно из того же указанного выше проекта предисловия к неосуществленному изданию, Капнист сознательно допускал в своих переводах известную русификацию, заменял порой имена местностей и героев древнего мира

современными ему (см.: А. А. Веселовский. Капнист и Гораций, стр. 231—232), но, несмотря на это, он тщательно работал над своими текстами, добиваясь полного устранения из них «всех неплавностей, неясностей», и большинство его переводов имеет несколько редакций, сделанных на протяжении ряда лет. Своими переводами Капнист хотел «подвигнуть искуснейших пиитов» своего времени — Карамзина, Мерзлякова, Жуковского — «к желанию удачнее познакомить любителей словесности нашей с любимым Августа и Мецената лириком». В известной мере это ему удалось. П. А. Плетнев в «Письме к гр. С. И. Сологуб о русских поэтах» (1824), опубликованном в «Северных цветах на 1825 г.», писал о переводах Капниста, что «он главные чувства Горация облекал в свои формы, наводил на них краски и оживлял их национальной местностью». А. А. Дельвиг в своей краткой, но очень содержательной истории русских переводов из Горация (в его отзыве о переводах В. Орлова), объединяя в своем понимании переводческие принципы Державина и Капниста, заявлял в свою очередь, что именно эти русские писатели лучше всех постигли дух произведений римского поэта (см. выше, стр. 246).

Ниже мы воспроизводим два перевода «Exegi monumentum», сделанных В. В. Капнистом: первый («Я памятник себе воздвигнул долговечной») сделан им в начале века и опубликован в «Лирических сочинениях» (СПб., 1805); второй был найден в бумагах Державина (ГПБ) и, может быть, относится к еще более раннему времени (W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, S. 101); по рукописи он впервые напечатан Б. И. Копланом в его издании «Избранных сочинений Капниста» (Л., 1941, стр. 290).

1

ПАМЯТНИК ГОРАЦИЯ

Я памятник себе воздвигнул долговечной;
Превыше пирамид и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно —
Не сокрушит его. — Не весь умру я, нет: —
Большая часть меня от строгих Парк уйдет;
В потомстве возрасту я славой справедливой:
И в гордый Капитол с Весталкой молчаливой,
Доколе будет жрец торжественно всходить,
Не перестанет всем молва о мне твердить,
Что тамо, где Авфид стремит ревущи воды,
И в дебрях, где простым народом Давн владел,
Я первый, вознесясь от низкия породы,
В латинские стихи эольску меру ввел.
Гордись блистательным отличьем, Мельпомена!
Гордись, права тебе достоинства дало.
Из лавра Дельфского, в честь Фебу посвященна,
Венок бессмертный свив, укрась мое чело.

[1801—1805]

2

Се памятник воздвигнут мною
Превыше царских пирамид,
И меди с твердостью большою
Он вековечнее стоит:
Ни едкий дождь, ни ветр шумящий,
Ни времени полет грозящий,
Его не сильны низложить.

Не весь я тленностью возьмуся,
Но часть не малая меня
Уйдет, — и я тогда явлюся
Опять в сияньи новом дня;
Хвалою позднюю воскресну
И буду цвесть, — пока небесну
Рим будет жертву приносить.

Где волны Авфида клубятся,
Где царство Давн свое имел,
В устах всех будет повторяться,
Что подлый Флакк предать умел
Эольский стих латинской лире, —
Гордись, гордись сим, Муза, в мире
И лавром увенчай меня.

5. А. Х. Востоков

Александр Христофорович Востоков (1781—1864) был не только выдающимся ученым-филологом, но и поэтом. В 1801 г. Востоков вступил в члены только что основанного Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, начавшего свою деятельность в годы заметного оживления русской общественной мысли, и в течение нескольких лет (1801—1805) даже являлся его секретарем (см.: Вл. Орлов. Русские просветители 1790—1800-х годов. Изд. 2-е. М., 1953, стр. 246). В своих ранних стихотворениях Востоков отразил те просветительские настроения, которые были характерны для поэтов, группировавшихся вокруг этого общества и получивших наименование радищевцев. Однако в смелых поэтических экспериментах Востокова уже в те годы чувствовался будущий замечательный филолог, давший впоследствии одно из ранних в русской науке и глубоких теоретических обоснований русского тонического стихосложения (1817).

В 1805—1806 гг. Востоков издал в двух частях свои «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах»; в этой книге были собраны, помимо его оригинальных произведений, также переводы, в частности из классических поэтов. Из Горация Востоков перевел десять од; две из них переведены вольно (I, 31; III, 29), остальные — с максимальным приближением к античным метрическим схемам. И. И. Дмитриев писал А. Х. Востокову 23 декабря 1806 г.: «Вы предупредили мое желание, показав нам опыты с разных размеров греческих и римских. Мне давно хотелось, чтобы поэты наши пели не одним только ямбом и хореем; чем более перемен в музыке, тем более удовольствия для слушателя. Все показанные вами размеры приятны и в нашей поэзии, кроме горацианского, употребленного вами в пьесе: К Борею», и т. д. (см.: Переписка А. Х. Востокова с объяснительными примечаниями И. Срезневского. Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности имп. Академии наук, т. V, вып. II, СПб., 1873, стр. XXIV). В. Кюхельбекер в своей статье «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности» («Вестник Европы», 1817, ч. XCV, № 17—18, стр. 154—157; ранее: «Conservateur impartial», St.-Petersb., 1817, № 77) напоминал, что изданием своих «Опытов» Востоков «изумил, можно даже сказать привел в смущение публику; в сей книге увидели многие оды Горациевы, переведенные мерою подлинных стихов латинских. Он показал образцы стихов Сафического, Алцейского, Елегического и говорил с восторгом о произведениях германской словесности, дотоле неизвестных или неуважаемых». Метрические эксперименты Востокова запомнились надолго; в числе его предшественников в этом отношении можно назвать только А. Н. Радищева. На это указывал еще и Пушкин, писавший («Путешествие из Москвы в Петербург»): «Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское

стихосложение ... Он первый у нас писал древними лирическими размерами» (XI, 243). Ср.: W. B u s c h. 1) Zu A. Chr. Vostokovs Nachbildungen antiken Versmaße. «Slavistische Studien zum V Internationalen Slavistenkongreß in Sofia», Göttingen, 1963, SS. 383, 388; 2) Horaz in Russland. München, 1964, SS. 116—121.

Среди од Горация, переведенных А. X. Востоковым, была и ода III, 30 (озаглавленная переводчиком «К Мельпомене»). Сделан был этот перевод еще в 1802 г. (известно, что 26 апреля этого года Востоков представил его Вольному обществу). Перевод этот увидел свет в «Опытах» Востокова, но он напечатан здесь не в основном тексте, а в «Примечаниях» второй части (ч. II, стр. 72) в качестве образца «первого асклепиадского размера». Воспроизводя этот перевод полностью в «Словаре древней и новой поэзии» (ч. I, стр. 53—54), Н. Остолопов отметил, что «Востоков в переведенной им Горация оде „Exegi monumentum aere perennius“ и пр., которая писана асклепиадовыми стихами, сохранил размер подлинника с переменою первой стопы, по свойству российского языка, на хорей». Этот перевод, который мы помещаем ниже, воспроизводился несколько раз в новейших изданиях «Стихотворений» А. Востокова под ред. В. Н. Орлова (серия «Библиотека поэта», Л., 1935, стр. 235 и 411, 412; «малая серия», Л., 1936 и 1939, стр. 88; см. рец. С. Васильева [И. В. Сергиевского] «Стихотворения А. Востокова»: «Литературный критик», 1935, № 10, стр. 199—201).

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Крепче меди себе создал я памятник;
Взял над царскими верх он пирамидами,
Дождь не смоет его, вихрем не сломится,
Цельный выдержит он годы бесчисленны,
Не почует следов быстрого времени.
Так; я весь не умру, — большая часть меня
Избежит похорон: между потомками
Буду славой расти, век обновляяся,
Зрят безмолвный пока ход в Капитолию
Дев Весталей, во след Первосвященнику.
Там, где Авфид крутит волны шумящие,
В весях скудных водой Давнус где царствовал,
Будет слышно, что я — рода беззнатного
Отрасль — первый дерзнул в Римском диа́лекте
Эолийской сложить меры поэзию.
Сим гордиться позволь мне по достоинству,
Муза! сим увенчай лавром главу мою.

6. С. А. Тучков

Сергей Александрович Тучков (1766—1839), военный деятель и администратор, автор известных мемуаров (Записки С. А. Тучкова. Под ред. К. А. Военского. СПб., 1908), был участником войн со Швецией, Турцией, сражений в Польше и на Кавказе, сотрудничал в журнале «Беседующий гражданин», лично знал А. Н. Радищева и многих других выдающихся деятелей конца XVIII—начала XIX в. В Кишиневе (в 1821 г.) Тучков был казначеем той самой масонской ложи «Овидий», в которой состоял также и Пушкин. О знакомстве Пушкина с Тучковым в г. Измаиле в декабре 1821 г. подробнее см. в основном тексте настоящей работы (стр. 94—96); там же приведены данные о «Сочинениях и переводах» Тучкова (СПб., 1816). Бо́льшую часть первого тома составляют его стихотворные переводы од и эподов Горация; переводам предшествует большое предисловие, где Тучков объясняет принципы, которыми он руководствовался.

К тому, что уже сказано об этом переводе выше (стр. 95), добавим здесь то, что Тучков писал в предисловии о своих источниках после характеристики Горация и его од, которые «наполнены превосходнейшим красноречием, прекрасными вымыслами, оживлены восхитительными выражениями, тонкими оборотами ума и содержат наилучшие нравоучительные мысли»: «Щастливым почту себя, если хотя одно из сих достоинств перенесено будет мною в отечественный мой язык. Немецкие писатели, а наиболее французские, неоднократно переводили творения Горация стихами и прозой ... Что принадлежит до французского перевода, изданного Г. Ботто, и другого неизвестного, под названием Oeuvres choisis d'Horace, — Избранные творения Горация, оные от всех знатоков почитаются наилучшими. Вспомоществуем ими, а также советами и переводом г-на Шиповского, предпринял я сей труд» (С. А. Тучков, Сочинения и переводы, ч. I, СПб., 1816; «От трудившегося в преложении» — без нумерации страниц). В. Буш (W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, S. 164) допустил ошибку, указывая, что речь идет об одном французском переводе — «Oeuvres choisis ... G. Botteau», а не о двух; кроме того, Тучков несомненно имеет в виду знаменитый перевод Горация, сделанный аббатом Шарлем Баттё (Batteux, 1713—1780), называя последнего, однако, «Г‹осподин›ом Батто». Перевод Ш. Баттё впервые издан был в 1750 г. и неоднократно переиздавался; тому же Баттё принадлежит «Cours des belles lettres» (Paris, 1747—1750), изданный и в русском переводе (М., 1807). Напомним еще раз, что в переводе С. А. Тучкова ода III, 30 («Exegi monumentum») имеет другой номер (ода XXIV) и озаглавлена «Слава его стихов бессмертна»; перевод этот состоит из 36 ямбических диметров. Текст перевода мы заимствуем из I книги «Сочинений и переводов» Тучкова, где он напечатан на стр. 217—218.

СЛАВА ЕГО СТИХОВ БЕССМЕРТНА

Я памятник себе поставил
Превыше Нильских пирамид,
Я имя тем свое прославил.
Его великолепный вид,
Которой тверже меди зрится,
Времен грызенья не страшится.

Ни едка древность, ни Бореи,
Ни дождь, ни бурный Аквилон,
Ни лютость браней, ни злодеи,
Ни гром небес, ни вихрей стон,
Ни за брега текущи реки
Его не сокрушат во веки.

Умру, но строга смерть, не сыта,
Меня не может истребить,
Ни имя блеском дел покрыто,
Я с ним в потомстве буду жить. —
Разруша смертные уставы,
Расти при звуке буду славы!

Доколе будет жрец священный
В Капитолийский храм вступать,
Доколь весталок сонм почтенный
В нем будет жертвы возжигать,
Хвалы о мне не прекратятся
И в те места они промчатся,

Ауфид где с шумом протекает,
Где Давн народами владел.

Меня там поздный род узнает
И скажет: первой он гремел
Латинской лирой Аполлона
По строю Эолиска тона.

Мольбам, о муза, вознесенным
Моим к тебе теперь внимай,
Дельфическим венцом зеленым
Мое чело ты увенчай! —
Во веки лавр мой зелен будет,
Меня потомство не забудет.

7. А. А. Фет

Крупнейший русский лирик второй половины XIX в. А. А. Фет известен был также как усердный переводчик римских классиков. В течение нескольких десятилетий Фет дал русской литературе в своих переводах всего Горация, стихотворения Катулла, Тибулла, Проперция, сатиры Ювенала, «Метаморфозы» и «Скорби» Овидия, «Энеиду» Вергилия, даже одну комедию Плавта — «Кубышка» («Aulularia») (см.: М. Э. Петропавловский. Римские поэты в переводе А. Фета. «Филологические записки», 1886, вып. IV, стр. 7 и сл.; Н. М. Мендельсон. Письма Ф. Е. Корша к А. А. Фету. В кн.: Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина, сборник I. М., 1928, стр. 35—52).

Оды Горация Фет начал переводить еще в школьные годы; несколько этих переводов из первой книги од опубликовано было уже в «Москвитянине» 1844 г.; последующие переводы из книг II—IV Фет печатал в различных журналах («Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник»). О первых переводах Фета из Горация с похвалой отозвался С. П. Шевырев («Москвитянин», 1844, ч. I, стр. 27—38). Десятилетие спустя заметка в «Смеси» журнала «Современник» (1854, т. 43, отд. V, стр. 103) извещала, что Фет закончил перевод всех четырех книг «Од» Горация и готовит их к печати. Через два года книга вышла в свет (Оды Квинта Горация Флакка в 4 книгах. Перевод с латинского А. Фета. СПб., 1856). В этой книге увидел свет и перевод 30-й оды III книги Горация, т. е. «Exegi monumentum» (стр. 107).

Издание «Од» Горация 1856 г. вызвало несколько рецензий и откликов в русской печати. С. Шестаков напечатал две критические статьи об этой книге, в которых указывал на многие погрешности, допущенные переводчиком в интерпретации латинского текста, а также в русском языке, см.: С. Шестаков. 1) Оды Горация в переводе г. Фета. «Русский вестник», 1856, т. 1, № 1, февраль, кн. 1, стр. 562—578; 2) Еще несколько слов о русском переводе Горациевых од. Там же, 1856, т. 6, декабрь, № 24, кн. 2, стр. 620—646. Свой ответ на первую статью С. Шестакова А. Фет поместил в «Отечественных записках» (1856, т. 106, отд. II, стр. 27—44). В первой книжке «Современника» за следующий год (1857, № 1, отд. IV, стр. 7—9) появилась рецензия Н. Г. Чернышевского на «Оды» Горация в переводе Фета (см. также: Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1948, стр. 507—509; Ю. Н. Троицкий. Гораций в оценке русских революционеров-демократов. «Ученые записки Тульского гос. педагогического института», вып. III, Тула, 1952, стр. 173—190).

Воздавая должное труду Фета, Чернышевский, однако, отмечает в своем отзыве, что данный перевод од Горация «сделан не для большинства, а только для избранных читателей». В полемике, возникшей вокруг издания 1856 г., перевод «Exegi monumentum» не затрагивался. Сам переводчик утверждал, что мысль перевести все произведения Горация подал ему И. С. Тургенев (см.: А. А. Фет. Мои воспоминания. М., 1890, стр. 387). Замысел этот

получил осуществление почти три десятилетия спустя, см.: Гораций в переводе с объяснениями А. Фета, М., 1883 (рец. И. Помяловского: «Журнал Министерства народного просвещения», 1884, № 12, стр. 68—82; более подробный разбор этого издания, принадлежащий тому же И. В. Помяловскому, см.: Отчеты о присуждении пушкинских премий в 1884 г. СПб., 1884, стр. 2—62). Перевод «Exegi monumentum», напечатанный Фетом в издании «Од» 1856 г., впоследствии воспроизводился много раз; исправлению подверглись лишь стихи 9—11, отличавшиеся неточностью; кроме того, стих 9-й напоминал пушкинский:

Слух обо мне пройдет на берег говорливый
Ауфида быстрого и до безводных стран,
Где с трона судит Давн народ трудолюбивый.

Мы воспроизводим текст с исправлением по изданию: К. Гораций Флакк. В переводе и с объяснениями А. Фета. Изд. 2-е. СПб., 1898, стр. 123—124. Несколько реальных примечаний к этому переводу мы опускаем как не представляющие для нас интереса. Отметим в заключение, что Фет был решительным противником переводов римских поэтов размерами подлинников. Там, писал он, где в подлиннике размер, которого у нас нет, «которому мы не только не в силах подражать, но даже спорим о законах движения этого стиха», там, по его мнению, спасает дело рифма, «внося то движение, которое бы окончательно утратилось при попытке перевода невозможным у нас размером». Критики Фета как переводчика отмечали также, что в тех случаях, когда Фету предстоял выбор между внешним совершенством русского языка и буквальной верностью подлиннику, он ни минуты не колебался в пользу последней, благодаря чему порой впадал в тяжелый и неудобопонятный буквализм. Тем не менее он «старался удержать каждый стих на соответствующем подлиннику месте, чтобы нумерация стихов и перевода совпадала».

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Воздвиг я памятник вечнее меди прочной
И зданий царственных превыше пирамид;
Его ни едкий дождь, ни Аквилон полночный,
Ни ряд бесчисленный годов не истребит.

Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей
Избегну похорон, и славный мой венец
Все будет зеленеть, доколе в Капитолий
С безмолвной девою верховный ходит жрец.

И скажут, что рожден, где Ауфид говорливый
Стремительно бежит, где средь безводных стран
С престола Давн судил народ трудолюбивый;
Что из ничтожества был славой я избран

За то, что первый я на голос эолийский
Свел песнь Италии. О, Мельпомена! свей
Заслуге гордой в честь сама венец дельфийский
И лавром увенчай руно моих кудрей.

8. Н. Ф. Фокков

Перевод Н. Ф. Фоккова (1839—1903), озаглавленный «К Мельпомене», увидел свет в «Журнале Министерства народного просвещения» (1873, т. CLXX, № 12, отд. V, стр. 137—142). Автор перевода был филологом-

классиком, преподавателем высших учебных заведений С.-Петербурга, Киева и Нежина (см.: Историко-филологический институт кн. Безбородко в Нежине, 1875—1900. Нежин, 1900, стр. 66; см. также некролог его, написанный А. И. Садовым: «Филологические записки», 1910, № 3, стр. 367—374). Перевод Фоккова, помещенный в научном журнале, предназначался для специалистов и снабжен был вступительной статьей историко-литературного характера и комментариями переводчика. В статье, в которой характеризованы предшественники и последователи Горация в античной литературе и дается разбор самой оды, переводчик так раскрывает ее основную мысль: «Гораций выражает убеждение, впоследствии вполне оправдавшееся, что он своими творениями заслужит себе бессмертное имя, так как истинно поэтическое творчество и счастливые умственные дарования доставляют человеку, совершенно независимо от его социального положения (ex humili potens), повсеместную и неувядаемую славу». Заканчивая статью, Н. Фокков отметил, что из римских поэтов «очень близко подражали» этой оде Горация Проперций (III, 1, 35), Овидий (Met. XV, 871 и сл.) и Марциал (V, 2, 7 и сл.), а «из наших русских поэтов Державин и Пушкин словами же этой оды заявляли о своих правах на признательность потомства». «В рассматриваемой нами оде Горация нет неосновательного самовосхваления и ложного самообольщения, — писал Фокков далее; — здесь высказывается только с полным достоинством и с сознательною уверенностью истинное понимание общечеловеческих произведений и литературных заслуг». Подробный построчный комментарий — реального и лингвистического характера — дает много полезных для лучшего понимания текста толкований отдельных слов, грамматических форм, параллельных цитат из других авторов и т. д.

Перевод Фоккова, по его собственному указанию, исполнен «размером подлинника» — «меньшей асклепиадической системой».

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Я воздвиг монумент, бронз вековечнее,
Выше зданий царей — царственных пирамид.
Ни пронзительный дождь, ни лютый Аквилон,
Не разрушит его и бесконечная

Вереница годов, ни полет всех времен.
Нет, не весь я умру, большая часть меня
Избежит похорон; буду в потомстве я
Возрастать похвалой; буду все нов, пока

В Капитолий идет с девой безмолвной жрец.
Будет речь обо мне, где бурлит злой Ауфид
И где бедный водой Давн полудикими
Правил подданными; славен я из простых:

Ведь я первый возвел песнь итальянскую
В эолийческий лад. Так возгордись же ты,
Сколь заслугам должно; мне же дельфическим,
Мельпомена, молюсь, лавром обвей чело!

9. Б. В. Никольский

Перевод напечатан первоначально в кн.: Б. В. Никольский. Сборник стихотворений. СПб., 1899, стр. 291—292. Борис Владимирович Никольский (1875—1919), окончивший училище правоведения, был профессором римского права Петербургского университета, автором ряда ученых исследований в этой области (в частности, монографии «Сводный текст отрывков XII таблиц, со свидетельствами древних и указателями», вышедшей в свет

в Петербурге в 1897 г.), но получил известность также как критик и поэт. Являясь почитателем и знатоком Пушкина, Б. В. Никольский напечатал о нем несколько работ: «Поэт и читатель у Пушкина», «Дуэль Пушкина» и др. Занятия поэзией он соединял также с деятельностью переводчика, трудясь между прочим над стихотворными переводами из Катулла (см.: «Журнал Министерства народного просвещения», 1901, № 10, отд. V, стр. 104—115) и Горация. О знании им классических и западноевропейских языков и о его литературных интересах см.: А. В. Самойлович. Пушкинист Б. В. Никольский (по личным воспоминаниям). «Парфенон», сборник первый, СПб., 1922, стр. 40—60.

Перевод 30-й оды III книги Горация, вероятно, сделан был Никольским в связи с его занятиями творчеством Пушкина в год, когда отмечалось столетие со дня рождения великого русского поэта. Поместив этот перевод в книге своих «Стихотворений», Б. В. Никольский снабдил его пояснительной заметкой, напечатанной в той же книге («К переводу из Горация», стр. 313—314). Эта заметка написана им «во избежание затруднений со стороны филологов в оценке перевода последних двух строф» подлинника. По мнению переводчика, в 11-м и 12-м стихах латинского оригинала слова «ex humili potens» «с легкой руки древних комментаторов объясняются как намек Горация на его низкое происхождение (от вольноотпущенника), — объяснение крайне натянутое; да притом и фраза так темна и оборот так насильственно отрывист и неловок грамматически, что его нельзя не признать искажением, хотя и очень древним». По мнению Б. В. Никольского, слова «ex humili potens» «являются вырождением первоначального рукописного „extumuli potens“, т. е. „Qua Daunus regnavit, potens extumuli agrestium populorum“. Помимо полной естественности, эта догадка впервые объясняет родительный падеж „populorum agrestium“, который до сих пор, опять-таки по нелепой догадке древних грамматиков, считают зависимым от „regnare“, как единственный в своем роде грецизм» (стр. 314). Благодаря этой своей конъектуре Б. В. Никольский передал 11-й и 12-й стихи иначе, чем все его предшественники:

Там, где, беден водой, Давн повелителем
Был из сельских племен крайнего племени.

Но эта догадка едва ли может быть названа удачной; во всяком случае внимания она на себя не обратила. В соответствии с исправляемыми словами иное толкование у Б. В. Никольского получили и следующие стихи, о которых он пишет: «В предлагаемом переводе устранено и ходячее до сих пор обвинение Горация в хвастливости, так как-де он имел блестящих предшественников в переложении эолийских напевов на италийские лады, а говорит так, как будто ему принадлежит заслуга безусловного первенства. Это ошибочное обвинение основывалось на приведении в связь dicar и qua, т. е. „обо мне скажут там то, что я“ и т. д. На самом же деле Гораций говорит совсем другое: „обо мне скажут, что я первый там-то и там-то переложил“ и т. д., т. е. qua стоит в связи с deduxisse. В земле, где царствовал Давн, я первый переложил и т. д. — вот чем он гордится; и вполне естественна такая гордость. Напротив, при старом взгляде географические указания казались несколько странными и неуместными; почему важно, что его заслуги признают на месте его рождения (и это еще после стихов 7—8-го!)? Разве там ему особенно отказывали в признании? Ничуть не бывало» (стр. 14). В стремлении передать оду возможно ближе к своему пониманию Б. В. Никольский допустил буквализм, неблагозвучные или недостаточно ясные грамматические конструкции и даже (как в стихе 14-м) неуместные повторения слов. Тем не менее перевод его пользовался некоторой известностью; он перепечатан в комментарии к книге «Избранная лирика» Квинта Горация Флакка (Перевод и комментарии А. П. Семенова-Тян-Шанского. М.—Л., 1936, стр. 176—177), но без указания на то, где помещен впервые.

Долговечный воздвиг меди я памятник
И громад пирамид царственных выспренней.
Едкий дождь, Аквилон ярый, бесчисленный
Ряд годов и полет вечного времени,

Всем не в мочь сокрушить, всем вам мой памятник
Нет, не весь я умру; дань Либитине я
Частью только своей. Цвесть мне и в правнуках
Свежей славой, доколь в храм Капитолия

Будет жрец восходить с девой безмолвною.
Скажут: там, где ревет Ауфид неистовый,
Там, где, беден водой, Давн повелителем
Был из сельских племен крайнего племени, —

Первый там я в лады ввел Италийские
Песнь Эолии. Льстись гордостью, гордостью,
Муза, мздою заслуг, и благосклонно мне
Свей на кудри в венец лавры дельфийские.

1899.

10. П. Ф. Порфиров

Перевод, принадлежавший перу рано умершего поэта Петра Федоровича Порфирова (1870—1903), автора лирических стихотворений и поэмы «Первая любовь», был впервые напечатан в 1902 г. В конце века Порфиров предпринял перевод всех произведений Горация. В С.-Петербурге в 1898 г. вышли «Оды Горация. Перевод в стихах П. Порфирова», книги первая и вторая. За ними последовало издание «Горация оды, книги третья и четвертая...» (СПб., 1902) и, наконец, публикация всех од Горация в одном томе — «Лирические стихотворения Квинта Горация Флакка. Перевод П. Ф. Порфирова» (изд. 2-е, исправленное. СПб., 1902), из которого и воспроизводится нижеследующий перевод (стр. 172). «До настоящего времени, — говорит переводчик в предисловии к этому последнему изданию, — лирические стихотворения Горация переведены полностью только Фетом, который первый познакомил нас со всеми произведениями своего римского собрата. Несмотря на большие достоинства работы Фета, попытки новых переводов Горация весьма желательны, а для изучения истории русской литературы прямо необходимы». В числе особенностей издания переводчик отмечает замену названия «Оды» наименованием «Лирические стихотворения», «так как слово „оды" вызывает, как я наблюдал, ложное представление у лиц, незнакомых еще с Горацием». С другой стороны, примечания Порфирова, напечатанные в этом издании, немногочисленны: «указаны самые необходимые, так как, по моему мнению, нет ничего тягостнее бесконечных пояснений. Я всегда имел в виду, что мои переводы — не критическое издание».

Перевод 30-й оды III книги снабжен Порфировым лишь двумя небольшими пояснениями. Утверждая, что эта ода написана до выхода трех книг од Горация, П. Ф. Порфиров делает следующее указание (к заглавию «К Мельпомене»): «Первоначально Гораций предполагал ограничиться изданием этих книг, причем настоящее стихотворение являлось заключительным аккордом его песен. Как бы прощаясь с лирической поэзией, Гораций в гордом сознании великого значения своего труда восклицает: Exegi monumentum aere perennius». «Exegi, — толкует Порфиров далее, — тут не безразличное „воздвиг", как переводили все наши поэты, а именно „докончил, окончил" (Акрон, Орелли). Под „aere" поэт предполагает медные статуи, воздвигаемые в честь знаменитых мужей». Второе примечание сделано к 7-му стиху («Избегу смертной тьмы»): «Иными словами, — говорит переводчик, — мои

творения не умрут вместе с телом; нет, они вечно будут живы, как вечно (по мнению поэта) живы Рим, Капитолий и неугасимый огонь в храме Весты». Самостоятельного филологического значения перевод Порфирова не имеет; он основывался преимущественно на немецких критических изданиях латинского текста Горация, выполненных Л. Мюллером, и дополнительных справок в новейших трудах по текстологии Горация не производил. Сочувственный в общем отзыв о переводе в целом, как о потребовавшем больших усилий и полезном труде, данный И. Ф. Анненским (Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфирова. См. отдельный оттиск из «Отчета о XV присуждении Пушкинских премий», СПб., 1904), отмечает, однако, недостаточное знакомство автора со специальной научной литературой о Горации, поэтические промахи, метрическое однообразие (преимущественно александрийский стих). См. также: W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, SS. 215—217. Ни в одном из этих отзывов, однако, разбор перевода интересующей нас оды не дается.

К МЕЛЬПОМЕНЕ

Кончен памятник мой, — медных статуй прочней,
Пирамид величавее царственных он.
Ни снедающий ливень, ни сам Аквилон
Не разрушит его в тщетной злобе своей,

Ни несчетные годы в стремленье веков.
Нет, не весь я умру, частью лучшею я
Избегу смертной тьмы: будет слава моя
Цвесть, доколе восходит владыка жрецов

В Капитолий и дева безмолвная с ним.
Низкий родом, из мест, где гремит в берегах
Ауфид яростный, где — в маловодных краях —
Правил Дафн земледельцев народом простым,

Буду славим, что первый латинским стихом
Песнь Эолии пел. О, заслугой своей,
Мельпомена, гордись и мне кудри увей
Благосклонно дельфийским лавровым венком.

11. В. Я. Брюсов

Выдающийся лирический поэт В. Я. Брюсов (1870—1924) был в то же время замечательным и плодовитым переводчиком. Среди многочисленных разноязычных образцов мировой поэзии, переведенных им на русский язык, находились также произведения античных поэтов, в частности римских — Вергилия, Горация и др. В статье «В. Я. Брюсов и античный мир» («Известия Ленинградского гос. университета», т. II, 1930, стр. 184—193), говоря об интересе Брюсова к римским писателям, А. И. Малеин вспоминал: «Горацием В. Я. Брюсов занимался менее. Сообщая мне (письмо от 5 апреля 1914 г.) пришедшее ему в голову толкование эпитета aurea в Carm. I, 5, 9 ... он продолжал: „Сам я, по пристрастию библиофила, читаю Горация обычно в почтенном издании Бентли (R. Bentleii, 1826), так что новейших комментариев не знаю“». «Это не мешало ему, однако, усердно переводить в „Гермесе“ различные оды Венузийского певца, включая и его знаменитый „Памятник“», — замечает А. И. Малеин далее (стр. 187—188). Действительно, в петербургском журнале «Гермес», редактором которого был А. И. Малеин, Брюсов поместил несколько своих стихотворных переводов Горациевых од (I, 8; I, 11; II, 20); в этом же журнале Брюсов поместил и

первый свой перевод «Exegi monumentum» («Гермес», 1913, № 8, стр. 221—222): «Памятник я воздвиг меди нетленнее...».

Пять лет спустя в своей книге «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам (стихи 1912—1918)» (М., 1918, стр. 65) В. Я. Брюсов напечатал другой перевод той же оды Горация («Вековечней воздвиг меди я памятник...»), служащий здесь примером «1-го асклепиадова стиха Горация». К этому второму переводу «Exegi monumentum» В. Я. Брюсов сделал следующее пояснение (стр. 180): «Античные метрики строили 1-й асклепиадов стих из двух полустиший, как сложный метр, по схеме:

— — —́ ◡ ◡ —́ || —́ ◡ ◡ —́ ◡ ◡

На русском языке этому вполне соответствует сложный метр из двух анапестов, за которыми следуют два дактиля». Очень вероятно, что особый интерес В. Я. Брюсова к этой оде, вызвавший ее двукратный перевод, с попытками как можно ближе передать на русском языке латинский подлинник, связан был с усиленным изучением Пушкина, чем Брюсов занят был в течение всей своей жизни (ср.: Н. Л. Степанов. В. Я. Брюсов в работе над Пушкиным. «Литературный архив», М.—Л., 1938, стр. 302—351). Еще в 1912 г. Брюсов написал собственный «Памятник» («Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен...») — несомненно в подражание пушкинскому и с эпиграфом из Горация (напечатан в кн.: В. Брюсов. Семь цветов радуги. Стихи 1912—1915 гг. М., 1916, стр. 13—14). Это стихотворение вызвало неодобрительные и полемические отзывы печати; может быть, под их воздействием Брюсов и обратился к новому воссозданию на русском языке древней оды Горация — отдаленного первообраза и пушкинского, и своего стихотворений.

В 1916 г., вскоре после того как было опубликовано стихотворение Брюсова и о нем шел спор, Г. Шенгели написал специальную работу о «Памятниках» Пушкина и Брюсова; эта работа увидела свет лишь через два года в виде маленькой брошюры, ныне чрезвычайно редкой, так как она вышла малым тиражом в г. Феодосии, хотя на ее титульном листе и обозначен в качестве места издания Петроград; см.: Г. Шенгели. Два «Памятника». Сравнительный разбор стихотворений Пушкина и Брюсова. Пгр., 1918, 23 стр. «Воскресает обыкновение классических поэтов подводить итог своему творчеству, — писал Г. Шенгели в начале своей брошюры. — Валерий Брюсов, центральная фигура современной русской поэзии, в последней книге своей „Семь цветов радуги“ дал новый образец „Памятника“. Свыше трех четвертей века прошло со дня написания последнего „Памятника“ — пушкинского, и крайне интересным представляется произвести параллельный обзор обоих произведений, в чем полагают величие свое поэт прошлого века и поэт современный и как говорят об этом они» (стр. 3). Работа Г. Шенгели дает, впрочем, преимущественно стиховедческий анализ обоих «Памятников» — Пушкина и Брюсова. Сначала автор устанавливает черты сходства в этих произведениях, которые сближают «Памятники» не столько тематически, сколько по внешним особенностям их построения: «Оба стихотворения написаны четырехстрочными строфами (у Пушкина — 5 строф, у Брюсова — 6) с двусложными и односложными рифмами (считаю более удобными эти обозначения, чем сумбурные: мужские, женские...), чередующимися во всех строфах по схеме: abab. Метр обоих стихотворений — ямб, шестистопный в первых трех строках и четырехстопный в четвертой строке каждой строфы» (стр. 5). Г. Шенгели (стр. 8) усматривал в обоих «Памятниках» даже оказавшийся общим для них «редкий ритмический ход — хориямб». У Пушкина он отмечал его в 9-м стихе:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

у Брюсова — в 22-м стихе:

Что клевета друзей? — презрение хулам!

Производя подробные метрические сличения, Г. Шенгели попутно отмечал и вытекающие из них следствия, например и такое, оказавшееся не безразличным для сравнительной оценки произведений: «Пиррихические стопы, убыстряя течение стиха, характеризуют проникнутые эмоциональными биеньями стороны содержания, а строфы спондеические, замедленные способствуют подчеркиванию в них размещенных слов» (стр. 8). Чем дальше подвигался построчный и детализованный метрический сопоставительный анализ двух «Памятников», тем яснее становилось исследователю, что вопреки очевидным аналогиям, которые открывают наблюдателю структурные их особенности, «стройность Пушкина и беспорядочность Брюсова усматриваются во всем» (стр. 23). Свою работу Шенгели кончал следующими словами, долженствовавшими еще раз провозгласить обособленность в русской поэзии и неповторимость по своему высокому мастерству и поэтическому совершенству «Памятника» Пушкина и «вторичный», подражательный и рассудочный характер «Памятника» Брюсова: «И чем более стихотворение является созданным в результате подлинного воодушевления, тем оно более стройно и логично, ибо внутренние законы психической жизни не знают погрешностей. Рассудок же неминуемо вносит дисгармонию в строй стихотворения, ибо чужд „духу музыки", рождающему напевные строки» (стр. 23). О глубоких различиях стихотворного стиля Пушкина и Брюсова, благодаря чему Брюсов, хотя и являвшийся хранителем и истолкователем пушкинского наследия, как его исследователь и комментатор, не мог быть назван поэтом «пушкинской школы», писал также В. М. Жирмунский в своей книге «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (Пб., 1922, стр. 53, 85—86), исходивший, впрочем, из других оснований: «Памятники» Брюсова и Пушкина в этой книге не сопоставляются.

Ниже мы приводим «Памятник» В. Я. Брюсова 1912 г. (1) по его книге «Семь цветов радуги» (М., 1916, стр. 13—14), а вслед за ним оба его перевода «Exegi monumentum» в той последовательности, в какой они возникли: 2) «Памятник я воздвиг меди нетленнее...» (1913) и 3) «Вековечней воздвиг меди я памятник...» (1918), по изданиям, указанным выше. Оба перевода неоднократно перепечатывались, последний в частности в «Избранной лирике» Горация с комментариями А. П. Семенова-Тян-Шанского (см. стр. 177), а также в учебных хрестоматиях по античной литературе. Подробное сличение указанных переводов Брюсова с латинским оригиналом см. в кн.: W. Busch. Horaz in Russland. München, 1964, SS. 212—213.

1

ПАМЯТНИК

Sume superbiam...

Horatius.

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.
Кричите, буйствуйте, его вам не свалить!
Распад певучих слов в грядущем невозможен, —
Я есмь и должен быть.

И станов всех бойцы, и люди разных вкусов,
В каморке бедняка, и во дворце царя,
Ликуя, назовут меня — Валерий Брюсов,
О друге с дружбой говоря.

В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы,
К преддверьям Индии, на берег Иртыша, —
Повсюду долетят горящие страницы,
В которых спит моя душа.

За многих думал я, за всех знал муки страсти,
Но станет ясно всем, что эта песнь — о них,
И у далеких грез в непобедимой власти
Прославят гордо каждый стих.

И, в новых звуках, зов проникнет за пределы
Печальной родины, и немец, и француз
Покорно повторят мой стих осиротелый,
Подарок благосклонных муз.

Что слава наших дней? — случайная забава!
Что клевета друзей? — презрение хулам!
Венчай мое чело, иных столетий Слава,
Вводя меня в всемирный храм.

Июль, 1912.

2

Памятник я воздвиг меди нетленнее,
Царственных пирамид выше строения,
Что ни едкость дождя, ни Аквилон пустой
Не разрушат вовек и ни бесчисленных

Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру: большая часть меня
Либитины уйдет, и я посмертною
Славой снова взрасту, сколь в Капитолии

Жрец верховный идет с девой безмолвною.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Давн над пастушеским
Племенем был царем: из ничего могущ.

Первый я преклонил песни эольские
К италийским ладам. Гордость заслуженно,
Мельпомена, прими и мне дельфийскими
Благостно увенчай голову лаврами.

3

Вековечней воздвиг меди я памятник,
Выше он пирамид царских строения,
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр,
Не разрушат его ввек, ни бесчисленных

Ряд идущих годов или бег времени.
Нет, не весь я умру, большая часть меня
Либитины уйдет; славой посмертною
Возрастать мне, пока по Капитолию

Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Буду назван, где мчит Авфид неистовый
И где бедный водой Давн был над сельскими
Племенами царем, из ничего могущ.

Первым я перевел песни Эолии
На италийский лад. Гордость заслуженно
Утверди и мою голову Де́льфийским
Благосклонно венчай лавром, Мельпо́мена.

12. В. Н. Крачковский

Владимир Николаевич Крачковский — поэт и переводчик начала XX в., литературные опыты которого (рассказы, стихи, переводы и т. д.) печатались в журналах и альманахах первого десятилетия XX в. В 1913 г. в Петербурге Крачковский выпустил книгу «Стихотворения», в которой наряду с оригинальными стихотворениями (среди них отметим, в частности, на стр. 47—50 «Опыт окончания „Русалки“ Пушкина») помещено много его переводов (Петрарка, Байрон, Мицкевич, Словацкий, Бодлер, с арабского, японские миниатюры и т. д.), в том числе 25 од Горация. Среди последних находится и перевод «Exegi monumentum» (на стр. 177—178), сопровождаемый также «вариантом перевода» (стр. 179—180) и несколькими примечаниями. Мы воспроизводим ниже из указанной книги В. Н. Крачковского оба перевода этой оды, но опускаем реальные комментарии к ним, не имеющие самостоятельного значения. В ломаных скобках даны заглавия, под которыми переводы напечатаны автором.

⟨К МУЗЕ⟩

Воздвиг я памятник могучий!
Вознесся, царственный, он выше пирамид!
Твердее меди он! Его не сокрушит
Ни едкий дождь, ни Аквилон летучий!

Не весь умру я! Часть меня большая
Спасется славою! И буду жить,
Доколе дева будет восходить
В Капитолийский храм, жреца сопровождая!

И скажут обо мне, где Давн суровый жил,
Где мчится Ауфид, бушуя, многоводный,
Что стих наш трудный я переложил
На Эолийский, дивный и свободный.

О, Муза, гордость должную имей
И лавром голову Дельфийским мне обвей!

⟨ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА⟩

Я мавзолей себе соорудил чудесный!
Он фараоновых превыше пирамид!
Твердее меди он! Его не сокрушит
Ни едкий дождь, ни ураган небесный!

Не весь умру я! Часть меня большая
Спасется! Буду вечно — юный жить,
Доколе дева будет восходить
В Капитолийский храм, жреца сопровождая!

И скажут обо мне, где проложил
Путь бурный Ауфид, где Давн царил безводный,
Что лиры Эолийской звук свободный
Я в песни Италийския вложил.

О, Муза, гордость должную имей
И лавром голову Дельфийским мне обвей!

13. А. П. Семенов-Тян-Шанский

Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский (1866—1942) не был филологом по специальности. Сын известного географа П. П. Семенова (за свои открытия в Средней Азии получившего приставку к своей фамилии — Тян-Шанский), Андрей Петрович также стал натуралистом, энтомологом; однако, получив классическое образование и сохранив любовь к языкам и поэзии, он посвящал свои досуги переводческой деятельности и созданию лирических стихотворений. Особенно много труда вложил он в переводы своего любимого поэта — Горация.

Сделанные им переводы отдельных од Горация первоначально публиковались в периодических изданиях. Так, воспроизводимый ниже его перевод «Exegi monumentum» впервые был напечатан в журнале «Русская мысль» (1916, № 10, стр. 4) без всяких пояснений. Всего А. П. Семенов-Тян-Шанский перевел 44 оды и 4 эпода Горация, собранные в книжке, изданной в 1936 г. с латинским текстом en regard (Квинт Гораций Флакк. Избранная лирика. Перевод и комментарии А. П. Семенова-Тян-Шанского. Изд. «Academia», М.—Л., 1936). В послесловии к этой книге («От переводчика») Семенов-Тян-Шанский писал, что он «задался целью передать Горация по-русски с возможно полным соблюдением его стиля и формы», поскольку его предшественники, за единичными исключениями, переводили произведения римского поэта «нашими обиходными тоническими размерами и притом стихами большею частью рифмованными», что придавало «совершенно чуждый им облик, — несвойственный им стиль, часто превращая их как бы в самостоятельные русские стихотворения, написанные только на темы Горация». «Задача моя была тем более трудной, — признается переводчик, — что применение античной метрики в русском стихосложении, за исключением одного лишь гекзаметра и элегического дистиха, успеха не имело. . .». Тем не менее он не бросил принятой на себя задачи, а переводы его, появлявшиеся время от времени в журналах, получали поощрение специалистов по античной литературе, поэтов и критиков (среди них он называет, в частности, В. Я. Брюсова — «большого знатока поэтической формы и техники стихосложения»). Далее в том же послесловии переводчик писал: «Мои переводы из Горация можно назвать силлабо-тоническим претворением метрических схем античности. В своих переводах лирических пьес Горация я старался, избегая рабства в переводе, возможно ближе подойти к подлиннику в разных отношениях: точной передачи мысли, образности, изобразительной пластики, логической интерпункции, евфоники» (стр. 155—157).

В этой книге воспроизведен и перевод «Exegi monumentum» (стр. 118—119), а в комментариях перепечатаны переводы и подражания этой оде (стр. 174—177) Ломоносова, Державина, Пушкина, Фета, Б. В. Никольского и В. Я. Брюсова (второй перевод 1918 г.). В том же году этот перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского был опубликован в кн.: Квинт Гораций Флакк, Полное собрание сочинений, перевод под ред. и с примечаниями Ф. А. Петровского, М.—Л., изд. «Academia», 1936, стр. 138. Об А. П. Семенове-Тян-Шанском как переводчике Горация и поэте см.: Е. Н. Павловский. Поэзия, наука и ученые. М.—Л., 1958, стр. 102—109 (здесь же дан и его портрет). В качестве удачного примера его переводов Е. Н. Павловский воспроизводит перевод «Exegi monumentum» и для сопоставления печатает рядом перевод Ломоносова (стр. 104—105); здесь же приведено и несколько оригинальных лирических стихотворений переводчика. О переводах его из Горация см. также: W. Busch. Horaz in Russland. München, 1965, SS. 214—215.

ПАМЯТНИК

Создан памятник мной. Он вековечнее
Меди и пирамид выше он царственных;
Не разрушит его дождь разъедающий,
Ни жестокий Борей, ни бесконечная

Цепь грядущих годов, в даль убегающих.
Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя
Избежит похорон: буду я славиться
До тех пор, пока жрец с девой безмолвною

Всходит по ступеня́м в храм Капитолия.
Будет ведомо всем, что возвеличился
Сын страны, где шумит Ауфид стремительный,
Где безводный удел Давна — Апулия, —

Эолийский напев в песнь италийскую
Перелив. Возгордись этою памятной
Ты заслугой моей и, благосклонная
Мельпомена, увей лавром чело мое!

14. Н. И. Шатерников

Нижеследующий перевод впервые напечатан в книге: Квинт Гораций Флакк. Оды. Перевел размерами подлинника Н. И. Шатерников. Гос. изд. художеств. литературы, М., 1935, стр. 125—126 (ср.: Б. В. Горнунг. Юбилейное издание Горация. «Книга и пролетарская революция», 1936, кн. 5, стр. 113—116). Ряд од Горация в переводе Шатерникова, в том числе и перевод «Exegi monumentum», был воспроизведен в издании: Античная литература под ред. А. В. Мишулина и Л. Д. Тарасова. М., 1939, стр. 201 (в разделе, составленном К. П. Кондратьевым, — «Римская литература в избранных переводах», где напечатаны также и другие переводы Н. И. Шатерникова из римских поэтов — Проперция, Овидия, Марциала и др.).

Создал памятник я, меди нетленнее,
Пирамидных высот, царственных, выше он.
Едкий дождь или ветр, яростно рвущийся,
Ввек не сломит его, или бесчисленный

Ряд кругов годовых, или бег времени.
Нет! не весь я умру, — часть меня лучшая
Избежит похорон; славою вечною
Буду я возрастать, в храм Капитолия

Жрец восходит пока с девой безмолвною.
Речь пойдет обо мне, где низвергается
Ауфид ярый, где Давн людом пастушеским
Правил, бедный водой, — мощный из низкого

Первый я проложил песню Эолии
В италийских ладах. Гордость заслуженно,
Мельпомена, яви, — мне ж, благосклонная,
Кудри лавром обвей, ветвью дельфийскою.

15. Я. Э. Голосовкер

Последний по времени из известных нам переводов «Exegi monumentum» напечатан в книге: Поэты-лирики древней Эллады и Рима в переводах Я. Голосовкера. Гос. изд. художеств. литературы, М., 1955, стр. 170.

ПАМЯТНИК

Создал памятник я меди победнее,
Он вознесен пирамид выше и царственней.
Не обрушит его бурь необузданность,
Едкий дождь не разъест, ни водопад времен —

Бег и звенья годов неисчислимые...
Нет, не весь я умру. Высшая жизни часть
От забвенья уйдет. Буду в веках расти,
Возрождаясь, пока в высь Капитолия

Всходит жрец, и за ним дева-молчальница.
Скажут: с гор, где Ауфид бешено пенится,
Где в безводном краю над деревенщиной
Давн когда-то царил, родом ничтожный смог

Первой песнь передать вольной Эолии
Италийским стихом. С благоволением,
Мельпомена, прими гордую славу дел
И дельфийской листвой мне увенчай главу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 3

Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 7

1. 7
2. 18
3. 31
4. 52
5. 65
6. 86
7. 104
8. 121
9. 140
10. 152
11. 164
12. 218

Приложение I. Автографы «Памятника» 232

Приложение II. Русские переводы оды Горация «Exegi monumentum». 244

1. Квинт Гораций Флакк (250); 2. М. В. Ломоносов (251); 3. Г. Р. Державин (252); 4. В. В. Капнист (254); 5. А. Х. Востоков (256); 6. С. А. Тучков (257); 7. А. А. Фет (259); 8. Н. Ф. Фокков (260); 9. Б. В. Никольский (261); 10. П. Ф. Порфиров (263); 11. В. Я. Брюсов (264); 12. В. Н. Крачковский (268); 13. А. П. Семенов-Тян-Шанский (269); 14. Н. И. Шатерников (270); 15. Я. Э. Голосовкер (271).